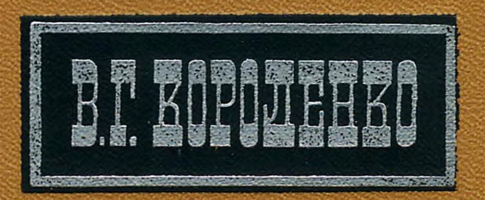

В.Г. КОРОЛЕНКО

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ



Собрание сочинений в шести томах

2

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1971

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
К. И. Тюнькина.

Иллюстрации художника
П. Н. Пинкисевича.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



В дурном обществе

Из детских воспоминаний моего приятеля

I. РАЗВАЛИНЫ

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле,— никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и представляло все типические черты любого из мелких городов Юго-западного края, где, среди тихо струящейся жизни тяжелого труда и мелко-суетливого еврейского гешефта, доживают свои печальные дни жалкие останки гордого панского величия.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционною «заставой». Сонный инвалид, порыжелая на солнце фигура, олицетворение безмятежной дремо-

ты, лениво поднимает шлагбаум, и — вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских «заезжих домов», казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками, столами евреев-менял, сидящих под зонтами на тротуарах, и с навесами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута и — вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый, полуразрушенный за́мок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», — передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым за́мком. От этого, понятно, за́мок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса, — так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон; в пустых залах ходил таинственный шорох: камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо,

и мы бежали без оглядки. а за нами долго еще стояли стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиганты-тополи качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого за́мка и царил над всем городом. «Ой-вей-мир!» * — пугливо произносили евреи; богобоязненные старые мещанки крестились, и даже наш ближайший сосед, кузнец, отрицавший самое существование бесовской силы, выходя в эти часы на свой дворик, творил крестное знамение и шептал про себя молитву об упокоении усопших.

Старый, седобородый Януш, за неимением квартиры приютившийся в одном из подвалов за́мка, рассказывал нам не раз, что в такие ночи он явственно слышал, как из-под земли неслись крики. Турки начинали возиться под островом, стучали костями и громко укоряли панов в жестокости. Тогда в залах старого за́мка и вокруг него на острове брякало оружие, и паны громкими криками сзывали гайдуков. Януш слышал совершенно ясно, под рев и завывание бури, топот коней, звяканье сабель, слова команды. Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов, прославленный на вечные веки своими кровавыми подвигами, выехал, стуча копытами своего аргамака, на середину острова и неистово ругался: «Молчите там, лайдаки **, пся вяра!»

Потомки этого графа давно уже оставили жилище предков. Большая часть дукатов и всяких сокровищ, от которых прежде ломились сундуки графов, перешла за мост, в еврейские лачуги, и последние представители славного рода выстроили себе прозаическое белое здание на горе, подальше от города. Там протекало их скучное, но все же торжественное существование в презрительно-величавом уединении.

Изредка только старый граф, такая же мрачная развалина, как и за́мок на острове, появлялся в городе на своей старой английской кляче. Рядом с ним, в черной амазонке, величавая и сухая, проезжала по городским улицам его дочь, а сзади почтительно следовал шталмейстер. Величественной графине суждено

---

* О горе мне *(евр.)*.

** Бездельники *(польск.)*.

было навсегда остаться девой. Равные ей по происхождению женихи, в погоне за деньгами купеческих дочек за границей, малодушно рассеялись по свету, оставив родовые зáмки или продав их на слом евреям, а в городишке, расстилавшемся у подножия ее дворца, не было юноши, который бы осмелился поднять глаза на красавицу графиню. Завидев этих трех всадников, мы, малые ребята, как стая птиц, снимались с мягкой уличной пыли и, быстро рассеявшись по дворам, испуганно-любопытными глазами следили за мрачными владельцами страшного зáмка.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная униатская часовня. Это была родная дочь расстилавшегося в долине собственно обывательского города. Некогда в ней собирались, по звону колокола, горожане в чистых, хотя и не роскошных кунтушах, с палками в руках, вместо сабель, которыми гремела мелкая шляхта, тоже являвшаяся на зов звонкого униатского колокола из окрестных деревень и хуторов.

Отсюда был виден остров и его темные громадные тополи, но зáмок сердито и презрительно закрывался от часовни густою зеленью, и только в те минуты, когда юго-западный ветер вырывался из-за камышей и налетал на остров, тополи гулко качались, и из-за них проблескивали окна, и зáмок, казалось, кидал на часовню угрюмые взгляды. Теперь и он и она были трупы. У него глаза потухли, и в них не сверкали отблески вечернего солнца; у нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и, вместо гулкого, с высоким тоном, медного колокола, совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Но старая, историческая рознь, разделявшая некогда гордый панский зáмок и мещанскую униатскую часовню, продолжалась и после их смерти: ее поддерживали копошившиеся в этих дряхлых трупах черви, занимавшие уцелевшие углы подземелья, подвалы. Этими могильными червями умерших зданий были люди.

Было время, когда старый зáмок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, всякое выскочившее из колеи существование, потерявшее, по той

или другой причине, возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду,— все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в за́мке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты и гражданского падения. Старый за́мок радушно принимал и покрывал и перекатную голь, и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти существа терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили, чем-то питались,— вообще, отправляли неизвестным образом свои жизненные функции.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых руин, возникло разделение, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских «официалистов», выхлопотал себе нечто вроде владетельной хартии и захватил бразды правления. Он приступил к преобразованиям, и несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц, чтоб отомстить утеснителям. Это Януш сортировал население развалин, отделяя овец от козлищ. Овцы, оставшиеся по-прежнему в за́мке, помогали Янушу изгонять несчастных козлищ, которые упирались, выказывая отчаянное, но бесполезное сопротивление. Когда, наконец, при молчаливом, но, тем не менее, довольно существенном содействии будочника, порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что переворот имел решительно аристократический характер. Януш оставил в за́мке только «добрых христиан», то есть католиков, и притом преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и «чамарках», с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие на последних ступенях обнищания свои капоры и салопы. Все они составляли однородный, тесно сплоченный аристократический кружок, взявший как бы монополию признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили, с молитвой на устах,

по домам более зажиточных горожан и среднего мещанства, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча, а по воскресеньям они же составляли почтеннейших лиц из той публики, что длинными рядами выстраивалась около костелов и величественно принимала подачки во имя «пана Иисуса» и «панны Богоматери».

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш, во главе целой армии красноносых старцев и безобразных мегер, гнал из за́мка последних, подлежавших изгнанию, жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий за́мка. Но Януш и мегеры с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистою дубиной в руках, сохранявший вооруженный нейтралитет, очевидно, дружественный торжествующей партии. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш, и старый за́мок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали любоваться его серыми стенами и замшелою старою крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные тою же таинственностью, которою был окутан весь за́мок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда, бывало, Януш, усевшись под тополями,

с болтливостью семидесятилетнего старика начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Перед детским воображением вставали, оживая, образы прошедшего, и в душу веяло величавою грустью и смутным сочувствием к тому, чем жили некогда понурые стены, и романтические тени чужой старины пробегали в юной душе, как пробегают в ветреный день легкие тени облаков по светлой зелени чистого поля.

Но с того вечера и за́мок, и его бард явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить за́мок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому за́мку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. За́мок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко, что я искренно удивлялся, как это строгий покойник, усмирявший турок в грозовые ночи, мог терпеть этих старух в своем соседстве. Но главное — я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы за́мка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Как бы то ни было, на примере старого за́мка я узнал впервые истину, что от великого до смешного один только шаг. Великое в за́мке поросло плющом, повиликой и мхами, а смешное казалось мне отвратительным, слишком резало детскую восприимчивость, так как ирония этих контрастов была мне еще недоступна.

II. ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИЕ НАТУРЫ

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди,

которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Горячее солнце, выкатываясь на небо, жгло пыльные улицы, загоняя под навесы юрких детей Израиля, торговавших в городских лавках; «факторы» лениво валялись на солнцепеке, зорко выглядывая проезжающих; скрип чиновничьих перьев слышался в открытые окна присутственных мест; по утрам городские дамы сновали с корзинами по базару, а под вечер важно выступали под руку со своими благоверными, подымая уличную пыль пышными шлейфами. Старики и старухи из за́мка чинно ходили по домам своих покровителей, не нарушая общей гармонии. Обыватель охотно признавал их право на существование, находя совершенно основательным, чтобы кто-нибудь получал милостыню по субботам, а обитатели старого за́мка получали ее вполне респектабельно.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около униатской часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебною тревогой, они, в свою очередь, окидывали обывательское существо-

вание беспокойно-внимательными взглядами, от которых многим становилось жутко. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из за́мка,— город их не признавал, да они и не просили признания, их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. Они или жестоко страдали от преследований, если были слабы, или заставляли страдать обывателей, если обладали нужною для этого силой. Притом, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу за́мка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество униатской часовни. Некоторые из этих фигур были отмечены чертами глубокого трагизма.

До сих пор я помню, как весело грохотала улица, когда по ней проходила согнутая, унылая фигура старого «профессора». Это было тихое, угнетенное идиотизмом существо, в старой фризовой шинели, в шапке с огромным козырьком и почерневшею кокардой. Ученое звание, как кажется, было присвоено ему вследствие смутного предания, будто где-то и когда-то он был гувернером. Трудно себе представить создание более безобидное и смирное. Обыкновенно он тихо бродил по улицам, повидимому без всякой определенной цели, с тусклым взглядом и понуренною головой. Досужие обыватели знали за ним два качества, которыми пользовались в видах жестокого развлечения. «Профессор» вечно бормотал что-то про себя, но ни один человек не мог разобрать в этих речах ни слова. Они лились, точно журчание мутного ручейка, и при этом тусклые глаза глядели на слушателя, как бы стараясь вложить в его душу неуловимый смысл длинной речи. Его можно было завести, как машину; для этого любому из факторов, которому надоело дремать на улицах, стоило подозвать к себе старика и предложить какой-либо вопрос. «Профессор» покачивал головой, вдумчиво вперив в слушателя свои выцветшие глаза, и начинал бормотать что-то до бесконечности грустное. При этом слушатель мог спокойно уйти или хотя бы заснуть, и все же, проснувшись, он увидел бы над собой печальную темную фигуру, все так

же тихо бормочущую непонятные речи. Но, само по себе, это обстоятельство не составляло еще ничего особенно интересного. Главный эффект уличных верзил был основан на другой черте профессорского характера: несчастный не мог равнодушно слышать упоминания о режущих и колющих орудиях. Поэтому, обыкновенно в самый разгар непонятной элоквенции, слушатель, вдруг поднявшись с земли, вскрикивал резким голосом: «Ножи, ножницы, иголки, булавки!» Бедный старик, так внезапно пробужденный от своих мечтаний, взмахивал руками, точно подстреленная птица, испуганно озирался и хватался за грудь. О, сколько страданий остаются непонятными долговязым факторам лишь потому, что страдающий не может внушить представления о них посредством здорового удара кулаком! А бедняга «профессор» только озирался с глубокою тоской, и невыразимая мука слышалась в его голосе, когда, обращая к мучителю свои тусклые глаза, он говорил, судорожно царапая пальцами по груди:

— За сердце.. за сердце крючком!.. за самое сердце!..

Вероятно, он хотел сказать, что этими криками у него истерзано сердце, но, по-видимому, это-то именно обстоятельство и способно было несколько развлечь досужего и скучающего обывателя. И бедный «профессор» торопливо удалялся, еще ниже опустив голову, точно опасаясь удара; а за ним гремели раскаты довольного смеха, и в воздухе, точно удары кнута, хлестали все те же крики:

— Ножи, ножницы, иголки, булавки!

Надо отдать справедливость изгнанникам из за́мка: они крепко стояли друг за друга, и если на толпу, преследовавшую «профессора», налетал в это время с двумя-тремя оборванцами пан Туркевич или в особенности отставной штык-юнкер Заусайлов, то многих из этой толпы постигала жестокая кара. Штык-юнкер Заусайлов, обладавший громадным ростом, сизо-багровым носом и свирепо выкаченными глазами, давно уже объявил открытую войну всему живущему, не признавая ни перемирий, ни нейтралитетов. Всякий раз после того, как он натыкался на преследуемого «профессора», долго не смолкали его бранные крики; он носился тогда по ули-

цам, подобно Тамерлану, уничтожая все, попадавшееся на пути грозного шествия, таким образом он практиковал еврейские погромы, задолго до их возникновения, в широких размерах; попадавшихся ему в плен евреев он всячески истязал, а над еврейскими дамами совершал гнусности, пока, наконец, экспедиция бравого штык-юнкера не кончалась на съезжей, куда он неизменно водворялся после жестоких схваток с бутарями. Обе стороны проявляли при этом немало геройства.

Другую фигуру, доставлявшую обывателям развлечение зрелищем своего несчастия и падения, представлял отставной и совершенно спившийся чиновник Лавровский. Обыватели помнили еще недавнее время, когда Лавровского величали не иначе, как «пан писарь», когда он ходил в вицмундире с медными пуговицами, повязывая шею восхитительными цветными платочками. Это обстоятельство придавало еще более пикантности зрелищу его настоящего падения. Переворот в жизни пана Лавровского совершился быстро: для этого стоило только приехать в Княжье-Вено блестящему драгунскому офицеру, который прожил в городе всего две недели, но в это время успел победить и увезти с собою белокурую дочь богатого трактирщика. С тех пор обыватели ничего не слыхали о красавице Анне, так как она навсегда исчезла с их горизонта. А Лавровский остался со всеми своими цветными платочками, но без надежды, которая скрашивала раньше жизнь мелкого чиновника. Теперь он уже давно не служит. Где-то в маленьком местечке осталась его семья, для которой он был некогда надеждой и опорой; но теперь он ни о чем не заботился. В редкие трезвые минуты жизни он быстро проходил по улицам, потупясь и ни на кого не глядя, как бы подавленный стыдом собственного существования; ходил он оборванный, грязный, обросший длинными, нечесаными волосами, выделяясь сразу из толпы и привлекая всеобщее внимание; но сам он как будто не замечал никого и ничего не слышал. Изредка только он кидал вокруг мутные взгляды, в которых отражалось недоумение: чего хотят от него эти чужие и незнакомые люди? Что он им сделал, зачем они так упорно преследуют его? Порой, в минуты этих проблесков сознания, когда до слуха его долетало имя панны с белокурою ко-

сой, в сердце его поднималось бурное бешенство; глаза Лавровского загорались темным огнем на бледном лице, и он со всех ног кидался на толпу, которая быстро разбегалась. Подобные вспышки, хотя и очень редкие, странно подзадоривали любопытство скучающего безделья; не мудрено поэтому, что, когда Лавровский, потупясь, проходил по улицам, следовавшая за ним кучка бездельников, напрасно старавшихся вывести его из апатии, начинала с досады швырять в него грязью и каменьями.

Когда же Лавровский бывал пьян, то как-то упорно выбирал темные углы под заборами, никогда не просыхавшие лужи и тому подобные экстраординарные места, где он мог рассчитывать, что его не заметят. Там он садился, вытянув длинные ноги и свесив на грудь свою победную головушку. Уединение и водка вызывали в нем прилив откровенности, желание излить тяжелое горе, угнетающее душу, и он начинал бесконечный рассказ о своей молодой загубленной жизни. При этом он обращался к серым столбам старого забора, к березке, снисходительно шептавшей что-то над его головой, к сорокам, которые с бабьим любопытством подскакивали к этой темной, слегка только копошившейся фигуре.

Если кому-либо из нас, малых ребят, удавалось выследить его в этом положении, мы тихо окружали его и слушали с замиранием сердечным длинные и ужасающие рассказы. Волосы становились у нас дыбом, и мы со страхом смотрели на бледного человека, обвинявшего себя во всевозможных преступлениях. Если верить собственным словам Лавровского, он убил родного отца, вогнал в могилу мать, заморил сестер и братьев. Мы не имели причин не верить этим ужасным признаниям; нас только удивляло то обстоятельство, что у Лавровского было, по-видимому, несколько отцов, так как одному он пронзал мечом сердце, другого изводил медленным ядом, третьего топил в какой-то пучине. Мы слушали с ужасом и участием, пока язык Лавровского, все более заплетаясь, не отказывался, наконец, произносить членораздельные звуки и благодетельный сон не прекращал покаянные излияния. Взрослые смеялись над нами, говоря, что все это враки, что родители Лавровского умерли своею смертью, от голода и болезней. Но мы, чуткими ребячьими сердцами, слышали в его

стонах искреннюю душевную боль и, принимая аллегории буквально, были все-таки ближе к истинному пониманию трагически свихнувшейся жизни.

Когда голова Лавровского опускалась еще ниже и из горла слышался храп, прерываемый нервными всхлипываниями,— маленькие детские головки наклонялись тогда над несчастным. Мы внимательно вглядывались в его лицо, следили за тем, как тени преступных деяний пробегали по нем и во сне, как нервно сдвигались брови и губы сжимались в жалостную, почти по-детски плачущую гримасу.

— Уббью! — вскрикивал он вдруг, чувствуя во сне беспредметное беспокойство от нашего присутствия, и тогда мы испуганною стаей кидались врозь.

Случалось, что в таком положении сонного его заливало дождем, засыпало пылью, а несколько раз, осенью, даже буквально заносило снегом; и если он не погиб преждевременною смертью, то этим, без сомненья, был обязан заботам о своей грустной особе других, подобных ему, несчастливцев и, главным образом, заботам веселого пана Туркевича, который, сильно пошатываясь, сам разыскивал его, тормошил, ставил на ноги и уводил с собою.

Пан Туркевич принадлежал к числу людей, которые, как сам он выражался, не дают себе плевать в кашу, и в то время, как «профессор» и Лавровский пассивно страдали, Туркевич являл из себя особу веселую и благополучную во многих отношениях. Начать с того, что, не справляясь ни у кого об утверждении, он сразу произвел себя в генералы и требовал от обывателей соответствующих этому званию почестей. Так как никто не смел оспаривать его права на этот титул, то вскоре пан Туркевич совершенно проникся и сам верой в свое величие. Выступал он всегда очень важно, грозно насупив брови и обнаруживая во всякое время полную готовность сокрушить кому-нибудь скулы, что, по-видимому, считал необходимейшею прерогативой генеральского звания. Если же по временам его беззаботную голову посещали на этот счет какие-либо сомненья, то, изловив на улице первого встречного обывателя, он грозно спрашивал:

— Кто я по здешнему месту? а?

— Генерал Туркевич! — смиренно отвечал обыватель, чувствовавший себя в затруднительном положении. Туркевич немедленно отпускал его, величественно покручивая усы.

— То-то же!

А так как при этом он умел еще совершенно особенным образом шевелить своими тараканьими усами и был неистощим в прибаутках и остротах, то не удивительно, что его постоянно окружала толпа досужих слушателей и ему были даже открыты двери лучшей «ресторации», в которой собирались за бильярдом приезжие помещики. Если сказать правду, бывали нередко случаи, когда пан Туркевич вылетал оттуда с быстротой человека, которого подталкивают сзади не особенно церемонно; но случаи эти, объяснявшиеся недостаточным уважением помещиков к остроумию, не оказывали влияния на общее настроение Туркевича: веселая самоуверенность составляла нормальное его состояние, так же как и постоянное опьянение.

Последнее обстоятельство составляло второй источник его благополучия, — ему достаточно было одной рюмки, чтобы зарядиться на весь день. Объяснялось это огромным количеством выпитой уже Туркевичем водки, которая превратила его кровь в какое-то водочное сусло; генералу теперь достаточно было поддерживать это сусло на известной степени концентрации, чтобы оно играло и бурлило в нем, окрашивая для него мир в радужные краски.

Зато, если, по какой-либо причине, дня три генералу не перепадало ни одной рюмки, он испытывал невыносимые муки. Сначала он впадал в меланхолию и малодушие; всем было известно, что в такие минуты грозный генерал становился беспомощнее ребенка, и многие спешили выместить на нем свои обиды. Его били, оплевывали, закидывали грязью, а он даже не старался избегать поношений; он только ревел во весь голос, и слезы градом катились у него из глаз по уныло обвисшим усам. Бедняга обращался ко всем с просьбой убить его, мотивируя это желание тем обстоятельством, что ему все равно придется помереть «собачьей смертью под забором». Тогда все от него отступались. В таком градусе было что-то в голосе и в лице генерала, что заставляло

самых смелых преследователей поскорее удаляться, чтобы не видеть этого лица, не слышать голоса человека, на короткое время приходившего к сознанию своего ужасного положения... С генералом опять происходила перемена; он становился ужасен, глаза лихорадочно загорались, щеки вваливались, короткие волосы подымались на голове дыбом. Быстро поднявшись на ноги, он ударял себя в грудь и торжественно отправлялся по улицам, оповещая громким голосом:

— Иду!.. Как пророк Иеремия... Иду обличать нечестивых!

Это обещало самое интересное зрелище. Можно сказать с уверенностью, что пан Туркевич в такие минуты с большим успехом выполнял функции неведомой в нашем городишке гласности; поэтому нет ничего удивительного, если самые солидные и занятые граждане бросали обыденные дела и примыкали к толпе, сопровождавшей новоявленного пророка, или хоть издали следили за его похождениями. Обыкновенно он прежде всего направлялся к дому секретаря уездного суда и открывал перед его окнами нечто вроде судебного заседания, выбрав из толпы подходящих актеров, изображавших истцов и ответчиков; он сам говорил за них речи и сам же отвечал им, подражая с большим искусством голосу и манере обличаемого. Так как при этом он всегда умел придать спектаклю интерес современности, намекая на какое-нибудь всем известное дело, и так как, кроме того, он был большой знаток судебной процедуры, то не мудрено, что в самом скором времени из дома секретаря выбегала кухарка, что-то совала Туркевичу в руку и быстро скрывалась, отбиваясь от любезностей генеральской свиты. Генерал, получив даяние, злобно хохотал и, с торжеством размахивая монетой, отправлялся в ближайший кабак.

Оттуда, утолив несколько жажду, он вел своих слушателей к домам «подсудков», видоизменяя репертуар соответственно обстоятельствам. А так как каждый раз он получал поспектакльную плату, то натурально, что грозный тон постепенно смягчался, глаза исступленного пророка умасливались, усы закручивались кверху, и представление от обличительной драмы переходило к веселому водевилю. Кончалось оно обыкновенно перед

домом исправника Коца. Это был добродушнейший из градоправителей, обладавший двумя небольшими слабостями: во-первых, он красил свои седые волосы черною краской и, во-вторых, питал пристрастие к толстым кухаркам, полагаясь во всем остальном на волю божию и на добровольную обывательскую «благодарность». Подойдя к исправницкому дому, выходившему фасом на улицу, Туркевич весело подмигивал своим спутникам, кидал кверху картуз и объявлял громогласно, что здесь живет не начальник, а родной его, Туркевича, отец и благодетель.

Затем он устремлял свои взоры на окна и ждал последствий. Последствия эти были двоякого рода: или немедленно же из парадной двери выбегала толстая и румяная Матрена с милостивым подарком от отца и благодетеля, или же дверь оставалась закрытою, в окне кабинета мелькала сердитая старческая физиономия, обрамленная черными, как смоль, волосами, а Матрена тихонько задами прокрадывалась на съезжую. На съезжей имел постоянное местожительство бутарь Микита, замечательно набивший руку именно в обращении с Туркевичем. Он тотчас же флегматически откладывал в сторону сапожную колодку и подымался со своего сиденья.

Между тем Туркевич, не видя пользы от дифирамбов, понемногу и осторожно начинал переходить к сатире. Обыкновенно он начинал сожалением о том, что его благодетель считает зачем-то нужным красить свои почтенные седины сапожною ваксой. Затем, огорченный полным невниманием к своему красноречию, он возвышал голос, подымал тон и начинал громить благодетеля за плачевный пример, подаваемый гражданам незаконным сожитием с Матреной. Дойдя до этого щекотливого предмета, генерал терял уже всякую надежду на примирение с благодетелем и потому воодушевлялся истинным красноречием. К сожалению, обыкновенно на этом именно месте речи происходило неожиданное постороннее вмешательство; в окно высовывалось желтое и сердитое лицо Коца, а сзади Туркевича подхватывал с замечательною ловкостью подкравшийся к нему Микита. Никто из слушателей не пытался даже предупредить оратора об угрожавшей ему опасности, ибо артистические

приемы Микиты вызывали всеобщий восторг. Генерал, прерванный на полуслове, вдруг как-то странно мелькал в воздухе, опрокидывался спиной на спину Микиты — и через несколько секунд дюжий бутарь, слегка согнувшийся под своей ношей, среди оглушительных криков толпы, спокойно направлялся к кутузке. Еще минута, черная дверь съезжей раскрывалась, как мрачная пасть, и генерал, беспомощно болтавший ногами, торжественно скрывался за дверью кутузки. Неблагодарная толпа кричала Миките «ура» и медленно расходилась.

Кроме этих выделявшихся из ряда личностей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как наседки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти жалкие личности, окончательно лишенные всяких ресурсов со времени изгнания из за́мка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Основывались эти слухи, главным образом, на той бесспорной посылке, что человек не может существовать без пищи; а так как почти все эти темные личности, так или иначе, отбились от обычных способов ее добывания и были оттерты счастливцами из за́мка от благ местной филантропии, то отсюда следовало неизбежное заключение, что им было необходимо воровать или умереть. Они не умерли, значит... самый факт их существования обращался в доказательство их преступного образа действий.

Если только это была правда, то уже не подлежало спору, что организатором и руководителем сообщества не мог быть не кто другой, как пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех проблематических натур, не ужившихся в старом за́мке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Люди, одаренные сильным воображением, приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором, и потому принужден был скрыться, причем участвовал будто бы в подвигах знаменитого Кармелюка. Но, во-первых, для этого он

был еще недостаточно стар, а во-вторых, наружность пана Тыбурция не имела в себе ни одной аристократической черты. Роста он был высокого; сильная сутуловатость как бы говорила о бремени вынесенных Тыбурцием несчастий; крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдавшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность личных мускулов придавали всей физиономии что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились, вместе с лукавством, острая проницательность, энергия и недюжинный ум. В то время, как на его лице сменялся целый калейдоскоп гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчетно жутко смотреть на гаерство этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая неустанная печаль.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого, большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, и самое большее, что соглашалось допустить, это — звание дворового человека какого-нибудь из знатных панов. Но тогда опять встречалось затруднение: как объяснить его феноменальную ученость, которая всем была очевидна. Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций, в назидание собиравшихся в базарные дни хохлов, не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона, целых глав из Ксенофонта. Хохлы разевали рты и подталкивали друг друга локтями, а пан Тыбурций, возвышаясь в своих лохмотьях над всею толпой, громил Катилину или описывал подвиги Цезаря или коварство Митридата. Хохлы, вообще наделенные от природы богатою фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи... И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами «Patres conscripti»* — они тоже хмурились и говорили друг другу:

— Ото ж, вражий сын, як лается!

---

* Отцы сенаторы (*лат.*).

Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские периоды,— усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа декламатора витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, а по отчаянной жестикуляции оратора они заключали, что она там испытывает какие-то горестные приключения. Но наибольшего напряжения достигало это участливое внимание, когда пан Тыбурций, закатив глаза и поводя одними белками, донимал аудиторию продолжительною скандовкой Виргилия или Гомера. Его голос звучал тогда такими глухими загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее поддавшиеся действию жидовской горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные подстриженные спереди «чуприны» и начинали всхлипывать:

— О-ох, матиньки, та и жалобно ж, хай ему бис! — И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам.

Нет поэтому ничего удивительного, что, когда оратор внезапно соскакивал с бочки и разражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснялись, и руки тянулись к карманам широких штанов за медяками. Обрадованные благополучным окончанием трагических экскурсий пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали, звеня, медяки.

Ввиду такой поразительной учености пришлось построить новую гипотезу о происхождении этого чудака, которая бы более соответствовала изложенным фактам. Помирились на том, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов-иезуитов, собственно на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф воспринимал преимущественно удары трехвостной «дисциплины» святых отцов, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

Вследствие окружавшей Тыбурция тайны, в числе других профессий ему приписывали также отличные сведения по части колдовского искусства. Если на полях, примыкавших волнующимся морем к последним лачугам предместья, появлялись вдруг колдовские «закруты»,

то никто не мог вырвать их с большею безопасностью для себя и жнецов, как пан Тыбурций. Если зловещий «пугач»[1] прилетал по вечерам на чью-нибудь крышу и громкими криками накликал туда смерть, то опять приглашали Тыбурция, и он с большим успехом прогонял зловещую птицу поучениями из Тита Ливия.

Никто не мог бы также сказать, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем, факт, хотя и никем не объясненный, стоял налицо... даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привел, или, вернее, принес с собой с первых дней, как явился сам на горизонте нашего города. Что же касается девочки, то, по-видимому, он отлучался, чтобы приобрести ее, на несколько месяцев в совершенно неизвестные страны.

Мальчик, по имени Валек, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась — никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на униатской горе около часовни, и так как в тех краях, где так часто проходила с огнем и мечом татарщина, где некогда бушевала панская «сваволя» (своеволие) и правили кровавую расправу удальцы-гайдамаки, подобные подземелья очень нередки, то все верили этим слухам, тем более, что ведь жила же где-нибудь вся эта орда темных бродяг. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною походкой ковылял «профессор», шагал решительно и быстро пан Тыбурций; туда же Туркевич, пошатываясь, провожал свирепого и беспомощного Лавровского; туда уходили под вечер, утопая в сумерках, другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие

---

[1] Филин.

огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.

III. Я И МОЙ ОТЕЦ

— Плохо, молодой человек, плохо! — говорил мне нередко старый Януш из зáмка, встречая меня на улицах города в свите пана Туркевича или среди слушателей пана Драба.

И старик качал при этом своею седою бородой.

— Плохо, молодой человек,— вы в дурном обществе!.. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей, который не щадит семейной чести.

Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в «лотóки» и бодро принималась за дневную работу.

Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но чрез несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания.

Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Из окон тюрьмы не глядели еще бледные, угрюмые лица арестантов, и только караул, громко звякая ружьями, обходил вокруг стены, сменяя усталых ночных часовых.

Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов слышится крикливый звонок, сзывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю.

Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я, наконец, и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы — ребенок и суровый мужчина — о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

— Ты помнишь матушку?

Помнил ли я ее? О да, я помнил ее! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

О да, я помнил ее!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти

на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. А потом, когда ее унесли в толпе незнакомых людей, не мои ли рыдания звучали сдавленным стоном в сумраке первой ночи моего сиротства?

О да, я ее помнил!.. И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце,— просыпался с улыбкой счастия, в блаженном неведении, навеянном розовыми снами детства. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее любящую милую ласку. Но мои руки протягивались в пустую тьму, и в душу проникало сознание горького одиночества. Тогда я сжимал руками свое маленькое, больно стучавшее сердце, и слезы прожигали горячими струями мои щеки.

О да, я помнил ее!.. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку.

И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то неодолимая стена. Он слишком любил *ее*, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе.

И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я — дурной, испорченный мальчишка, с черствым, эгоистическим сердцем, и сознание, что он *должен*, но *не может* заняться мною, *должен* любить меня, но не находит для этой любви угла в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним; я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но он, пробудясь от

мрачного и безнадежного созерцания, сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом:

— Что нужно?

Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли.

С шести лет я испытывал уже ужас одиночества.

Сестре Соне было четыре года. Я любил ее страстно, и она платила мне такою же любовью; но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она всегда напоминала мне всклоченную наседку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Не мудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием, предвкушением жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно; а между тем, навстречу этому неведомому и таинственному, во мне из глубины моего сердца что-то подымалось, дразня и вызывая. Я все ждал разрешения этих вопросов и инстинктивно бегал и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор к прочим нелестным моим эпитетам прибавились названия уличного мальчишки и бродяги; но я не обращал на это внимания. Я притерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетавший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему.

Шатаясь по улицам, я всматривался детски-любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, вдали от городского шума, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни. Образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами; я узнал и увидал много такого, чего не видали дети значительно старше меня, а между тем то неведомое, что подымалось из глубины детской души, по-прежнему звучало в ней несмолкающим, таинственным, подмывающим, вызывающим рокотом.

Когда старухи из за́мка лишили его в моих глазах уважения и привлекательности, когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали, на униатской горе, часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурною славой. Но по мере того как я знакомился с местностью, передо мною выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться окончательно, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я навербовал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных к предприятию обещанием булок и яблоков из нашего сада.

IV. Я ПРИОБРЕТАЮ НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подыматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы

обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые, истлевшие кости. В одном месте деревянный гроб выставлялся истлевшим углом, в другом — скалил зубы человеческий череп, уставясь на нас черными впадинами глаз.

Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни голеней, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным, слегка склонявшимся к городу пологом любовно скрывала в своих объятиях ужас и безобразие смерти.

Мы были одни; только воробьи возились кругом да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травою могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок.

— Нет никого,— сказал один из моих спутников.

— Солнце заходит,— заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна — высоко над землею; однако, при помощи товарищей, я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни.

— Не надо! — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

— Пошел ко всем чертям, баба! — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на нее; потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него.

— Ну, что̀ же там? — спрашивали меня снизу с живым интересом.

Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжествен-

ною тишиной брошенного храма. Внутренность высокого, узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые, ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые, истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то странных предметов, маячивших по полу причудливыми очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав ту же процедуру, какую проделал я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

— Престол,— сказал он, вглядевшись в странный предмет на полу.

— И паникадило.

— Столик для Евангелия.

— А вон там что̀ такое? — с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом.

— Поповская шапка.

— Нет, ведро.

— Зачем же тут ведро?

— Может быть, в нем когда-то были угли для кадила.

— Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай, привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься.

— Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.

— Ну, что ж! Думаешь, не полезу?

— И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком,

отдался в пустоте часовни, в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо, с бородой, в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие.

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

— Ты подойдешь? — спросил он тихо.

— Подойду,— ответил я так же, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей возней, вылетела из темного угла, мелькнула, распластавшись на фоне голубого неба в пролете, и шарахнулась вон.

Я почувствовал прилив судорожного страха.

— Подымай! — крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

— Не бойся, не бойся! — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки...

Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Я не страдал; чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быстрою дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, в виду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я не мог



«В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ»



«В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ»

сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот.

— Почему же он не лезет себе назад?

— Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.

— Что же он теперь будет делать? — послышался опять шепот.

— А вот погоди,— ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура.

Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще более, когда из-под того же престола, или вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски-любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и, согласно рыцарским правилам нашего базара, тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

— Ты здесь зачем?

— Так,— ответил я.— Тебе какое дело?

Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня.

Я не моргнул и глазом.

— Я вот тебе покажу! — погрозил он.

Я выпятился грудью вперед.

— Ну, ударь... попробуй!..

Мгновение было критическое; от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

— Я, брат, и сам... тоже...— сказал я, но уж более миролюбиво.

Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

— Как твое имя? — спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки.

— Вася. А ты кто такой?

— Я Валек... Я тебя знаю: ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки.

— Да, это правда, яблоки у нас хорошие... не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валеку.

— Боится,— сказал тот и сам передал яблоко девочке.

— Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад? — спросил он затем.

— Что ж, приходи! Я буду рад,— ответил я радушно. Ответ этот озадачил Валека; он призадумался.

— Я тебе не компания,— сказал он грустно.

— Отчего же? — спросил я, огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

— Твой отец — пан судья.

— Ну так что же? — изумился я чистосердечно.— Ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом.

Валек покачал головой.

— Тыбурций не пустит,— сказал он, и, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился: — Послушай... Ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

— Как же мне отсюда выйти?

— Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

— А она? — ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

— Маруся? Она тоже пойдет с нами.

— Как, в окно?

Валек задумался.

— Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи.

Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.

— Как хорошо! — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полною грудью влажную прохладу.

— Скучно здесь...— с грустью произнес Валек.

— Вы все здесь живете? — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.

— Здесь.

— Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без «дома».

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по вы-

сохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

— Ты придешь к нам опять?

— Приду,— ответил я,— непременно!..

— Что ж,— сказал в раздумье Валек,— приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.

— Кто это «ваши»?

— Да наши... все: Тыбурций, Лавровский, Туркевич. Профессор... тот, пожалуй, не помешает.

— Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!

— Эй, послушай-ка,— крикнул мне Валек, когда я отошел несколько шагов.— А ты болтать не будешь о том, что был у нас?

— Никому не скажу,— ответил я твердо.

— Ну вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта.

— Ладно, скажу.

— Ну, прощай!

— Прощай.

Густые сумерки залегли над Княжьим-Веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над за̀мком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.

— Вася, друг,— заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ.— Как же это ты?.. Голубчик!..

— А вот, как видишь... А вы все меня бросили!..

Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять:

— Что́ же там было?

— Что́,— ответил я тоном, не допускавшим сомнения,— разумеется, черти... А вы — трусы.

И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор.

Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительные черти, весело вы-

скакивавшие из черного люка. Валек гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.

V. ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительною целью — высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество»; и если Лавровский валялся в луже, если Туркевич и Тыбурций разглагольствовали перед своими слушателями, а темные личности шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото, на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал ее с моей сестрой; они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пыш-

ка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро.

Я был большой сорванец. «У этого малого,— говорили обо мне старшие,— руки и ноги налиты ртутью», чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой «каплицы» повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в это время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валека и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валек серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной взапуски, он сказал:

— Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся.

— Вот, видишь,— сказал Валек,— она не любит играть.

Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валеком около девочки.

— Отчего она такая? — спросил я наконец, указывая глазами на Марусю.

— Невеселая? — переспросил Валек и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: — А это, видишь ли, от серого камня.

— Да-а,— повторила девочка, точно слабое эхо,— это от серого камня.

— От какого серого камня? — переспросил я, не понимая.

— Серый камень высосал из нее жизнь,— пояснил Валек, по-прежнему смотря на небо.— Так говорит Тыбурций... Тыбурций хорошо знает.

— Да-а,— опять повторила тихим эхом девочка,— Тыбурций все знает.

Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валек повторял за Тыбурцием, однако аргумент, что Тыбурций все знает, произвел и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валек, и все так же перебирала цветы; движения ее тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокою синевой на бледном лице; длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция,— хотя я и не понимал их значения,— заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень?

Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого за́мка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землею, как ни грозен старый граф, усмирявший их в бурные ночи, но все они отзывались старою сказкой. А здесь что-то неведомо-страшное было налицо. Что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькою головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам»,— думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце.

Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валеком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматою крышей

старой «каплицы», рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валеком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение своею авторитетностью и независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурции, точно о товарище, я спросил:

— Тыбурций тебе отец?

— Должно быть, отец,— ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.

— Он тебя любит?

— Да, любит,— сказал он уже гораздо увереннее.— Он постоянно обо мне заботится, и, знаешь, иногда он целует меня и плачет...

— И меня любит и тоже плачет,— прибавила Маруся с выражением детской гордости.

— А меня отец не любит,— сказал я грустно.— Он никогда не целовал меня... Он нехороший.

— Неправда, неправда,— возразил Валек,— ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе, и что городу давно бы уже надо провалиться, если бы не твой отец, да еще поп, которого недавно посадили в монастырь, да еврейский раввин. Вот из-за них троих...

— Что из-за них?

— Город из-за них еще не провалился,— так говорит Тыбурций,— потому что они еще за бедных людей заступаются... А твой отец, знаешь... он засудил даже одного графа...

— Да, это правда... Граф очень сердился, я слышал.

— Ну, вот видишь! А ведь графа засудить не шутка.

— Почему?

— Почему? — переспросил Валек, несколько озадаченный...— Потому что граф — не простой человек... Граф делает, что хочет, и ездит в карете, и потом... у графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.

— Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать!»

— А судья что?

— А отец говорит ему: «Подите от меня вон!»

— Ну вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вот он какой! Даже и Туркевич не делал никогда под его окнами скандалов.

Это была правда: Туркевич во время своих обличительных экскурсий всегда молча проходил мимо наших окон, иногда даже снимая шапку.

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валек указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека задели в моем сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурция, который «все знает»; но, вместе с тем, дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда этот человек не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.

VI. СРЕДИ «СЕРЫХ КАМНЕЙ»

Прошло еще несколько дней. Члены «дурного общества» перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая, по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Один только «профессор» прошел раза два своею сонною походкой, но ни Туркевича, ни Тыбурция не было видно. Я совсем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шел с опущенною головою по пыльной улице, Валек вдруг положил мне на плечо руку.

— Отчего ты перестал к нам ходить? — спросил он.

— Я боялся... Ваших не видно в городе.

— А-а... Я и не догадался сказать тебе: наших нет, приходи... А я было думал совсем другое.

— А что?

— Я думал, тебе наскучило.

— Нет, нет... Я, брат, сейчас побегу,— заторопился я,— даже и яблоки со мной.

При упоминании о яблоках Валек быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом.

— Ничего, ничего,—отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием.— Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда,— дело есть. Я тебя догоню на дороге.

Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валек меня догонит; однако я успел взойти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в недоумении: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости,— только воробьи чирикали на свободе, да густые кусты черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чем-то тихо шептались густо разросшеюся темной листвой.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дождаться Валека. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаясь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, заглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья.

Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валек. В руках у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

— Ага! — крикнул он, заметив меня.— Ты вот где. Если бы Тыбурций тебя здесь увидел, то-то бы рассердился! Ну, да теперь уж делать нечего... Я знаю, ты хлопец хороший и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам!

— Где же это, далеко? — спросил я.

— А вот увидишь. Ступай за мной.

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни; я последовал туда за ним и очутился на небольшой плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валек спустился туда, приглашая меня за собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под зеленью. Взяв мою руку, Валек повел меня по какому-то узкому сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье.

Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое, подальше, очевидно, было пристроено таким же образом; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц; они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками; стены тоже были сложены из камня; большие широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком. На полу, в освещенных пространствах, сидели две фигуры. Старый «профессор», склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не легкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за фантастическое каменное изваяние.

Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их, по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливала ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Когда там, вверху, над землей, пробегали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, как будто раздвигались, уходили куда-то, а потом опять выступали жесткими, холодными камнями,

смыкаясь крепкими объятиями над крохотною фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валека о «сером камне», высасывавшем из Маруси ее веселье, и чувство суеверного страха закралось в мое сердце; мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный. Мне казалось, что это — подземелье чутко сторожит свою жертву.

— Валек! — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валек, разломив булку, часть подал ей, а другую снес «профессору». Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ежился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня.

— Уйдем... уйдем отсюда,— дернул я Валека.— Уведи ее...

— Пойдем, Маруся, наверх, — позвал Валек сестру.

И мы втроем поднялись из подземелья, но и здесь, наверху, меня не оставляло ощущение какой-то напряженной неловкости. Валек был грустнее и молчаливее обыкновенного.

— Ты в городе остался затем, чтобы купить булок? — спросил я у него.

— Купить? — усмехнулся Валек. — Откуда же у меня деньги?

— Так как же? Ты выпросил?

— Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?.. Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре! Она не заметила.

Он сказал это обыкновенным тоном, лежа врастяжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него.

— Ты, значит, украл?..

— Ну да!

Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча.

— Воровать нехорошо,—проговорил я затем в грустном раздумье.

— Наши все ушли.. Маруся плакала, потому что она была голодна.

— Да, голодна! — с жалобным простодушием повторила девочка.

Я не знал еще, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые Валек по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом. Теперь он не казался уже мне таким авторитетным, а при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце.

— Почему же, — спросил я с усилием, — почему ты не сказал об этом мне?

— Я и хотел сказать, а потом раздумал; ведь у тебя своих денег нет.

— Ну так что же? Я взял бы булок из дому.

— Как, потихоньку?

— Да-да.

— Значит, и ты бы тоже украл.

— Я. . у своего отца.

— Это еще хуже!—с уверенностью сказал Валек.— Я никогда не ворую у своего отца.

— Ну, так я попросил бы... Мне бы дали.

— Ну, может быть, и дали бы один раз, — где же запастись на всех нищих?

— А вы разве... нищие? — спросил я упавшим голосом.

— Нищие! — угрюмо отрезал Валек.

Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.

— Ты уж уходишь? — спросил Валек.

— Да, ухожу.

Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась... Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель, потому что не знал, куда уложить новое болезненное чувство, переполнявшее душу. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.

— Здравствуй! А уж я думал, ты не придешь более, — так встретил меня Валек, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

— Нет, я... я всегда буду ходить к вам, — ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом.

Валек заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

— Ну, что? Где же ваши? — спросил я. — Все еще не вернулись?

— Нет еще. Черт их знает, где они пропадают.

И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руки Марусе, и когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали.

Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валек и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекатывался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по гигантски сложенной мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня; гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода.

— Давайте играть в жмурки, — предложил я.

Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ноги и дико вращал зрачками.

— Это что́ еще, а? — строго спрашивал он, глядя на Валека. — Вы тут, я вижу, весело проводите время... Завели приятную компанию.

— Пустите меня! — сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только еще сильнее сжала мою ногу.

— Responde, ответствуй!—грозно обратился он опять к Валеку, который в этом затруднительном случае стоял, запихав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего.

Я заметил только, что он сочувственным оком и с большим участием следил за моею несчастною фигурой, качавшеюся, подобно маятнику, в пространстве.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.

— Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза... Зачем это изволили пожаловать?

— Пусти! — проговорил я упрямо. — Сейчас отпусти!—и при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

— Ого-го! Пан судья изволят сердиться... Ну, да ты меня еще не знаешь. Ego—Тыбурций sum *. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка.

Я начинал думать, что действительно такова моя неизбежная участь, тем более, что отчаянная фигура Валека как бы подтверждала мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся.

— Не бойся, Вася, не бойся! — ободрила она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция.—Он никогда не жарит мальчиков на огне... Это неправда!

Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил меня между колен.

---

* Я есмь Тыбурций (*лат.*).

— И как это ты сюда попал? — продолжал он допрашивать. — Давно ли?.. Говори ты! — обратился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

— Давно, — ответил тот.

— А как давно?

— Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.

— Ого, шесть дней! — заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. — Шесть дней много времени. И ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?

— Никому.

— Правда?

— Никому, — повторил я.

— Bene, похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий «уличник», хоть и «судья»... А нас судить будешь, скажи-ка?

Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито:

— Я вовсе не судья. Я — Вася.

— Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей, — не теперь, так после... Это уж, брат, так ведется исстари. Вот видишь ли: я — Тыбурций, а он — Валек. Я нищий, и он — нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит, — ну, и ты когда-нибудь будешь судить... вот его!

— Не буду судить Валека, — возразил я угрюмо. — Неправда!

— Он не будет, — вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

Девочка доверчиво прижалась к ногам этого урода, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы.

— Ну, этого ты вперед не говори, — сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. — Не говори, amice!.. * Эта история ведется исстари, всякому свое, suum cuique; каждый идет своей дорожкой, и кто знает... может быть, это и хо-

---

* Друг (лат.).

рошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, amice, потому что иметь в груди кусочек человеческого сердца, вместо холодного камня, — понимаешь?..

Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека; глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои, и в них смутно мерцало что-то, как будто проникавшее в мою душу.

— Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец... Поэтому скажу тебе кратко, а ты когда-нибудь и вспомнишь слова философа Тыбурция: если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще в то время, когда вы оба были дураками и играли вместе, — что уже тогда ты шел по дороге, по которой ходят в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем-бесштанником и с пустым брюхом... Впрочем, пока еще это случится, — заговорил он, резко изменив тон,—запомни еще хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?

— Я не скажу никому... я... Можно мне опять придти?

— Приходи, разрешаю... sub conditionem... * Впрочем, ты еще глуп и латыни не понимаешь. Я уже сказал тебе насчет окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

— Возьми вон там, — указал он Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога,—да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед.

Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не гаер, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам.

Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя, лицо тоже; волосы слиплись на лбу, во всей фигуре виднелось тяжелое утомление. Я в первый раз видел это выражение на лице веселого оратора городских

* Под условием (*лат.*).

кабаков, и опять этот взгляд за кулисы, на актера, изнеможенно отдыхавшего после тяжелой роли, которую он разыгрывал на житейской сцене, как будто влил что-то жуткое в мое сердце. Это было еще одно из тех откровений, какими так щедро наделяла меня старая униатская «каплица».

Мы с Валеком живо принялись за работу. Валек зажег лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полуистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски; из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонек. Затем мне пришлось отступиться, и Валек один умелыми руками принялся за стряпню. Через полчаса на камине закипало уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валек поставил на трехногий, кое-как сколоченный столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.

Тыбурций поднялся.

— Готово? — сказал он. — Ну, и отлично. Садись, малый, с нами,—ты заработал свой обед... Domine praeceptor! * — крикнул он затем, обращаясь к «профессору».— Брось иголку, садись к столу.

— Сейчас, — сказал тихим голосом «профессор», удивив меня этим сознательным ответом.

Впрочем, искра сознания, вызванная голосом Тыбурция, не проявлялась ничем больше. Старик воткнул иголку в лохмотья и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземелье стулья.

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валек ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой и, повинуясь, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к «профессору» со своей беседой. Бедный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивками головы и тихим мычанием.

— Вот, domine, как немного нужно человеку, — гово-

* Господин наставник (*лат.*).

рил Тыбурций.—Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остается только поблагодарить бога и клеванского капеллана...

— Ага, ага! — поддакивал «профессор».

— Ты это, domine, поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чем тут клеванский капеллан,— я ведь тебя знаю... А между тем не будь клеванского капеллана, у нас не было бы жаркого и еще кое-чего...

— Это вам дал клеванский ксендз? — спросил я, вспомнив вдруг круглое добродушное лицо клеванского «пробоща», бывавшего у отца.

— У этого малого, domine, любознательный ум,—продолжал Тыбурций, по-прежнему обращаясь к «профессору».—Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него и не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия... Кушай, domine, кушай!

Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб еще раз не вставить вопроса:

— Вы это взяли... сами?

— Малый не лишен проницательности,—продолжал опять Тыбурций по-прежнему,—жаль только, что он не видел капеллана: у капеллана брюхо, как настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем мы все, здесь находящиеся, страдаем скорее излишнею худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним... Так ли я говорю, domine?

— Ага, ага! — задумчиво промычал опять «профессор».

— Ну вот! На этот раз вы выразили свое мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых ученых... Возвращаясь, однако, к капеллану, я думаю, что добрый урок стоит платы, и в таком случае мы можем сказать, что купили у него провизию: если он после этого сделает в амбаре двери покрепче, то вот мы и квиты... Впрочем, — повернулся он вдруг ко мне, — ты все-таки еще глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое?

— Хорошо! — ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. — Маня была голодна.

Под вечер этого дня я с отуманенною головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения, что «воровать нехорошо». Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие.. воры... у них нет дома!.. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне подымается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси, не давая им слиться. В результате смутного душевного процесса — сожаление к Валеку и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Формула «нехорошо воровать» осталась. Но, когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валека.

В темной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он по обыкновению угрюмо ходил взад и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо.

— Откуда это?

— Я... гулял...

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился, и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста:

— А, все равно... *Ее* уж нет!..

Я солгал чуть ли не первый раз в жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с «дурным обществом», но изменить этому обществу, изменить Валеку и Марусе — я был не в состоянии. К тому же здесь было тоже нечто вроде «принципа»: если б я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.

VIII. ОСЕНЬЮ

Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худела; лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены «дурного общества» бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком.

— Ты славный хлопец и когда-нибудь тоже будешь генералом, — говаривал Туркевич.

Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы; высокий штык-юнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только «профессор» по-всегдашнему был погружен в какие-то глубокие соображения, а Лавровский в трезвом состоянии вообще избегал людского общества и жался по углам.

Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал «с семейством» описанное выше подземелье. Остальные члены «дурного общества» жили в таком же подземелье, побольше, которое отделялось от первого двумя узкими коридорами. Свету здесь было меньше, больше сырости и мрака. Вдоль стен кое-где стояли деревянные лавки и обрубки, заменявшие стулья. Скамейки были завалены какими-то лохмотьями, заменявшими постели. В середине, в освещенном месте, стоял верстак, на котором по временам пан Тыбурций или кто-либо из темных личностей работали столярные поделки; был среди «дурного общества» и сапожник, и корзинщик, но, кроме Тыбурция, все остальные ремесленники были или дилетанты, или же какие-нибудь заморыши, или люди, у которых, как я замечал, слишком сильно тряслись руки, чтобы работа могла идти успешно. Пол этого подземелья был закидан стружками и всякими обрезками; всюду виднелись грязь и беспорядок, хотя по временам Тыбурций за это сильно ругался и заставлял кого-нибудь из жильцов подмести и хотя сколько-нибудь убрать это мрачное жилье. Я не часто заходил сюда, так как не мог привыкнуть к затхлому воздуху, и,

кроме того, в трезвые минуты здесь имел пребывание мрачный Лавровский. Он обыкновенно или сидел на лавочке, спрятав лицо в ладони и раскидав свои длинные волосы, или ходил из угла в угол быстрыми шагами. От этой фигуры веяло чем-то тяжелым и мрачным, чего не выносили мои нервы. Но остальные сожители-бедняги давно уже свыклись с его странностями. Генерал Туркевич заставлял его иногда переписывать набело сочиняемые самим Туркевичем прошения и кляузы для обывателей или же шуточные пасквили, которые потом развешивал на фонарных столбах. Лавровский покорно садился за столик в комнате Тыбурция и по целым часам выводил прекрасным почерком ровные строки. Раза два мне довелось видеть, как его, бесчувственно пьяного, тащили сверху в подземелье. Голова несчастного, свесившись, болталась из стороны в сторону, ноги бессильно тащились и стучали по каменным ступенькам, на лице виднелось выражение страдания, по щекам текли слезы. Мы с Марусей, крепко прижавшись друг к другу, смотрели на эту сцену из дальнего угла; но Валек совершенно свободно шнырял между большими, поддерживая то руку, то ногу, то голову Лавровского.

Все, что на улицах меня забавляло и интересовало в этих людях, как балаганное представление, — здесь, за кулисами, являлось в своем настоящем, неприкрашенном виде и тяжело угнетало детское сердце.

Тыбурций пользовался здесь непререкаемым авторитетом. Он открыл эти подземелья; он здесь распоряжался, и все его приказания исполнялись. Вероятно, поэтому именно я не припомню ни одного случая, когда бы кто-либо из этих людей, несомненно потерявших человеческий облик, обратился ко мне с каким-нибудь дурным предложением. Теперь, умудренный прозаическим опытом жизни, я знаю, конечно, что там был мелкий разврат, грошовые пороки и гниль. Но когда эти люди и эти картины встают в моей памяти, затянутые дымкой прошедшего, я вижу только черты тяжелого трагизма, глубокого горя и нужды.

Детство, юность — это великие источники идеализма!

Осень все больше вступала в свои права. Небо все чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в ту-

манном сумраке; потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях.

Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду; впрочем, я только старался уйти незамеченным; когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упреков, которые лились из уст нянек и служанок.

Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень — темное, молчаливое чудовище подземелья — продолжал без перерывов свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь бо̀льшую часть времени проводила в постели, и мы с Валеком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха.

Теперь, когда я окончательно сжился с «дурным обществом», грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры; но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность, тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен,—я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валек обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землей, в последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках ее загорался румянец; казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось так недолго...

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи.

Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из за́мка. Старик подобострастно

кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

— Уходите! Вы просто старый сплетник!

Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая точно удары хлыста.

— Не верю ни одному слову... Что вам надо от этих людей? Где доказательства?.. Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать... Молчать! это уж мое дело... Не желаю и слушать.

Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему; отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке.

Я сильно недолюбливал старого филина из замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне.

Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу:

— У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гиена.

— Отец его прогнал, — заметил я в виде утешения.

— Твой отец, малый, самый лучший из всех судей, начиная от царя Соломона... Однако знаешь ли ты, что такое curriculum vitae? * Не знаешь, конечно. Ну, а формулярный список знаешь? Ну, вот видишь ли: curriculum vitae — это есть формулярный список человека, не служившего в уездном суде... И если только старый сыч кое-что пронюхал и сможет доставить твоему отцу мой список, то... ах, клянусь богородицей, не желал бы я попасть к судье в лапы!..

— Разве он... злой? — спросил я, вспомнив отзыв Валека.

— Нет, нет, малый! Храни тебя бог подумать это об отце. У твоего отца есть сердце; он знает много... Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но

Краткое жизнеописание *(лат.)*.

он молчит; он не считает нужным травить старого беззубого зверя в его последней берлоге... Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя — закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках; когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не взяться ли нам за Тыбурция Драба, или как там его зовут?» — с этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, что скорее мир повернется в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук... Понимаешь ты, малый?.. И за это я и все еще больше уважаем твоего отца, потому что он верный слуга своего господина, а такие люди редки. Будь у закона все такие слуги, он мог бы спать себе спокойно на своих полках и никогда не просыпаться... Вся беда моя в том, что у меня с законом вышла когда-то, давно уже, некоторая суспиция... то есть, понимаешь, неожиданная ссора... ах, малый, очень это была крупная ссора!

С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своею безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении, под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций, и фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство...

«Вот он какой, — думалось мне, — но все же он меня не любит».

IX. КУКЛА

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения, с целью занять ее, она смотрела равнодушно своими большими потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле.

Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своею новою знакомой... Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с нею на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом, дня через два, старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа. Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан на этот раз с еще бо̀льшим гневом; однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал.

На горе дела опять были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже; лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни.

Валек робко посмотрел на меня.

— Как же теперь будет? — спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

— Ничего! Нянька, наверное, уж забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым, шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен; ослушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позволением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал; отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие.

Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время си-

дел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца.

Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же их опустил в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд.

— Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул.

— Да, — ответил я тихо.

— А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?.. Ты украл ее?

— Нет, — сказал я, подымая голову.

— Как нет? — вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. — Ты украл ее и снес!.. Кому ты снес ее?.. Говори!

Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно. Складка боли, которая со смерти матери залегла у него между бровями, не разгладилась и теперь, но глаза горели гневом. Я весь съежился. Из этих глаз, глаз отца, глянуло на меня, как мне показалось, безумие или... ненависть.

— Ну, что ж ты?.. Говори! — и рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее.

— Н-не скажу, — ответил я тихо.

— Нет, скажешь! — отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.

— Не скажу, — прошептал я еще тише.

— Скажешь, скажешь!..

Он повторил это слово сдавленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и, казалось, слышал даже клокотавшее в груди его бешенство. И я все ниже опускал голову, и слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял едва слышно:

— Нет, не скажу... никогда, никогда не скажу вам... Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными му-

ками. В моей груди, навстречу его угрозам, подымалось едва сознанное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевел дух. Я съежился еще более, горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал.

Изобразить чувство, которое я испытывал в то время, очень трудно. Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство, что, может быть, через секунду мое тело забьется беспомощно в его сильных и исступленных руках. Что он со мной сделает? — швырнет... изломает; но мне теперь кажется, что я боялся не этого... Даже в эту страшную минуту я любил этого человека, но вместе с тем инстинктивно чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь вдребезги, что затем, пока я буду жить, в его руках и после, навсегда, навсегда в моем сердце вспыхнет та же пламенная ненависть, которая мелькнула для меня в его мрачных глазах.

Теперь я совсем перестал бояться; в моей груди защекотало что-то вроде задорного дерзкого вызова... Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа, наконец, разразилась Если так... пусть... тем лучше, — да, тем лучше... тем лучше...

Отец опять тяжело вздохнул. Я уже не смотрел на него, только слышал этот вздох, — тяжелый, прерывистый, долгий... Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, или это чувство не получило исхода благодаря последующему неожиданному обстоятельству, я и до сих пор не знаю. Знаю только, что в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:

— Эге-ге!.. мой бедный маленький друг...

«Тыбурций пришел!» — промелькнуло у меня в голове, но этот приход не произвел на меня никакого впечатления. Я весь превратился в ожидание, и, даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным и чего ждал с приливом задорного ответного гнева.

Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами. Я до сих пор помню малейшую черту этой сцены. На мгновение в зеленоватых глазах, в широком некрасивом лице уличного оратора мелькнула холодная и злорадная насмешка, но это было только на мгновение. Затем он покачал головой, и в его голосе зазвучала скорее грусть, чем обычная ирония...

— Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении...

Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.

— Пан судья! — заговорил он мягко. — Вы человек справедливый... отпустите ребенка. Малый был в «дурном обществе», но, видит бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь богородицей, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый!..

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу.

Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

— Что это значит? — спросил он наконец.

— Отпустите мальчика,—повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову.—Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался на месте, подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета, и если теперь я помню все детали этой сцены, если я помню даже, как за окном возились воробьи, а с речки доносился мерный плеск весел,—то это просто механическое действие памяти. Ничего этого тогда для меня не существовало; был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнородные чувства: гнев и любовь,— так сильно, что это сердце замутилось,

как мутятся от толчка в стакане две отстоявшиеся разнородные жидкости. Был такой мальчик, и этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором звучавшие за дверью...

Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени.

— Приходи к нам, —сказал он, —отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца, застилавший его добрый и любящий взгляд... И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал:

— Я ведь не украл... Соня сама дала мне на время...

— Д-да,— ответил он задумчиво,— я знаю... Я виноват перед тобою, мальчик, и ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце.

Теперь я его уже не боялся.

— Ты отпустишь меня теперь на гору? — спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

— Д-да... Ступай, ступай, мальчик, попрощайся... — ласково проговорил он все еще с тем же оттенком недо-

умения в голосе.— Да, впрочем, постой... пожалуйста, мальчик, погоди немного.

Он ушел в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

— Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше прошу его,— понимаешь?.. покорнейше прошу—взять эти деньги... от тебя... Ты понял?.. Да еще скажи,— добавил отец, как будто колеблясь,— скажи, что если он знает одного тут... Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города... Теперь ступай, мальчик, ступай скорее.

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

— Покорнейше просит... отец...—и я стал совать ему в руку данные отцом деньги.

Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Федоровича.

В подземелье, в темном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся, с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этою гримаской на наши слезы.

«Профессор» стоял у изголовья и безучастно качал головой. Штык-юнкер стучал в углу топором, готовя, с помощью нескольких темных личностей, гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Лавровский, трезвый и с выражением полного сознания, убирал Марусю собранными им самим осенними цветами. Валек спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам нервно всхлипывал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вскоре после описанных событий члены «дурного общества» рассеялись в разные стороны. Остались только «профессор», по-прежнему, до самой смерти, слонявшийся по улицам города, да Туркевич, которому отец



«В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ»



«СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»

давал по временам кое-какую письменную работу. Я с своей стороны пролил немало крови в битвах с еврейскими мальчишками, терзавшими «профессора» напоминанием о режущих и колющих орудиях.

Штык-юнкер и темные личности отправились куда-то искать счастия. Тыбурций и Валек совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город.

Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее; еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом.

Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами.

Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей березы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же, в последний день, мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилкой свои обеты.

1885

«Лес шумит»

Полесская легенда

Было и быльем поросло.

I

Лес шумел...

В этом лесу всегда стоял шум — ровный, протяжный, как отголосок дальнего звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясное воспоминание о прошедшем. В нем всегда стоял шум, потому что это был старый, дремучий бор, которого не касались еще пила и топор лесного барышника. Высокие столетние сосны с красными могучими стволами стояли хмурою ратью, плотно сомкнувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой; сквозь полог сосновых игол, которыми была усыпана почва, пробились яркие папоротники, пышно раскинувшиеся причудливою бахромой и стоявшие недвижимо, не шелохнув листом. В сырых уголках тянулись высокими стеблями зеленые травы; белая кашка склонялась отяжелевшими головками, как будто в тихой истоме. А вверху, без конца и перерыва, тянул лесной шум, точно смутные вздохи старого бора.

Но теперь эти вздохи становились все глубже, сильнее. Я ехал лесною тропой, и, хотя неба мне не было видно, но по тому, как хмурился лес, я чувствовал, что

над ним тихо подымается тяжелая туча. Время было не раннее. Между стволов кое-где пробивался еще косой луч заката, но в чащах расползались уже мглистые сумерки. К вечеру собиралась гроза.

На сегодня нужно было уже отложить всякую мысль об охоте; в пору было только добраться перед грозой до ночлега. Мой конь постукивал копытом в обнажившиеся корни, храпел и настораживал уши, прислушиваясь к гулко щелкающему лесному эху. Он сам прибавлял шагу к знакомой лесной сторожке.

Залаяла собака. Между поредевшими стволами мелькают мазаные стены. Синяя струйка дыма вьется под нависшею зеленью; покосившаяся изба с лохматою крышей приютилась под стеной красных стволов; она как будто врастает в землю, между тем как стройные и гордые сосны высоко покачивают над ней своими головами. Посредине поляны, плотно примкнувшись друг к другу, стоит кучка молодых дубов.

Здесь живут обычные спутники моих охотничьих экскурсий — лесники Захар и Максим. Но теперь, по-видимому, обоих нет дома, так как никто не выходит на лай громадной овчарки. Только старый дед, с лысою головой и седыми усами, сидит на завалинке и ковыряет лапоть. Усы у деда болтаются чуть не до пояса, глаза глядят тускло, точно дед все вспоминает что-то и не может припомнить.

— Здравствуй, дед! Есть кто-нибудь дома?

— Эге! — мотает дед головой.— Нет ни Захара, ни Максима, да и Мотря побрела в лес за коровой... Корова куда-то ушла,— пожалуй, медведи... задрали... Вот оно как, нет никого!

— Ну, ничего. Я с тобой посижу, обожду.

— Обожди, обожди,— кивает дед, и пока я подвязываю лошадь к ветви дуба, он всматривается в меня слабыми и мутными глазами. Плох уж старый дед: глаза не видят и руки трясутся.

— А кто ж ты такой, хлопче? — спрашивает он, когда я подсаживаюсь на завалинке.

Этот вопрос я слышу в каждое свое посещение.

— Эге, знаю теперь, знаю,— говорит старик, принимаясь опять за лапоть.— Вот старая голова, как решето, ничего не держит. Тех, что давно умерли, помню,—

ой, хорошо помню! А новых людей все забываю... Зажился на свете.

— А давно ли ты, дед, живешь в этом лесу?

— Эге, давненько! Француз приходил в царскую землю, я уже был.

— Много же ты на своем веку видел. Чай, есть чего рассказать.

Дед смотрит на меня с удивлением.

— А что же мне видеть, хлопче? Лес видел... Шумит лес, шумит и днем, и ночью, зимою шумит и летом... И я, как та деревина, век прожил в лесу и не заметил... Вот и в могилу пора, а подумаю иной раз, хлопче, то и сам смекнуть не могу: жил я на свете или нет... Эге, вот как! Может, и вовсе не жил...

Край темной тучи выдвинулся из-за густых вершин над лесною поляной; ветви замыкавших поляну сосен закачались под дуновением ветра, и лесной шум пронесся глубоким усилившимся аккордом. Дед поднял голову и прислушался.

— Буря идет,— сказал он через минуту.— Это вот я знаю. Ой-ой, заревет ночью буря, сосны будет ломать, с корнем выворачивать станет!.. Заиграет лесной хозяин...— добавил он тише.

— Почему же ты знаешь, дед?

— Эге, это я знаю! Хорошо знаю, как дерево говорит... Дерево, хлопче, тоже боится... Вот осина, проклятое дерево, все что-то лопочет,— и ветру нет, а она трясется. Сосна на бору в ясный день играет-звенит, а чуть подымется ветер, она загудит и застонет. Это еще ничего... А ты вот слушай теперь. Я хоть глазами плохо вижу, а ухом слышу: дуб зашумел, ду́ба уже трогает на поляне... Это к буре.

Действительно, куча невысоких коряжистых дубов, стоявших посредине поляны и защищенных высокою стеною бора, помахивала крепкими ветвями, и от них несся глухой шум, легко отличаемый от гулкого звона сосен.

— Эге! слышишь ли, хлопче? — говорит дед с детски-лукавою улыбкой.— Я уже знаю: тронуло этак вот дуба, значит *хозяин* ночью пойдет, ломать будет. Да нет, не сломает! Дуб — дерево крепкое, не под силу даже хозяину... вот как!

— Какой же хозяин, деду? Сам же ты говоришь: буря ломает.

Дед закивал головой с лукавым видом.

— Эге, я ж это знаю!.. Нынче, говорят, такие люди пошли, что уже ничему не верят. Вот оно как! А я же его видел, вот как тебя теперь, а то еще лучше, потому что теперь у меня глаза старые, а тогда были молодые. Ой-ой, как еще видели мои глаза смолоду!..

— Как же ты его видел, деду, скажи-ка?

— А вот, все равно, как и теперь: сначала сосна застонет на бору... То звенит, а то стонать начнет: о̀-ох-хо-о̀... о́-хо-о̀! — и затихнет, а потом опять, потом опять, да чаще, да жалостнее. Эге, потому что много ее повалит хозяин ночью. А потом дуб заговорит. А к вечеру все больше, а ночью и пойдет крутить: бегает по лесу, смеется и плачет, вертится, пляшет и все на дуба́ налегает, все хочется вырвать... А я раз осенью и посмотрел в оконце; вот *ему* это и не по сердцу: подбежал к окну, тар-рах в него сосновою корягой; чуть мне все лицо не искалечил, чтоб ему было пусто; да я не дурак — отскочил. Эге, хлопче, вот он какой сердитый!..

— А каков же он с виду?

— А с виду он все равно, как старая верба, что стоит на болоте. Очень похож!.. И волосы — как сухая омела, что вырастает на деревьях, и борода тоже, а нос — как здоровенный сук, а морда корявая, точно поросла лишаями.. Тьфу, какой некрасивый! Не дай же бог ни одному крещеному на него походить... Ей-богу! Я-таки в другой раз на болоте его видел, близко.. А хочешь, приходи зимой, так и сам увидишь *его*. Взойди туда, на гору,— лесом та гора поросла,— и полезай на самое высокое дерево, на верхушку. Вот оттуда иной день и можно его увидать: идет он белым столбом поверх лесу, так и вертится сам, с горы в долину спускается.. Побежит, побежит, а потом в лесу и пропадет. Эге!.. А где пройдет, там след белым снегом устилает... Не веришь старому человеку, так когда-нибудь сам посмотри.

Разболтался старик. Казалось, оживленный и тревожный говор леса и нависшая в воздухе гроза возбуждали старую кровь. Дед кивал головой, усмехался, моргал выцветшими глазами.

Но вдруг будто какая-то тень пробежала по высокому, изборожденному морщинами лбу. Он толкнул меня локтем и сказал с таинственным видом:

— А знаешь, хлопче, что я тебе скажу?.. Он, конечно, лесной хозяин — мерзенная тварюка, это правда. Крещеному человеку обидно увидать такую некрасивую харю... Ну, только надо о нем правду сказать: он зла не делает... Пошутить с человеком, пошутит, а чтоб лихо делать, этого не бывает.

— Да как же, дед, ты сам говорил, что он тебя хотел ударить корягой?

— Эге, хотел-таки! Так то ж он рассердился, зачем я в окно на него смотрю, вот оно что! А если в его дела носа не совать, так и он такому человеку никакой пакости не сделает. Вот он какой, лесовик!.. А знаешь, в лесу от людей страшнее дела бывали... Эге, ей-богу!

Дед наклонил голову и с минуту сидел в молчании. Потом, когда он посмотрел на меня, в его глазах, сквозь застлавшую их тусклую оболочку, блеснула как будто искорка проснувшейся памяти.

— Вот я тебе расскажу, хлопче, лесную нашу бывальщину. Было тут раз, на самом этом месте, давно... Помню, я... ровно сон, а как зашумит лес погромче, то и все вспоминаю... Хочешь, расскажу тебе, а?

— Хочу, хочу, деду! Рассказывай.

— Так и расскажу же, эге! Слушай вот!

II

У меня, знаешь, батько с матерью давно померли, я еще малым хлопчиком был... Покинули они меня на свете одного. Вот оно как со мною было, эге! Вот громада и думает: «Что ж нам теперь с этим хлопчиком делать?» Ну, и пан тоже себе думает... И пришел на этот раз из лесу лесник Роман, да и говорит громаде: «Дайте мне этого хлопца в сторожку, я его буду кормить... Мне в лесу веселее, и ему хлеб...» Вот он как говорит, а громада ему отвечает: «Бери!» Он и взял. Так я с тех самых пор в лесу и остался.

Тут меня Роман и выкормил. Ото ж человек был какой страшный, не дай господи!.. Росту большого, глаза черные, и душа у него темная из глаз глядела, потому

что всю жизнь этот человек в лесу один жил: медведь ему, люди говорили, все равно, что брат, а волк — племянник. Всякого зверя он знал и не боялся, а от людей сторонился и не глядел даже на них... Вот он какой был — ей-богу, правда! Бывало, как он на меня глянет, так у меня по спине будто кошка хвостом поведет... Ну, а человек был все-таки добрый, кормил меня, нечего сказать, хорошо: каша, бывало, гречневая всегда у него с салом, а когда утку убьет, так и утка. Что правда, то уже правда, кормил-таки.

Так мы и жили вдвоем. Роман в лес уйдет, а меня в сторожке запрет, чтобы зверюка не съела. А после дали ему «жинку» Оксану.

Пан ему жинку дал. Призвал его на село, да и говорит: «Вот что, говорит, Ромáсю, женись!» Говорит пану Роман сначала: «А на какого же мне биса жинка? Что мне в лесу делать с бабой, когда у меня уж и без того хлопец есть? Не хочу я, говорит, жениться!» Не привык он с девками возиться, вот что! Ну, да и пан тоже хитрый был... Как вспомню про этого пана, хлопче, то и подумаю себе, что теперь уже таких нету,— нету таких панов больше — вывелись... Вот хоть бы и тебя взять: тоже, говорят, и ты панского роду... Может, оно и правда, а таки нет в тебе этого... настоящего... Так себе, мизерный хлопчина, больше ничего.

Ну, а тот настоящий был, из прежних... Вот, скажу тебе, такое на свете водится, что сотни людей одного человека боятся, да еще как!.. Посмотри ты, хлопче, на ястреба и на цыпленка: оба из яйца вылупились, да ястреб сейчас вверх норовит, эге! Как крикнет в небе, так сейчас не то что цыплята — и старые петухи забегают... Вот же ястреб — панская птица, а курица — простая мужичка...

Вот, помню, я малым хлопчиком был: везут мужики из лесу толстые бревна, человек, может быть, тридцать. А пан один на своем конике едет да усы крутит. Конек под ним играет, а он кругом смотрит. Ой-ой! завидят мужики пана, то-то забегают, лошадей в снег сворачивают, сами шапки снимают. После сколько бьются, из снега бревна вывозят, а пан себе скачет,— вот ему, видишь ты, и одному на дороге тесно! Поведет пан бровью — уже мужики боятся, засмеется — и всем весело, а

нахмурится — все запечалятся. А чтобы кто пану мог перечить, того, почитай, и не бывало.

Ну, а Роман, известно, в лесу вырос, обращения не знал, и пан на него не очень сердился.

— Хочу,— говорит пан,— чтоб ты женился, а зачем, про то я сам знаю. Бери Оксану.

— Не хочу я,— ответил Роман,— не надо мне ее, хоть бы и Оксану! Пускай на ней черт женится, а не я... Вот как!

Велел пан принести канчуки, растянули Романа, пан его спрашивает:

— Будешь, Роман, жениться?

— Нет,— говорит,— не буду.

— Сыпьте ж ему,— говорит пан,— в мотню [1], сколько влезет.

Засыпали ему-таки немало; Роман на что уж здоров был, а все ж ему надоело.

— Бросьте уж,— говорит,— будет-таки! Пускай же ее лучше все черти возьмут, чем мне за бабу столько муки принимать. Давайте ее сюда, буду жениться!

Жил на дворе у пана доезжачий, Опанас Швидкий. Приехал он на ту пору с поля, как Романа к женитьбе заохачивали. Услышал он про Романову беду — бух пану в ноги. Таки упал в ноги, целует...

— Чем,— говорит,— вам, милостивый пан, человека мордовать, лучше я на Оксане женюсь, слова не скажу... Эге, сам-таки захотел жениться на ней. Вот какой человек был, ей-богу!

Вот Роман было обрадовался, повеселел. Встал на ноги, завязал мотню и говорит:

— Вот,— говорит,— хорошо. Только что бы тебе, человече, пораньше немного приехать? Да и пан тоже — всегда вот так!.. Не расспросить же было толком, может, кто охотой женится. Сейчас схватили человека и давай ему сыпать! Разве,— говорит,— это по-христиански так делать? Тьфу!..

Эге, он порой и пану спуску не давал. Вот какой был Роман! Когда уж осердится, то к нему, бывало, не подступайся, хотя бы и пан. Ну, а пан был хитрый! У него,

---

[1] Хохлы носят холщовые штаны вроде мешка, раздвоенного только внизу. Этот-то мешок и называется «мотнею».

видишь, другое на уме было. Велел опять Романа растянуть на траве.

— Я,— говорит,— тебе, дураку, счастья хочу, а ты нос воротишь. Теперь ты один, как медведь в берлоге, и заехать к тебе не весело... Сыпьте ж ему, дураку, пока не скажет: довольно!.. А ты, Опанас, ступай себе к чертовой матери. Тебя, говорит, к обеду не звали, так сам за стол не садись, а то видишь, какое Роману угощенье? Тебе как бы того же не было.

А Роман уж и не на шутку осердился, эге! Его дуют-таки хорошо, потому что прежние люди, знаешь, умели славно канчуками шкуру спускать, а он лежит себе и не говорит: довольно! Долго терпел, а все-таки после плюнул:

— Не дождет ее батько, чтоб из-за бабы христианину вот так сыпали, да еще и не считали. Довольно! Чтоб вам руки поотсыхали, бисова дворня! Научил же вас черт канчуками работать! Да я ж вам не сноп на току, чтоб меня вот так молотили. Коли так, так вот же, и женюсь.

А пан себе смеется.

— Вот,— говорит,— и хорошо! Теперь на свадьбе хоть сидеть тебе и нельзя, зато плясать будешь больше...

Веселый был пан, ей-богу, веселый, эге? Да только после скверное с ним случилось, не дай бог ни одному крещеному. Право, никому такого не пожелаю. Пожалуй, даже и жиду не следует такого желать. Вот я что думаю...

Вот так-то Романа и женили. Привез он молодую жинку в сторожку; сначала все ругал да попрекал своими канчуками.

— И сама ты,— говорит,— того не стоишь, сколько из-за тебя человека мордовали.

Придет, бывало, из лесу и сейчас станет ее из избы гнать:

— Ступай себе! Не надо мне бабы в сторожке! Чтоб и духу твоего не было! Не люблю,— говорит,— когда у меня баба в избе спит. Дух,— говорит,— нехороший.

Эге!

Ну, а после ничего, притерпелся. Оксана, бывало, избу выметет и вымажет чистенько, посуду расставит; блестит все, даже сердцу весело. Роман видит: хорошая баба,— помаленьку и привык. Да и не только привык,

хлопче, а стал ее любить, ей-богу, не лгу! Вот какое дело с Романом вышло. Как пригляделся хорошо к бабе, потом и говорит:

— Вот спасибо пану, добру меня научил. Да и я ж таки неумный был человек: сколько канчуко́в принял, а оно, как теперь вижу, ничего и дурного нет. Еще даже хорошо. Вот оно что!

Вот прошло сколько-то времени, я не знаю, сколько. Слегла Оксана на лавку, стала стонать. К вечеру занедужилась, а наутро проснулся я, слышу: кто-то тонким голосом «квили́т»[1]. «Эге! — думаю я себе,— это ж, видно, «ди́тына» родилась». А оно вправду так и было.

Недолго пожила диты́на на белом свете. Только и жила, что от утра до вечера. Вечером и пищать перестала... Заплакала Оксана, а Роман и говорит:

— Вот и нету диты́ны, а когда ее нету, то незачем теперь и попа звать. Похороним под сосною.

Вот как говорит Роман, да не то, что говорит, а так как раз и сделал: вырыл могилку и похоронил. Вон там старый пень стоит, громом его спалило... Так то ж и есть та самая сосна, где Роман диты́ну зарыл. Знаешь, хлопче, вот же я тебе скажу: и до сих пор, как солнце сядет и звезда-зорька над лесом станет, летает какая-то пташка, да и кричит. Ох, и жалобно квили́т пташи́на, аж сердцу больно! Так это и есть некрещеная душа,— креста себе просит Кто знающий человек, по книгам учился, то, говорят, может ей крест дать, и не станет она больше летать... Да мы вот тут в лесу живем, ничего не знаем. Она летает, она просит, а мы только и говорим: «Геть-геть, бедная душа, ничего мы не можем сделать!» Вот заплачет и улетит, а потом и опять прилетает. Эх, хлопче, жалко бедную душу!

Вот выздоровела Оксана, все на могилку ходила. Сядет на могилке и плачет, да так громко, что по всему лесу, бывало, голос ее ходит Это она так свою диты́ну жалела, а Роман не жалел диты́ну, а Оксану жалел. Придет, бывало, из лесу, станет около Оксаны и говорит:

— Молчи уж, глупая ты баба! Вот было бы о чем плакать! Померла одна диты́на, то, может, другая будет. Да еще, пожалуй, и лучшая, эге! Потому что та еще,

---

[1] Квилит — плачет, жалобно пищит.

может, и не моя была, я же таки и не знаю. Люди говорят... А это будет моя.

Вот уже Оксана и не любила, когда он так говорил. Перестанет, бывало, плакать и начнет его нехорошими словами «лаять». Ну, Роман на нее не сердился.

— Да и что же ты,— спрашивает,— лаешься? Я же ничего такого не сказал, а только сказал, что не знаю. Потому и не знаю, что прежде ты не моя была и жила не в лесу, а на свете, промежду людей. Так как же мне знать? Теперь вот ты в лесу живешь, вот и хорошо. А таки говорила мне баба Федосья, когда я за нею на село ходил: «Что-то у тебя, Роман, скоро дитына поспела!» А я говорю бабе: «Как же мне-таки знать, скоро ли, или нескоро?..» Ну, а ты все же брось голосить, а то я осержусь, то еще, пожалуй, как бы тебя и не побил.

Вот Оксана полает, полает его, да и перестанет.

Она его, бывало, и поругает, и по спине ударит, а как станет Роман сам сердиться, она и притихнет,— боялась. Приласкает его, обоймет, поцелует и в очи заглянет... Вот мой Роман и угомонится. Потому... видишь ли, хлопче... Ты, должно быть, не знаешь, а я, старик, хотя сам не женивался, а все-таки видал на своем веку: молодая баба дюже сладко целуется, какого хочешь сердитого мужика может она обойти. Ой-ой... Я же таки знаю, каковы эти бабы. А Оксана была гладкая такая молодица, что теперь я уже что-то таких больше не вижу. Теперь, хлопче, скажу тебе, и бабы не такие, как прежде.

Вот раз в лесу рожок затрубил: тра-та, тара-тара-та-та-та!.. Так и разливается по лесу, весело да звонко. Я тогда малый хлопчик был и не знал, что это такое; вижу: птицы с гнезд подымаются, крылом машут, кричат, а где и заяц пригнул уши на спину и бежит, что есть духу. Вот я и думаю: может, это зверь какой невиданный так хорошо кричит. А то же не зверь, а пан себе на конике лесом едет да в рожок трубит; за паном доезжачие верхом и собак на сворах ведут. А всех доезжачих красивее Опанас Швидкий, за паном в синем казакине гарцует; шапка на Опанасе с золотым верхом, конь под ним играет, рушница за плечами блестит, и бандура на ремне через плечо повешена. Любил пан Опанаса, потому что Опанас хорошо на бандуре играл и песни был ма-

стер петь. Ух, и красивый же был парубок этот Опанас, страх красивый! Куда было пану с Опанасом равняться: пан уже и лысый был, и нос у пана красный, и глаза, хоть веселые, а все не такие, как у Опанаса. Опанас, бывало, как глянет на меня,— мне, малому хлопчику, и то смеяться хочется, а я же не девка. Говорили, что у Опанаса отцы и деды запорожские казаки были, в Сечи казаковали, а там народ был все гладкий да красивый, да проворный. Да ты сам, хлопче, подумай: на коне ли со «списой»[1] по полю птицей летать, или топором дерево рубить. это ж не одно дело...

Вот я выбежал из хаты, смотрю: подъехал пан, остановился, и доезжачие стали; Роман из избы вышел, подержал пану стремя: ступил пан на землю. Роман ему поклонился.

— Здорово! — говорит пан Роману.

— Эге,— отвечает Роман,— да я ж, спасибо, здоров, чего мне делается? А вы как?

Не умел, видишь ты, Роман пану как следует ответить. Дворня вся от его слов засмеялась, и пан тоже.

— Ну, и слава богу, что ты здоров,— говорит пан.— А где ж твоя жинка?

— Да где ж жинке быть? Жинка, известно, в хате...

— Ну, мы и в хату войдем,— говорит пан,— а вы, хлопцы, пока на траве ковер постелите да приготовьте нам все, чтобы было чем молодых на первый раз поздравить.

Вот и пошли в хату: пан, и Опанас, и Роман без шапки за ним, да еще Богдан — старший доезжачий, верный панский слуга. Вот уж и слуг таких теперь тоже на свете нету: старый был человек, с дворней строгий, а перед паном как та собака. Никого у Богдана на свете не было, кроме пана. Говорят, как померли у Богдана батько с матерью, попросился он у старого пана на тягло и захотел жениться. А старый пан не позволил, приставил его к своему паничу: тут тебе, говорит, и батько, и мать, и жинка. Вот выносил Богдан панича, и выходил, и на коня выучил садиться, и из ружья стрелять. А вырос панич, стал сам пановать, старый Богдан все за ним следом ходил, как собака. Ох, скажу тебе правду: много того Бог-

[1] Списа — копье.

дана люди проклинали, много на него людских слез пало... все из-за пана. По одному панскому слову Богдан мог бы, пожалуй, родного отца в клочки разорвать...

А я, малый хлопчик, тоже за ними в избу побежал: известное дело, любопытно. Куда пан повернулся, туда и я за ним.

Гляжу, стоит пан посередь избы, усы гладит, смеется. Роман тут же топчется, шапку в руках мнет, а Опанас плечом об стенку уперся, стоит себе, бедняга, как тот молодой дубок в непогодку. Нахмурился, невесел...

И вот они трое повернулись к Оксане. Один старый Богдан сел в углу на лавке, свесил чуприну, сидит, пока пан чего не прикажет. А Оксана в углу у печки стала, глаза опустила, сама раскраснелась вся, как тот мак середь ячменю. Ох, видно, чуяла небóга, что из-за нее лихо будет. Вот тоже скажу тебе, хлопче: уже если три человека на одну бабу смотрят, то от этого никогда добра не бывает — непременно до чуба дело дойдет, коли не хуже. Я ж это знаю, потому что сам видел.

— Ну, что, Ромáсю,— смеется пан,— хорошую ли я тебе жинку высватал?

— А что ж? — Роман отвечает.— Баба, как баба, ничего!

Повел тут плечом Опанас, поднял глаза на Оксану и говорит про себя:

— Да,— говорит,— баба! Хоть бы и не такому дурню досталась.

Роман услыхал это слово, повернулся к Опанасу и говорит ему:

— А чем бы это я, пан Опанас, вам за дурня показался? Эге, скажите-ка!

— А тем,— говорит Опанас,— что не сумеешь жинку свою уберечь, тем и дурень...

Вот какое слово сказал ему Опанас! Пан даже ногою топнул, Богдан покачал головою, а Роман подумал с минуту, потом поднял голову и посмотрел на пана.

— А что ж мне ее беречь? — говорит Опанасу, а сам все на пана смотрит.— Здесь, кроме зверя, никакого черта и нету, вот разве милостивый пан когда завернет. От кого же мне жинку беречь? Смотри ты, вражий казаче, ты меня не дразни, а то я, пожалуй, и за чуприну схвачу.

Пожалуй-таки и дошло бы у них дело до потасовки, да пан вмешался: топнул ногой,— они и замолчали.

— Тише вы,— говорит,— бисовы дети! Мы же сюда не для драки приехали. Надо молодых поздравлять, а потом, к вечеру, на болото охотиться. Айда за мной!

Повернулся пан и пошел из избы; а под деревом доезжачие уж и закуску сготовили. Пошел за паном Богдан, а Опанас остановил Романа в сенях.

— Не сердись ты на меня, бра̀тику,— говорит казак.— Послушай, что тебе Опанас скажет: видел ты, как я у пана в ногах валялся, сапоги у него целовал, чтоб он Оксану за меня отдал? Ну, бог с тобой, человече Тебя поп окрутил, такая, видно, судьба! Так не стерпит же мое сердце, чтоб лютый ворог опять и над ней, и над тобой потешался. Гей-гей! Никто того не знает, что у меня на душе... Лучше же я и его, и ее из рушни́цы вместо постели уложу в сырую землю...

Посмотрел Рома̀н на казака и спрашивает:

— А ты, казаче, часом «с глузду не съехал»? [1]

Не слыхал я, что Опанас на это стал Роману тихо в сенях говорить, только слышал, как Роман его по плечу хлопнул.

— Ох, Опанас, Опанас! Вот какой на свете народ злой да хитрый! А я же ничего того, живучи в лесу, и не знал. Эге, пане, пане, лихо ты на свою голову затеял!..

— Ну,— говорит ему Опанас,— ступай теперь и не показывай виду, пуще всего перед Богданом. Неумный ты человек, а эта панская собака хитра. Смотри же: панской горелки много не пей, а если отправит тебя с доезжачими на болото, а сам захочет остаться, веди доезжачих до старого дуба и покажи им объездную дорогу, а сам, скажи, прямиком пойдешь по лесу... Да поскорее сюда возвращайся.

— Добре,— говорит Роман.— Соберусь на охоту, рушницу не дробью заряжу и не «леткой» на птицу, а доброю пулей на медведя...

Вот и они вышли. А уж пан сидит на ковре, велел подать фляжку и чарку, наливает в чарку горелку и потчевает Романа. Эге, хороша была у пана и фляжка, и чарка, а горелка еще лучше. Чарочку выпьешь — душа ра-

---

[1] «С глузду съехать» — сойти с ума.

дуется, другую выпьешь — сердце скачет в груди, а если человек непривычный, то с третьей чарки и под лавкой валяется, коли баба на лавку не уложит.

Эге, говорю тебе. хитрый был пан! Хотел Романа напоить своею горелкой допьяна, а еще такой и горелки не бывало, чтобы Романа свалила. Пьет он из панских рук чарку, пьет и другую, и третью выпил, а у самого только глаза, как у волка, загораются, да усом черным поводит. Пан даже осердился:

— Вот же, вражий сын, как здорово горелку хлещет, а сам и не моргнет глазом! Другой бы уж давно заплакал, а он, глядите, добрые люди, еще усмехается...

Знал же вражий пан хорошо, что если уж человек от горелки заплакал, то скоро и совсем чуприну на стол свесит. Да на тот раз не на такого напал.

— А с чего ж мне,— Роман ему отвечает,— плакать? Даже, пожалуй, это нехорошо бы было. Приехал ко мне милостивый пан поздравлять, а я бы-таки и начал реветь, как баба. Слава богу, не от чего мне еще плакать, пускай лучше мои вороги плачут...

— Значит,— спрашивает пан,— ты доволен?

— Эге! А чем мне быть недовольным?

— А помнишь, как мы тебя канчука́ми сватали?

— Как-таки не помнить! Ото ж и говорю, что неумный человек был, не знал, что горько, что сладко. Канчук горек, а я его лучше бабы любил. Вот спасибо вам, милостивый пане, что научили меня, дурня, мед есть.

— Ладно, ладно,— пан ему говорит.— Зато и ты мне услужи: вот пойдешь с доезжачими на болото, настреляй побольше птиц, да непременно глухого тетерева достань.

— А когда ж это пан нас на болото посылает? — спрашивает Роман.

— Да вот выпьем еще. Опанас нам песню споет, да и с богом.

Посмотрел Роман на него и говорит пану:

— Вот уж это и трудно: пора не ранняя, до болота далеко, а еще, вдобавок, и ветер по лесу шумит, к ночи будет буря. Как же теперь такую сторожкую птицу убить?

А уж пан захмелел, да во хмелю был крепко сердитый. Услышал, как дворня промеж себя шептаться стала,

говорят, что, мол, «Романова правда, загудет скоро буря»,— и осердился. Стукнул чаркой, повел глазами,— все и стихли.

Один Опанас не испугался; вышел он, по панскому слову, с бандурой песни петь, стал бандуру настраивать, сам посмотрел сбоку на пана и говорит ему:

— Опомнись, милостивый пане! Где же это видано, чтобы к ночи, да еще в бурю, людей по темному лесу за птицей гонять?

Вот он какой был смелый! Другие, известное дело, панские «крепаки», боятся, а он — вольный человек, казацкого рода. Привел его небольшим хлопцем старый казак-бандурист с Украйны. Там, хлопче, люди что-то нашумели в городе Умани. Вот старому казаку выкололи очи, обрезали уши и пустили его такого по свету. Ходил он, ходил после того по городам и селам и забрел в нашу сторону с поводырем, хлопчиком Опанасом. Старый пан взял его к себе, потому что любил хорошие песни. Вот старик умер,— Опанас при дворе и вырос. Любил его новый пан тоже и терпел от него порой такое слово, за которое другому спустили бы три шкуры.

Так и теперь: осердился было сначала, думали, что он казака ударит, а после говорит Опанасу:

— Ой, Опанас, Опанас. Умный ты хлопец, а того, видно, не знаешь, что меж дверей не надо носа совать, чтобы как-нибудь не захлопнули...

Вот он какую загадал загадку! А казак-таки сразу и понял. И ответил казак пану песней. Ой, кабы и пан понял казацкую песню, то, может бы, его пани над ним не разливалась слезами.

— Спасибо, пане, за науку,— сказал Опанас,— вот же я тебе за то спою, а ты слушай.

И ударил по струнам бандуры.

Потом поднял голову, посмотрел на небо, как в небе орел ширяет, как ветер темные тучи гоняет. Наставил ухо, послушал, как высокие сосны шумят

И опять ударил по струнам бандуры.

Эй, хлопче, не довелось тебе слышать, как играл Опанас Швидкий, а теперь уж и не услышишь! Вот же и не хитрая штука бандура, а как она у знающего человека хорошо говорит. Бывало, пробежит по ней рукою, она ему все и скажет: как темный бор в непогоду

шумит, и как ветер звенит в пустой степи по бурьяну, и как сухая травинка шепчет на высокой казацкой могиле.

Нет, хлопче, не услыхать уже вам настоящую игру! Ездят теперь сюда всякие люди, такие, что не в одном Полесье бывали, но и в других местах, и по всей Украйне: и в Чигирине, и в Полтаве, и в Киеве, и в Черкасах. Говорят, вывелись уж бандуристы, не слышно их уже на ярмарках и на базарах. У меня еще на стене в хате старая бандура висит. Выучил меня играть на ней Опанас, а у меня никто игры не перенял. Когда я умру,— а уж это скоро,— так, пожалуй, и нигде уже на широком свете не слышно будет звона бандуры. Вот оно что!

И запел Опанас тихим голосом песню. Голос был у Опанаса негромкий, да «сумный» [1],— так, бывало, в сердце и льется. А песню, хлопче, казак, видно, сам для пана придумал. Не слыхал я ее никогда больше, и когда после, бывало, к Опанасу пристану, чтобы спел, он все не соглашался.

— Для кого,— говорит,— та песня пелась, того уже нету на свете.

В той песне казак пану всю правду сказал, что с паном будет, и пан плачет, даже слезы у пана текут по усам, а все же ни слова, видно, из песни не понял.

Ох, не помню я эту песню, помню только немного. Пел казак про пана, про Ивана:

Ой, пане, ой, Иване!..
Умный пан много знает...
Знает, что ястреб в небе летает, ворон побивает...
Ой, пане, ой, Иване!..
А того ж пан не знает,
Как на свете бывает,—
Что у гнезда и ворона ястреба побивает...

Вот же, хлопче, будто и теперь я эту песню слышу и тех людей вижу: стоит казак с бандурой, пан сидит на ковре, голову свесил и плачет; дворня кругом столпилась, поталкивают один другого локтями; старый Богдан головой качает... А лес, как теперь, шумит, и тихо да

[1] Украинское слово сумный совмещает в себе понятия, передаваемые по-русски словами: грустный и задумчивый.

сумно звенит бандура, а казак поет, как пани плачет над паном, над Иваном:

Плачет пани, плачет,
А над паном над Иваном черный ворон крячет.

Ох, не понял пан песни, вытер слезы и говорит:

— Ну, собирайся, Роман! Хлопцы, садитесь на коней! И ты, Опанас, поезжай с ними,— будет уж мне твоих песен слушать!.. Хорошая песня, да только никогда того, что в ней поется, на свете не бывает.

А у казака от песни размякло сердце, затуманились очи

— Ох, пане, пане,— говорит Опанас,— у нас говорят старые люди: в сказке правда и в песне правда. Только в сказке правда — как железо: долго по свету из рук в руки ходило, заржавело... А в песне правда — как золото, что никогда его ржа не ест... Вот как говорят старые люди!

Махнул пан рукой.

— Ну, может, так в вашей стороне, а у нас не так... Ступай, ступай, Опанас,— надоело мне тебя слушать.

Постоял казак с минуту, а потом вдруг упал перед паном на землю:

— Послушай меня, пане! Садись на коня, поезжай к своей пани: у меня сердце недоброе чует.

Вот уж тут пан осердился, толкнул казака, как собаку, ногой.

— Иди ты от меня прочь! Ты, видно, не казак, а баба! Иди ты от меня, а то как бы с тобой не было худо... А вы что стали, хамово племя? Иль я не пан вам больше? Вот я вам такое покажу, чего и ваши батьки от моих батькòв не видали!..

Встал Опанас на ноги, как темная туча, с Романом переглянулся. А Роман в стороне стоит, на рушницу облокотился, как ни в чем не бывало.

Ударил казак бандурой об дерево! — бандура вдребезги разлетелась, только стон пошел от бандуры по лесу.

— А пускай же,— говорит,— черти на том свете учат такого человека, который разумную ра́ду не слушает... Тебе, пане, видно, верного слуги не надо.

Не успел пан ответить, вскочил Опанас в седло и поехал. Доезжачие тоже на коней сели. Роман вскинул рушницу на плечи и пошел себе, только, проходя мимо сторожки, крикнул Оксане:

— Уложи хлопчика, Оксана! Пора ему спать. Да и пану сготовь постелю.

Вот скоро и ушли все в лес вон по той дороге; и пан в хату ушел, только панский конь стоит себе, под деревом привязан. А уж и темнеть начало, по лесу шум идет, и дождик накрапывает, вот-таки совсем, как теперь .. Уложила меня Оксана на сеновале, перекрестила на ночь... Слышу я, моя Оксана плачет.

Ох, ничего-то я тогда, малый хлопчик, не понимал, что кругом меня творится! Свернулся на сене, послушал, как буря в лесу песню заводит, и стал засыпать.

Эге! Вдруг слышу, кто-то около сторожки ходит... подошел к дереву, панского коня отвязал. Захрапел конь, ударил копытом; как пустится в лес, скоро и топот затих... Потом слышу, опять кто-то по дороге скачет, уже к сторожке. Подскакал вплоть, соскочил с седла на землю и прямо к окну.

— Пане, пане! — кричит голосом старого Богдана.— Ой, пане, отвори скорей! Вражий казак лихо задумал, видно: твоего коня в лес отпустил.

Не успел старик договорить, кто-то его сзади схватил. Испугался я, слышу — что-то упало...

Отворил пан двери, с рушницей выскочил, а уж в сенях Роман его захватил, да прямо за чуб, да об землю...

Вот видит пан, что ему лихо, и говорит:

— Ой, отпусти, Ромáсю! Так-то ты мое добро помнишь?

А Роман ему отвечает:

— Помню я, вражий пане, твое добро и до меня, и до моей жинки. Вот же я тебе теперь за добро заплачу...

А пан говорит опять:

— Заступись, Опанас, мой верный слуга! Я ж тебя любил, как родного сына.

А Опанас ему отвечает:

— Ты своего верного слугу прогнал, как собаку. Любил меня так, как палка любит спину, а теперь так любишь, как спина палку... Я ж тебя просил и молил,— ты не послушался...

Вот стал пан тут и Оксану просить:

— Заступись ты, Оксана, у тебя сердце доброе.

Выбежала Оксана, всплеснула руками:

— Я ж тебя, пане, просила, в ногах валялась: пожалей мою девичью красу, не позорь меня, мужнюю жену. Ты же не пожалел, а теперь сам просишь... Ох, лишенько мне, что же я сделаю?

— Пустите,— кричит опять пан,— за меня вы все погибнете в Сибири...

— Не печалься за нас, пане,— говорит Опанас.— Роман будет на болоте раньше твоих доезжачих, а я, по твоей милости, один на свете, мне о своей голове думать недолго. Вскину рушницу за плечи и пойду себе в лес... Наберу проворных хлопцев и будем гулять... Из лесу станем выходить ночью на дорогу, а когда в село забредем, то прямо в панские хоромы. Эй, подымай, Ромáсю, пана, вынесем его милость на дождик.

Забился тут пан, закричал, а Роман только ворчит про себя, как медведь, а казак насмехается. Вот и вышли.

А я испугался, кинулся в хату и прямо к Оксане. Сидит моя Оксана на лавке — белая, как стена...

А по лесу уже загудела настоящая буря: кричит бор разными голосами, да ветер воет, а когда и гром полыхнет. Сидим мы с Оксаной на лежанке, и вдруг слышу я, кто-то в лесу застонал. Ох, да так жалобно, что я до сих пор, как вспомню, то на сердце тяжело станет, а ведь уже тому много лет...

— Оксано,— говорю,— голýбонько, а кто ж это там в лесу стонет?

А она схватила меня на руки и качает.

— Спи,— говорит,— хлопчику, ничего! Это так... лес шумит...

А лес и вправду шумел, ох, и шумел же!

Просидели мы еще сколько-то времени, слышу я: ударило по лесу будто из рушницы.

— Оксано,— говорю,— голубонько, а кто ж это из рушницы стреляет?

А она, небóга, все меня качает и все говорит:

— Молчи, молчи, хлопчику, то гром божий ударил в лесу.

А сама все плачет и меня крепко к груди прижимает,

баюкает: «Лес шумит, лес шумит, хлопчику, лес шумит...»

Вот я лежал у нее на руках и заснул...

А наутро, хлопче, прокинулся, гляжу: солнце светит, Оксана одна в хате одетая спит. Вспомнил я вчерашнее и думаю: это мне такое приснилось.

А оно не приснилось, ой, не приснилось, а было направду. Выбежал я из хаты, побежал в лес, а в лесу пташки щебечут, и роса на листьях блестит. Вот добежал до кустов, а там и пан, и доезжачий лежат себе рядом. Пан спокойный и бледный, а доезжачий седой, как голубь, и строгий, как раз будто живой. А на груди и у пана, и у доезжачего кровь.

— Ну, а что же случилось с другими? — спросил я, видя, что дед опустил голову и замолк.

— Эге! Вот же все так и сделалось, как сказал казак Опанас. И сам он долго в лесу жил, ходил с хлопцами по большим дорогам да по панским усадьбам. Такая казаку судьба на роду была написана: отцы гайдамачили, и ему то же на долю выпало. Не раз он, хлопче, приходил к нам в эту самую хату, а чаще всего, когда Романа не бывало дома. Придет, бывало, посидит и песню споет, и на бандуре сыграет. А когда и с другими товарищами заходил,— всегда его Оксана и Роман принимали. Эх, правду тебе, хлопче, сказать, таки и не без греха тут было дело. Вот придут скоро из лесу Максим и Захар, посмотри ты на них обоих: я ничего им не говорю, а только кто знал Романа и Опанаса, тому сразу видно, который на которого похож, хотя они уже тем людям не сыны, а внуки... Вот же какие дела, хлопче, бывали на моей памяти в этом лесу..

А шумит же лес крепко,— будет буря!..

III

Последние слова рассказа старик говорил как-то устало. Очевидно, его возбуждение прошло и теперь сказывалось утомлением: язык его заплетался, голова тряслась, глаза слезились.

Вечер спустился уже на землю, в лесу потемнело, бор волновался вокруг сторожки, как расходившееся море;

темные вершины колыхались, как гребни волн в грозную непогоду.

Веселый лай собак возвестил приход хозяев. Оба лесника торопливо подошли к избушке, а вслед за ними запыхавшаяся Мотря пригнала затерявшуюся было корову. Наше общество было в сборе.

Через несколько минут мы сидели в хате; в печи весело трещал огонь; Мотря собрала «вечѐрять».

Хотя я не раз видел прежде Захара и Максима, но теперь я взглянул на них с особенным интересом. Лицо Захара было темно, брови срослись над крутым низким лбом, глаза глядели угрюмо, хотя в лице можно было различить природное добродушие, присущее силе. Максим глядел открыто, как будто ласкающими серыми глазами; по временам он встряхивал своими курчавыми волосами, его смех звучал как-то особенно заразительно.

— А чи не рассказывал вам старик,— спросил Максим,— старую бывальщину про нашего деда?

— Да, рассказывал,— отвечал я.

— Ну, он всегда вот так! Лес зашумит покрепче, ему старое и вспоминается. Теперь всю ночь никак не заснет.

— Совсем мала диты́на,— добавила Мотря, наливая старику щей.

Старик как будто не понимал, что речь идет именно о нем. Он совсем опустился, по временам бессмысленно улыбался, кивая головой; только когда снаружи налетал на избушку порыв бушевавшего по лесу ветра, он начинал тревожиться и наставлял ухо, прислушиваясь к чему-то с испуганным видом.

Вскоре в лесной избушке все смолкло. Тускло светил угасающий *каганѐц* [1], да сверчок звонил свою однообразно-крикливую песню... А в лесу, казалось, шел говор тысячи могучих, хотя и глухих голосов, о чем-то грозно перекликавшихся во мраке. Казалось, какая-то грозная сила ведет там, в темноте, шумное совещание, собираясь со всех сторон ударить на жалкую, затерянную в лесу хибарку. По временам смутный рокот усиливался, рос, приливал, и тогда дверь вздрагивала, точно кто-то, сердито шипя, напирает на нее снаружи, а в трубе ночная

---

[1] Каганец — черепок, в который наливают сало и кладут светильню.

вьюга с жалобною угрозой выводила за сердце хватающую ноту. Потом на время порывы бури смолкали, роковая тишина томила робеющее сердце, пока опять подымался гул, как будто старые сосны сговаривались сняться вдруг с своих мест и улететь в неведомое пространство вместе с размахами ночного урагана.

Я забылся на несколько минут смутною дремотой, но, кажется, ненадолго. Буря выла в лесу на разные голоса и тоны. Каганѐц вспыхивал по временам, освещая избушку. Старик сидел на своей лавке и шарил вокруг себя рукой, как будто надеясь найти кого-то поблизости. Выражение испуга и почти детской беспомощности виднелось на лице бедного деда.

— Оксано, голу́бонько,— расслышал я его жалобный ропот,— а кто же это там в лесу стонет?

Он тревожно пошарил рукой и прислушался.

— Эге! — говорил он опять,— никто не стонет. То буря в лесу шумит... Больше ничего, лес шумит, шумит...

Прошло еще несколько минут. В маленькие окна то и дело заглядывали синеватые огни молнии, высокие деревья вспыхивали за окном призрачными очертаниями и опять исчезали во тьме среди сердитого ворчания бури. Но вот резкий свет на мгновение затмил бледные вспышки каганца́, и по лесу раскатился отрывистый недалекий удар.

Старик опять тревожно заметался на лавке.

— Оксано, голубонько, а кто ж это в лесу стреляет?

— Спи, старик, спи,— послышался с печки спокойный голос Мотри.— Вот всегда так: в бурю по ночам все Оксану зовет. И забыл, что Оксана уж давно на том свете. Ох-хо!

Мотря зевнула, прошептала молитву, и вскоре опять в избушке настала тишина, прерываемая лишь шумом леса да тревожным бормотанием деда:

— Лес шумит, лес шумит... Оксано, голубонько

Вскоре ударил тяжелый ливень, покрывая шумом дождевых потоков и порывания ветра, и стоны соснового бора...

1885

Слепой музыкант

Этюд

ОТ АВТОРА

К шестому изданию [1]

Чувствую, что пересмотр и дополнения в повести, выдержавшей уже несколько изданий, являются неожиданными и требуют некоторого объяснения. Основной психологический мотив этюда составляет инстинктивное, органическое влечение к свету. Отсюда душевный кризис моего героя и его разрешение. И в устных, и в печатных критических замечаниях мне приходилось встречать возражение, по-видимому, очень основательное: по мнению возражающих, этот мотив отсутствует у слепорожденных, которые никогда не видели света и потому не должны чувствовать лишения в том, чего совсем не знают. Это соображение мне не кажется правильным: мы никогда не летали, как птицы, однако все знают, как долго ощущение полета сопровождает детские и юношеские сны. Должен, однако, признаться, что этот мотив вошел в мою работу, как априорный, подсказанный лишь воображением. Только уже несколько лет спустя после того, как мой этюд стал выходить в отдельных изданиях, счастливый случай доставил мне во время одной из моих

[1] В этом издании были сделаны значительные дополнения.

экскурсий возможность прямого наблюдения. Фигуры двух звонарей (слепой и слепорожденный), которые читатель найдет в гл. VI, разница их настроений, сцена с детьми, слова Егора о снах — все это я занес в свою записную книжку прямо с натуры, на вышке колокольни Саровского монастыря Тамбовской епархии, где оба слепые звонаря, быть может, и теперь еще водят посетителей на колокольню. С тех пор этот эпизод,— по моему мнению, решающий в указанном вопросе,— лежал на моей совести при каждом новом издании моего этюда, и только трудность браться снова за старую тему мешала мне ввести его раньше. Теперь он составил самую существенную часть добавлений, вошедших в это издание. Остальное явилось попутно, так как,— раз тронув прежнюю тему,— я уже не мог ограничиться механической вставкой, и работа воображения, попавшего в прежнюю колею, естественно отразилась и на прилегающих частях повести.

25 февраля 1898

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Ребенок родился в богатой семье Юго-западного края, в глухую полночь. Молодая мать лежала в глубоком забытьи, но, когда в комнате раздался первый крик новорожденного, тихий и жалобный, она заметалась с закрытыми глазами в своей постели. Ее губы шептали что-то, и на бледном лице, с мягкими, почти детскими еще чертами, появилась гримаса нетерпеливого страдания, как у балованного ребенка, испытывающего непривычное горе.

Бабка наклонилась ухом к ее что-то тихо шептавшим губам.

— Отчего... отчего это он? — спрашивала больная едва слышно.

Бабка не поняла вопроса. Ребенок опять закричал. По лицу больной пробежало отражение острого страдания, и из закрытых глаз скользнула крупная слеза.

— Отчего, отчего? — по-прежнему тихо шептали ее губы.

На этот раз бабка поняла вопрос и спокойно ответила:

— Вы спрашиваете, отчего ребенок плачет? Это всегда так бывает, успокойтесь.

Но мать не могла успокоиться. Она вздрагивала каждый раз при новом крике ребенка и все повторяла с гневным нетерпением:

— Отчего... так... так ужасно?

Бабка не слыхала в крике ребенка ничего особенного и, видя, что мать говорит точно в смутном забытьи и, вероятно, просто бредит, оставила ее и занялась ребенком.

Юная мать смолкла, и только по временам какое-то тяжелое страдание, которое не могло прорваться наружу движением или словами, выдавливало из ее глаз крупные слезы. Они просачивались сквозь густые ресницы и тихо катились по бледным, как мрамор, щекам.

Быть может, сердце матери почуяло, что вместе с новорожденным ребенком явилось на свет темное, неисходное горе, которое нависло над колыбелью, чтобы сопровождать новую жизнь до самой могилы.

Может быть, впрочем, что это был и действительный бред. Как бы то ни было, ребенок родился слепым.

II

Сначала никто этого не заметил. Мальчик глядел тем тусклым и неопределенным взглядом, каким глядят до известного возраста все новорожденные дети. Дни уходили за днями, жизнь нового человека считалась уже неделями. Его глаза прояснились, с них сошла мутная поволока, зрачок определился. Но дитя не поворачивало головы за светлым лучом, проникавшим в комнату вместе с веселым щебетаньем птиц и с шелестом зеленых буков, которые покачивались у самых окон в густом деревенском саду. Мать, успевшая оправиться, первая с беспокойством заметила странное выражение детского лица, остававшегося неподвижным и как-то не по-детски серьезным.

Молодая женщина смотрела на людей, как испуганная горлица, и спрашивала:

— Скажите же мне, отчего он такой?

— Какой? — равнодушно переспрашивали посторонние.— Он ничем не отличается от других детей такого возраста.

— Посмотрите, как странно ищет он что-то руками...

— Дитя не может еще координировать движений рук с зрительными впечатлениями,— ответил доктор.

— Отчего же он смотрит все в одном направлении?.. Он... он слеп? — вырвалась вдруг из груди матери страшная догадка, и никто не мог ее успокоить.

Доктор взял ребенка на руки, быстро повернул к свету и заглянул в глаза. Он слегка смутился и, сказав несколько незначащих фраз, уехал, обещая вернуться дня через два.

Мать плакала и билась, как подстреленная птица, прижимая ребенка к своей груди, между тем как глаза мальчика глядели все тем же неподвижным и суровым взглядом.

Доктор действительно вернулся дня через два, захватив с собой офтальмоскоп. Он зажег свечку, приближал и удалял ее от детского глаза, заглядывал в него и, наконец, сказал с смущенным видом:

— К сожалению, сударыня, вы не ошиблись... Мальчик действительно слеп, и притом безнадежно...

Мать выслушала это известие с спокойной грустью.

— Я знала давно,— сказала она тихо.

III

Семейство, в котором родился слепой мальчик, было немногочисленно. Кроме названных уже лиц, оно состояло еще из отца и «дяди Максима», как звали его все без исключения домочадцы и даже посторонние. Отец был похож на тысячу других деревенских помещиков Юго-западного края: он был добродушен, даже, пожалуй, добр, хорошо смотрел за рабочими и очень любил строить и перестраивать мельницы. Это занятие поглощало почти все его время, и потому голос его раздавался в доме только в известные, определенные часы дня, совпадавшие с обедом, завтраком и другими событиями в том же роде. В этих случаях он всегда произносил неизменную фразу: «Здорова ли ты, моя голубка?» — после чего усаживался за стол и уже почти ничего не говорил, разве

изредка сообщал что-либо о дубовых валах и шестернях. Понятно, что его мирное и незатейливое существование мало отражалось на душевном складе его сына.

Зато дядя Максим был совсем в другом роде. Лет за десять до описываемых событий дядя Максим был известен за самого опасного забияку не только в окрестностях его имения, но даже в Киеве «на Контрактах» [1]. Все удивлялись, как это в таком почтенном во всех отношениях семействе, каково было семейство пани Попельской, урожденной Яценко, мог выдаться такой ужасный братец. Никто не знал, как следует с ним держаться и чем ему угодить. На любезности панов он отвечал дерзостями, а мужикам спускал своеволие и грубости, на которые самый смирный из «шляхтичей» непременно бы отвечал оплеухами. Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим за что-то сильно осердился на австрийцев и уехал в Италию: там он примкнул к такому же забияке и еретику — Гарибальди, который, как с ужасом передавали паны-помещики, побратался с чертом и в грош не ставит самого папу. Конечно, таким образом Максим навеки погубил свою беспокойную схизматическую душу, зато «Контракты» проходили с меньшими скандалами, и многие благородные мамаши перестали беспокоиться за участь своих сыновей.

Должно быть, австрийцы тоже крепко осердились на дядю Максима. По временам в «Курьерке», исстари любимой газете панов-помещиков, упоминалось в реляциях его имя в числе отчаянных гарибальдийских сподвижников, пока однажды из того же «Курьерка» паны не узнали, что Максим упал вместе с лошадью на поле сражения. Разъяренные австрийцы, давно уже, очевидно, точившие зубы на заядлого волынца (которым, чуть ли не одним, по мнению его соотечественников, держался еще Гарибальди), изрубили его, как капусту.

— Плохо кончил Максим,— сказали себе паны и приписали это специальному заступничеству св. Петра за своего наместника. Максима считали умершим.

Оказалось, однако, что австрийские сабли не сумели выгнать из Максима его упрямую душу и она осталась,

---

«Контракты» — местное название некогда славной киев- ярмарки.

хотя и в сильно попорченном теле. Гарибальдийские забияки вынесли своего достойного товарища из свалки, отдали его куда-то в госпиталь, и вот, через несколько лет, Максим неожиданно явился в дом своей сестры, где и остался.

Теперь ему было уже не до дуэлей. Правую ногу ему совсем отрезали, и потому он ходил на костыле, а левая рука была повреждена и годилась только на то, чтобы кое-как опираться на палку. Да и вообще он стал серьезнее, угомонился, и только по временам его острый язык действовал так же метко, как некогда сабля. Он перестал ездить на «Контракты», редко являлся в общество и большую часть времени проводил в своей библиотеке за чтением каких-то книг, о которых никто ничего не знал, за исключением предположения, что книги совершенно безбожные. Он также писал что-то, но так как его работы никогда не являлись в «Курьерке», то никто не придавал им серьезного значения.

В то время, когда в деревенском домике появилось и стало расти новое существо, в коротко остриженных волосах дяди Максима уже пробивалась серебристая проседь. Плечи от постоянного упора костылей поднялись, туловище приняло квадратную форму. Странная наружность, угрюмо сдвинутые брови, стук костылей и клубы табачного дыма, которыми он постоянно окружал себя, не выпуская изо рта трубки,— все это пугало посторонних, и только близкие к инвалиду люди знали, что в изрубленном теле бьется горячее и доброе сердце, а в большой квадратной голове, покрытой щетиной густых волос, работает неугомонная мысль.

Но даже и близкие люди не знали, над каким вопросом работала эта мысль в то время. Они видели только, что дядя Максим, окруженный синим дымом, просиживает по временам целые часы неподвижно, с отуманенным взглядом и угрюмо сдвинутыми густыми бровями. Между тем, изувеченный боец думал о том, что жизнь — борьба и что в ней нет места для инвалидов. Ему приходило в голову, что он навсегда выбыл уже из рядов и теперь напрасно загружает собою фурштат; ему казалось, что он рыцарь, выбитый из седла жизнью и поверженный в прах. Не малодушно ли извиваться в пыли, подобно раздавленному червяку; не малодушно ли хватать-

ся за стремя победителя, вымаливая у него жалкие остатки собственного существования?

Пока дядя Максим с холодным мужеством обсуждал эту жгучую мысль, соображая и сопоставляя доводы *за* и *против*, перед его глазами стало мелькать новое существо, которому судьба судила явиться на свет уже инвалидом. Сначала он не обращал внимания на слепого ребенка, но потом странное сходство судьбы мальчика с его собственною заинтересовало дядю Максима.

— Гм... да,— задумчиво сказал он однажды, искоса поглядывая на мальчишку,— этот малый тоже инвалид. Если сложить нас обоих вместе, пожалуй, вышел бы один лядащий человечишко.

С тех пор его взгляд стал останавливаться на ребенке все чаще и чаще.

IV

Ребенок родился слепым. Кто виноват в его несчастии? Никто! Тут не только не было и тени чьей-либо «злой воли», но даже самая причина несчастия скрыта где-то в глубине таинственных и сложных процессов жизни. А между тем, при всяком взгляде на слепого мальчика сердце матери сжималось от острой боли. Конечно, она страдала в этом случае, как мать, отражением сыновнего недуга и мрачным предчувствием тяжелого будущего, которое ожидало ее ребенка; но, кроме этих чувств, в глубине сердца молодой женщины щемило также сознание, что *причина* несчастия лежала в виде грозной *возможности* в тех, кто дал ему жизнь... Этого было достаточно, чтобы маленькое существо с прекрасными, но незрячими глазами стало центром семьи, бессознательным деспотом, с малейшей прихотью которого сообразовалось все в доме.

Неизвестно, что вышло бы со временем из мальчика, предрасположенного к беспредметной озлобленности своим несчастием и в котором все окружающее стремилось развить эгоизм, если бы странная судьба и австрийские сабли не заставили дядю Максима поселиться в деревне, в семье сестры.

Присутствие в доме слепого мальчика постепенно и нечувствительно дало деятельной мысли изувеченного

бойца другое направление. Он все так же просиживал целые часы, дымя трубкой, но в глазах, вместо глубокой и тупой боли, виднелось теперь вдумчивое выражение заинтересованного наблюдателя. И чем более присматривался дядя Максим, тем чаще хмурились его густые брови, и он все усиленнее пыхтел своею трубкой. Наконец, однажды он решился на вмешательство.

— Этот малый,— сказал он, пуская кольцо за кольцом,— будет еще гораздо несчастнее меня. Лучше бы ему не родиться.

Молодая женщина низко опустила голову, и слеза упала на ее работу.

— Жестоко напоминать мне об этом, Макс,— сказала она тихо,— напоминать без цели...

— Я говорю только правду,— ответил Максим.— У меня нет ноги и руки, но есть глаза. У малого нет глаз, со временем не будет ни рук, ни ног, ни воли...

— Отчего же?

— Пойми меня, Анна,— сказал Максим мягче.— Я не стал бы напрасно говорить тебе жестокие вещи. У мальчика тонкая нервная организация. У него пока есть все шансы развить остальные свои способности до такой степени, чтобы хотя отчасти вознаградить его слепоту. Но для этого нужно упражнение, а упражнение вызывается только необходимостью. Глупая заботливость, устраняющая от него необходимость усилий, убивает в нем все шансы на более полную жизнь.

Мать была умна и потому сумела победить в себе непосредственное побуждение, заставлявшее ее кидаться сломя голову при каждом жалобном крике ребенка. Спустя несколько месяцев после этого разговора, мальчик свободно и быстро ползал по комнатам, настораживая слух навстречу всякому звуку и, с какою-то необычною в других детях живостью, ощупывал всякий предмет, попадавший в руки.

V

Мать он скоро научился узнавать по походке, по шелесту платья, по каким-то еще, ему одному доступным, неуловимым для других признакам: сколько бы ни было в комнате людей, как бы они ни передвигались, он все-

гда направлялся безошибочно в ту сторону, где она сидела. Когда она неожиданно брала его на руки, он все же сразу узнавал, что сидит у матери. Когда же его брали другие, он быстро начинал ощупывать своими ручонками лицо взявшего его человека и тоже скоро узнавал няньку, дядю Максима, отца. Но если он попадал к человеку незнакомому, тогда движения маленьких рук становились медленнее: мальчик осторожно и внимательно проводил ими по незнакомому лицу, и его черты выражали напряженное внимание; он как будто «вглядывался» кончиками своих пальцев.

По натуре он был очень живым и подвижным ребенком, но месяцы шли за месяцами, и слепота все более налагала свой отпечаток на темперамент мальчика, начинавший определяться. Живость движений понемногу терялась; он стал забиваться в укромные уголки и сидел там по целым часам смирно, с застывшими чертами лица, как будто к чему-то прислушиваясь. Когда в комнате бывало тихо и смена разнообразных звуков не развлекала его внимания, ребенок, казалось, думал о чем-то с недоумелым и удивленным выражением на красивом и не по-детски серьезном лице.

Дядя Максим угадал: тонкая и богатая нервная организация мальчика брала свое и восприимчивостью к ощущениям осязания и слуха как бы стремилась восстановить до известной степени полноту своих восприятий. Всех удивляла поразительная тонкость его осязания. По временам казалось даже, что он не чужд ощущения цветов; когда ему в руки попадали ярко окрашенные лоскутья, он дольше останавливал на них свои тонкие пальцы, и по лицу его проходило выражение удивительного внимания. Однако со временем стало выясняться все более и более, что развитие восприимчивости идет главным образом в сторону слуха.

Вскоре он изучил в совершенстве комнаты по их звукам, различал походку домашних, скрип стула под инвалидом-дядей, сухое, размеренное шоркание нитки в руках матери, ровное тикание стенных часов. Иногда, ползая вдоль стены, он чутко прислушивался к легкому, неслышному для других шороху и, подняв руку, тянулся ею за бегавшею по обоям мухой. Когда испуганное насекомое снималось с места и улетало, на лице слепого явля-

лось выражение болезненного недоумения. Он не мог отдать себе отчета в таинственном исчезновении мухи. Но впоследствии и в таких случаях лицо его сохраняло выражение осмысленного внимания; он поворачивал голову в ту сторону, куда улетала муха,— изощренный слух улавливал в воздухе тонкий звон ее крыльев.

Мир, сверкавший, двигавшийся и звучавший вокруг, в маленькую головку слепого проникал главным образом в форме звуков, и в эти формы отливались его представления. На лице застывало особенное внимание к звукам: нижняя челюсть слегка оттягивалась вперед на тонкой и удлинившейся шее. Брови приобретали особенную подвижность, а красивые, но неподвижные глаза придавали лицу слепого какой-то суровый и вместе трогательный отпечаток.

VI

Третья зима его жизни приходила к концу. На дворе уже таял снег, звенели весенние потоки, и, вместе с тем, здоровье мальчика, который зимой все прихварывал и потому всю ее провел в комнатах, не выходя на воздух, стало поправляться.

Вынули вторые рамы, и весна ворвалась в комнату с удвоенной силой. В залитые светом окна глядело смеющееся весеннее солнце, качались голые еще ветки буков, вдали чернели нивы, по которым местами лежали белые пятна тающих снегов, местами же пробивалась чуть заметною зеленью молодая трава. Всем дышалось вольнее и лучше, на всех весна отражалась приливом обновленной и бодрой жизненной силы.

Для слепого мальчика она врывалась в комнату только своим торопливым шумом. Он слышал, как бегут потоки весенней воды, точно вдогонку друг за другом, прыгая по камням, прорезаясь в глубину размякшей земли; ветки буков шептались за окнами, сталкиваясь и звеня легкими ударами по стеклам. А торопливая весенняя капель от нависших на крыше сосулек, прихваченных утренним морозом и теперь разогретых солнцем, стучала тысячью звонких ударов. Эти звуки падали в комнату, подобно ярким и звонким камешкам, быстро отбивавшим переливчатую дробь. По временам сквозь этот звон и

шум окрики журавлей плавно проносились с далекой высоты и постепенно смолкали, точно тихо тая в воздухе.

На лице мальчика это оживление природы сказывалось болезненным недоумением. Он с усилием сдвигал свои брови, вытягивал шею, прислушивался и затем, как будто встревоженный непонятною суетой звуков, вдруг протягивал руки, разыскивая мать, и кидался к ней, крепко прижимаясь к ее груди.

— Что это с ним? — спрашивала мать себя и других.

Дядя Максим внимательно вглядывался в лицо мальчика и не мог объяснить его непонятной тревоги.

— Он... не может понять,— догадывалась мать, улавливая на лице сына выражение болезненного недоумения и вопроса.

Действительно, ребенок был встревожен и беспокоен: он то улавливал новые звуки, то удивлялся тому, что прежние, к которым он уже начал привыкать, вдруг смолкали и куда-то терялись.

VII

Хаос весенней неурядицы смолк. Под жаркими лучами солнца работа природы входила все больше и больше в свою колею, жизнь как будто напрягалась, ее поступательный ход становился стремительнее, точно бег разошедшегося поезда. В лугах зазеленела молодая травка, в воздухе носился запах березовых почек.

Мальчика решили вывести в поле, на берег ближней реки.

Мать вела его за руку. Рядом на своих костылях шел дядя Максим, и все они направлялись к береговому холмику, который достаточно уже высушили солнце и ветер. Он зеленел густой муравой, и с него открывался вид на далекое пространство.

Яркий день ударил по глазам матери и Максима. Солнечные лучи согревали их лица, весенний ветер, как будто взмахивая невидимыми крыльями, сгонял эту теплоту, заменяя ее свежею прохладой. В воздухе носилось что-то опьяняющее до неги, до истомы.

Мать почувствовала, что в ее руке крепко сжалась маленькая ручка ребенка, но опьяняющее веяние весны

сделало ее менее чувствительной к этому проявлению детской тревоги. Она вздыхала полною грудью и шла вперед, не оборачиваясь; если бы она сделала это, то увидела бы странное выражение на лице мальчика. Он поворачивал открытые глаза к солнцу с немым удивлением. Губы его раскрылись; он вдыхал в себя воздух быстрыми глотками, точно рыба, которую вынули из воды; выражение болезненного восторга пробивалось по временам на беспомощно-растерянном личике, пробегало по нем какими-то нервными ударами, освещая его на мгновение, и тотчас же сменялось опять выражением удивления, доходящего до испуга и недоумелого вопроса. Только одни глаза глядели все тем же ровным и неподвижным незрячим взглядом.

Дойдя до холмика, они уселись на нем все трое. Когда мать приподняла мальчика с земли, чтобы посадить его поудобнее, он опять судорожно схватился за ее платье; казалось, он боялся, что упадет куда-то, как будто не чувствуя под собой земли. Но мать и на этот раз не заметила тревожного движения, потому что ее глаза и внимание были прикованы к чудной весенней картине.

Был полдень. Солнце тихо катилось по синему небу. С холма, на котором они сидели, виднелась широко разлившаяся река. Она пронесла уже свои льдины, и только по временам на ее поверхности плыли и таяли кое-где последние из них, выделяясь белыми пятнышками. На поемных лугах стояла вода широкими лиманами; белые облачка, отражаясь в них вместе с опрокинутым лазурным сводом, тихо плыли в глубине и исчезали, как будто и они таяли, подобно льдинам. Временами пробегала от ветра легкая рябь, сверкая на солнце. Дальше за рекой чернели разопревшие нивы и парили, застилая реющею, колеблющеюся дымкой дальние лачуги, крытые соломой, и смутно зарисовавшуюся синюю полоску леса. Земля как будто вздыхала, и что-то подымалось от нее к небу, как клубы жертвенного фимиама.

Природа раскинулась кругом, точно великий храм, приготовленный к празднику. Но для слепого это была только необъятная тьма, которая необычно волновалась вокруг, шевелилась, рокотала и звенела, протягиваясь к нему, прикасаясь к его душе со всех сторон не изведан-

ными еще, необычными впечатлениями, от наплыва которых болезненно билось детское сердце.

С первых же шагов, когда лучи теплого дня ударили ему в лицо, согрели нежную кожу, он инстинктивно поворачивал к солнцу свои незрячие глаза, как будто чувствуя, к какому центру тяготеет все окружающее. Для него не было ни этой прозрачной дали, ни лазурного свода, ни широко раздвинутого горизонта. Он чувствовал только, как что-то материальное, ласкающее и теплое касается его лица нежным, согревающим прикосновением. Потом кто-то прохладный и легкий, хотя и менее легкий, чем тепло солнечных лучей, снимает с его лица эту негу и пробегает по нем ощущением свежей прохлады. В комнатах мальчик привык двигаться свободно, чувствуя вокруг себя пустоту. Здесь же его охватили какие-то странно сменявшиеся волны, то нежно ласкающие, то щекочущие и опьяняющие. Теплые прикосновения солнца быстро обмахивались кем-то, и струя ветра, звеня в уши, охватывая лицо, виски, голову до самого затылка, тянулась вокруг, как будто стараясь подхватить мальчика, увлечь его куда-то в пространство, которого он не мог видеть, унося сознание, навевая забывчивую истому. Тогда-то рука мальчика крепче сжимала руку матери, а его сердце замирало и, казалось, вот-вот совсем перестанет биться.

Когда его усадили, он как будто несколько успокоился. Теперь, несмотря на странное ощущение, переполнившее все его существо, он все же стал было различать отдельные звуки. Темные ласковые волны неслись попрежнему неудержимо, и ему казалось, что они проникают внутрь его тела, так как удары его всколыхавшейся крови подымались и опускались вместе с ударами этих волн. Но теперь они приносили с собой то яркую трель жаворонка, то тихий шелест распустившейся березки, то чуть слышные всплески реки. Ласточка свистела легким крылом, описывая невдалеке причудливые круги, звенели мошки, и над всем этим проносился порой протяжный и печальный окрик пахаря на равнине, понукавшего волов над распахиваемой полоской.

Но мальчик не мог схватить этих звуков в их целом, не мог соединить их, расположить в перспективу. Они как будто падали, проникая в темную головку, один за другим, то тихие, неясные, то громкие, яркие, оглушаю-

щие. По временам они толпились одновременно, неприятно смешиваясь в непонятную дисгармонию. А ветер с поля все свистел в уши, и мальчику казалось, что волны бегут быстрее и их рокот застилает все остальные звуки, которые несутся теперь откуда-то с другого мира, точно воспоминание о вчерашнем дне. И по мере того как звуки тускнели, в грудь мальчика вливалось ощущение какой-то щекочущей истомы. Лицо подергивалось ритмически пробегавшими по нем переливами; глаза то закрывались, то открывались опять, брови тревожно двигались, и во всех чертах пробивался вопрос, тяжелое усилие мысли и воображения. Не окрепшее еще и переполненное новыми ощущениями сознание начинало изнемогать: оно еще боролось с нахлынувшими со всех сторон впечатлениями, стремясь устоять среди них, слить их в одно целое и таким образом овладеть ими, победить их. Но задача была не по силам темному мозгу ребенка, которому не доставало для этой работы зрительных представлений.

И звуки летели и падали один за другим, все еще слишком пестрые, слишком звонкие... Охватившие мальчика волны вздымались все напряженнее, налетая из окружающего звеневшего и рокотавшего мрака и уходя в тот же мрак, сменяясь новыми волнами, новыми звуками. . быстрее, выше, мучительнее подымали они его, укачивали, баюкали... Еще раз пролетела над этим тускнеющим хаосом длинная и печальная нота человеческого окрика, и затем все сразу смолкло.

Мальчик тихо застонал и откинулся назад на траву. Мать быстро повернулась к нему и тоже вскрикнула: он лежал на траве, бледный, в глубоком обмороке.

VIII

Дядя Максим был очень встревожен этим случаем. С некоторых пор он стал выписывать книги по физиологии, психологии и педагогике и с обычною своей энергией занялся изучением всего, что дает наука по отношению к таинственному росту и развитию детской души.

Эта работа завлекала его все больше и больше, и поэтому мрачные мысли о непригодности к житейской борьбе, о «червяке, пресмыкающемся в пыли», и о «фурштате» давно уже незаметно улетучились из квадратной

головы ветерана. На их месте воцарилось в этой голове вдумчивое внимание, по временам даже розовые мечты согревали стареющее сердце. Дядя Максим убеждался все более и более, что природа, отказавшая мальчику в зрении, не обидела его в других отношениях; это было существо, которое отзывалось на доступные ему внешние впечатления с замечательною полнотой и силой. И дяде Максиму казалось, что он призван к тому, чтобы развить присущие мальчику задатки, чтоб усилием своей мысли и своего влияния уравновесить несправедливость слепой судьбы, чтобы вместо себя поставить в ряды бойцов за дело жизни нового рекрута, на которого, без его влияния, никто не мог бы рассчитывать.

«Кто знает,— думал старый гарибальдиец,— ведь бороться можно не только копьем и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбою подымет со временем доступное ему оружие в защиту других, обездоленных жизнью, и тогда я недаром проживу на свете, изувеченный старый солдат...»

Даже свободным мыслителям сороковых и пятидесятых годов не было чуждо суеверное представление о «таинственных предначертаниях» природы. Не мудрено поэтому, что, по мере развития ребенка, выказывавшего недюжинные способности, дядя Максим утвердился окончательно в убеждении, что самая слепота есть лишь одно из проявлений этих «таинственных предначертаний». «Обездоленный за обиженных» — вот девиз, который он выставил заранее на боевом знамени своего питомца.

IX

После первой весенней прогулки мальчик пролежал несколько дней в бреду. Он то лежал неподвижно и безмолвно в своей постели, то бормотал что-то и к чему-то прислушивался. И во все это время с его лица не сходило характерное выражение недоумения.

— Право, он глядит так, как будто старается понять что-то и не может,— говорила молодая мать.

Максим задумывался и кивал головой. Он понял, что странная тревога мальчика и внезапный обморок объяснялись обилием впечатлений, с которыми не могло справиться сознание, и решился допускать к выздоравлива-

шему мальчику эти впечатления постепенно, так сказать, расчлененными на составные части. В комнате, где лежал больной, окна были плотно закрыты. Потом, по мере выздоровления, их открывали на время, затем его водили по комнатам, выводили на крыльцо, на двор, в сад. И каждый раз, как на лице слепого являлось тревожное выражение, мать объясняла ему поражавшие его звуки.

— Рожок пастуха слышен за лесом,— говорила она.— А это из-за щебетания воробьиной стаи слышен голос малиновки. Аист клекочет на своем колесе [1]. Он прилетел на днях из далеких краев и строит гнездо на старом месте.

И мальчик поворачивал к ней свое лицо, светившееся благодарностью, брал ее руку и кивал головой, продолжая прислушиваться с вдумчивым и осмысленным вниманием.

X

Он начинал расспрашивать обо всем, что привлекало его внимание, и мать или, еще чаще, дядя Максим рассказывали ему о разных предметах и существах, издававших те или другие звуки. Рассказы матери, более живые и яркие, производили на мальчика большее впечатление, но по временам впечатление это бывало слишком болезненно. Молодая женщина, страдая сама, с растроганным лицом, с глазами, глядевшими с беспомощною жалобой и болью, старалась дать своему ребенку понятие о формах и цветах. Мальчик напрягал внимание, сдвигал брови, на лбу его являлись даже легкие морщинки. Видимо, детская головка работала над непосильною задачей, темное воображение билось, стремясь создать из косвенных данных новое представление, но из этого ничего не выходило. Дядя Максим всегда недовольно хмурился в таких случаях, и, когда на глазах матери являлись слезы, а лицо ребенка бледнело от сосредоточенных усилий, тогда Максим вмешивался в разговор, отстранял сестру и начинал свои рассказы, в которых, по возможности, прибе-

---

[1] В Малороссии и Польше для аистов ставят высокие столбы и надевают на них старые колеса, на которых птица завивает гнездо.

гал только к пространственным и звуковым представлениям. Лицо слепого становилось спокойнее.

— Ну, а какой он? большой? — спрашивал он про аиста, отбивавшего на своем столбе ленивую барабанную дробь.

И при этом мальчик раздвигал руки. Он делал это обыкновенно при подобных вопросах, а дядя Максим указывал ему, когда следовало остановиться. Теперь он совсем раздвинул свои маленькие ручонки, но дядя Максим сказал:

— Нет, он еще гораздо больше. Если бы привести его в комнату и поставить на полу, то голова его была бы выше спинки стула.

— Большой...— задумчиво произнес мальчик.— А малиновка — вот! — и он чуть-чуть развел сложенные вместе ладони.

— Да, малиновка такая... Зато большие птицы никогда не поют так хорошо, как маленькие. Малиновка старается, чтобы всем было приятно ее слушать. А аист — серьезная птица, стоит себе на одной ноге в гнезде, озирается кругом, точно сердитый хозяин на работников, и громко ворчит, не заботясь о том, что голос у него хриплый и его могут слышать посторонние.

Мальчик смеялся, слушая эти описания, и забывал на время о своих тяжелых попытках понять рассказы матери. Но все же эти рассказы привлекали его сильнее, и он предпочитал обращаться с расспросами к ней, а не к дяде Максиму.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Темная голова ребенка обогащалась новыми представлениями; посредством сильно изощренного слуха он проникал все дальше в окружавшую его природу. Над ним и вокруг него по-прежнему стоял глубокий, непроницаемый мрак; мрак этот навис над его мозгом тяжелою тучей и, хотя он залег над ним со дня рождения, хотя, по-видимому, мальчик должен был свыкнуться с своим несчастием, однако детская природа по какому-то ин-

стинкту беспрестанно силилась освободиться от темной завесы. Эти, не оставлявшие ребенка ни на минуту, бессознательные порывы к незнакомому ему свету отпечатлевались на его лице все глубже и глубже выражением смутного страдающего усилия.

Тем не менее бывали и для него минуты ясного довольства, ярких детских восторгов, и это случалось тогда, когда доступные для него внешние впечатления доставляли ему новое сильное ощущение, знакомили с новыми явлениями невидимого мира. Великая могучая природа не оставалась для слепого совершенно закрытою. Так однажды, когда его свели на высокий утес над рекой, он с особенным выражением прислушивался к тихим всплескам реки далеко под ногами и с замиранием сердца хватался за платье матери, слушая, как катились вниз обрывавшиеся из-под ноги его камни. С тех пор он представлял себе глубину в виде тихого ропота воды у подножья утеса или в виде испуганного шороха падавших вниз камешков.

Даль звучала в его ушах смутно замиравшею песней; когда же по небу гулко перекатывался весенний гром, заполняя собою пространство и с сердитым рокотом теряясь за тучами, слепой мальчик прислушивался к этому рокоту с благоговейным испугом, и сердце его расширялось, а в голове возникало величавое представление о просторе поднебесных высот.

Таким образом, звуки были для него главным непосредственным выражением внешнего мира; остальные впечатления служили только дополнением к впечатлениям слуха, в которые отливались его представления, как в формы.

По временам, в жаркий полдень, когда вокруг все смолкало, когда затихало людское движение и в природе устанавливалась та особенная тишина, под которой чуется только непрерывный, бесшумный бег жизненной силы, на лице слепого мальчика являлось характерное выражение. Казалось, под влиянием внешней тишины из глубины его души подымались какие-то ему одному доступные звуки, к которым он будто прислушивался с напряженным вниманием. Можно было подумать, глядя на него в такие минуты, что зарождающаяся неясная мысль начинает звучать в его сердце, как смутная мелодия песни.

II

Ему шел уже пятый год. Он был тонок и слаб, но ходил и даже бегал свободно по всему дому. Кто смотрел на него, как он уверенно выступал в комнатах, поворачивая именно там, где надо, и свободно разыскивая нужные ему предметы, тот мог бы подумать, если это был незнакомый человек, что перед ним не слепой, а только странно сосредоточенный ребенок с задумчивыми и глядевшими в неопределенную даль глазами Но уже по двору он ходил с бо́льшим трудом, постукивая перед собой палкой. Если же в руках у него не было палки, то он предпочитал ползать по земле, быстро исследуя руками попадавшиеся на пути предметы.

III

Был тихий летний вечер. Дядя Максим сидел в саду. Отец, по обыкновению, захлопотался где-то в дальнем поле. На дворе и кругом было тихо; селение засыпало, в людской тоже смолк говор работников и прислуги. Мальчика уже с полчаса уложили в постель.

Он лежал в полудремоте. С некоторых пор у него с этим тихим часом стало связываться странное воспоминание. Он, конечно, не видел, как темнело синее небо, как черные верхушки деревьев качались, рисуясь на звездной лазури, как хмурились лохматые «стрехи» стоявших кругом двора строений, как синяя мгла разливалась по земле вместе с тонким золотом лунного и звездного света. Но вот уже несколько дней он засыпал под каким-то особенным, чарующим впечатлением, в котором на другой день не мог дать себе отчета.

Когда дремота все гуще застилала его сознание, когда смутный шелест буков совсем стихал и он переставал уже различать и дальний лай деревенских собак, и щелканье соловья за рекой, и меланхолическое позвякивание бубенчиков, подвязанных к пасшемуся на лугу жеребенку,— когда все отдельные звуки стушевывались и терялись, ему начинало казаться, что все они, слившись в одну стройную гармонию, тихо влетают в окно, и долго кружатся над его постелью, навевая неопределенные, но удивительно приятные грезы. Наутро он просыпался разнеженный и обращался к матери с живым вопросом:

— Что это было... вчера? Что это такое?..

Мать не знала, в чем дело, и думала, что ребенка волнуют сны. Она сама укладывала его в постель, заботливо крестила и уходила, когда он начинал дремать, не замечая при этом ничего особенного. Но на другой день мальчик опять говорил ей о чем-то, приятно тревожившем его с вечера.

— Так хорошо, мама, так хорошо! Что же это такое?

В этот вечер она решилась остаться у постели ребенка подольше, чтобы разъяснить себе странную загадку. Она сидела на стуле, рядом с его кроваткой, машинально перебирая петли вязанья и прислушиваясь к ровному дыханию своего Петруся. Казалось, он совсем уже заснул, как вдруг в темноте послышался его тихий голос:

— Мама, ты здесь?

— Да, да, мой мальчик...

— Уйди, пожалуйста, *оно* боится тебя и до сих пор *его* нет. Я уже совсем было заснул, а этого все нет...

Удивленная мать с каким-то странным чувством слушала этот полусонный, жалобный шепот... Ребенок говорил о своих сонных грезах с такою уверенностью, как будто это что-то реальное. Тем не менее, мать встала, наклонилась к мальчику, чтобы поцеловать его, и тихо вышла, решившись незаметно подойти к открытому окну со стороны сада.

Не успела она сделать своего обхода, как загадка разъяснилась. Она услышала вдруг тихие, переливчатые тоны свирели, которые неслись из конюшни, смешиваясь с шорохом южного вечера. Она сразу поняла, что именно эти нехитрые переливы простой мелодии, совпадавшие с фантастическим часом дремоты, так приятно настраивали воспоминания мальчика.

Она сама остановилась, постояла с минуту, прислушиваясь к задушевным напевам малорусской песни, и, совершенно успокоенная, ушла в темную аллею сада к дяде Максиму.

«Хорошо играет Иохим,— подумала она.— Странно, сколько тонкого чувства в этом грубоватом на вид «хлопе».

IV

А Иохим действительно играл хорошо. Ему нипочем была даже и хитрая скрипка, и было время, когда в корчме, по воскресеньям, никто лучше не мог сыграть «казака» или веселого польского «краковяка». Когда, бывало, он, усевшись на лавке в углу, крепко притиснув скрипку бритым подбородком и ухарски заломив высокую смушковую шапку на затылок, ударял кривым смычком по упругим струнам, тогда редко кто в корчме мог усидеть на месте. Даже старый одноглазый еврей, аккомпанировавший Иохиму на контрабасе, одушевлялся до последней степени Его неуклюжий «струмент», казалось, надрывается от усилий, чтобы поспеть своими тяжелыми басовыми нотами за легкими, певучими и прыгающими тонами Иохимовой скрипки, а сам старый Янкель, высоко подергивая плечами, вертел лысой головой в ермолке и весь подпрыгивал в такт шаловливой и бойкой мелодии. Что же говорить о крещеном народе, у которого ноги устроены исстари таким образом, что при первых звуках веселого плясового напева сами начинают подгибаться и притопывать.

Но с тех пор, как Иохиму полюбилась Марья, дворовая девка соседнего пана, он что-то не залюбил веселую скрипку. Правда, что скрипка не помогла ему победить сердце вострой девки, и Марья предпочла безусую немецкую физиономию барского камердинера усатой «пыке» [1] хохла-музыканта. С тех пор его скрипки не слыхали более в корчме и на вечерницах. Он повесил ее на колышке в конюшне и не обращал внимания на то, что от сырости и его нерадения на любимом прежде инструменте то и дело одна за другой лопались струны. А они лопались с таким громким и жалобным предсмертным звоном, что даже лошади сочувственно ржали и удивленно поворачивали головы к ожесточившемуся хозяину.

На место скрипки Иохим купил у прохожего карпатского горца деревянную дудку. Он, по-видимому, находил, что ее тихие, задушевные переливы больше соответствуют его горькой судьбе, лучше выразят печаль его

---

[1] Пыка — по-малорусски, ироническое название лица, физиономии.

отвергнутого сердца. Однако горская дудка обманула его ожидания. Он перебрал их до десятка, пробовал на все лады, обрезал, мочил в воде и сушил на солнце, подвешивал на тонкой бечевочке под крышей, чтобы ее обдувало ветром, но ничто не помогало: горская дудка не слушалась хохлацкого сердца. Она свистела там, где нужно было петь, взвизгивала тогда, когда он ждал от нее томного дрожания, и вообще никак не поддавалась его настроению. Наконец он осердился на всех бродячих горцев, убедившись окончательно, что ни один из них не в состоянии сделать хорошую дудку, и затем решился сделать ее своими руками. В течение нескольких дней он бродил с насупленными бровями по полям и болотам, подходил к каждому кустику ивы, перебирал ее ветки, срезал некоторые из них, но, по-видимому, все не находил того, что ему было нужно. Его брови были попрежнему угрюмо сдвинуты, и он шел дальше, продолжая розыски. Наконец он попал на одно место, над лениво струившеюся речкой. Вода чуть-чуть шевелила в этой за́води белые головки кувшинок, ветер не долетал сюда из-за густо разросшихся ив, которые тихо и задумчиво склонились к темной, спокойной глубине. Иохим, раздвинув кусты, подошел к речке, постоял с минуту и как-то вдруг убедился, что именно здесь он найдет то, что ему нужно. Морщины на его лбу разгладились. Он вынул из-за голенища привязанный на ремешке складной ножик и, окинув внимательным взглядом задумчиво шептавшиеся кусты ивняка, решительно подошел к тонкому, прямому стволу, качавшемуся над размытою кручей. Он зачем-то щелкнул по нем пальцем, посмотрел с удовольствием, как он упруго закачался в воздухе, прислушался к шепоту его листьев и мотнул головой.

— Ото ж воно самѐсенькое,— пробормотал Иохим с удовольствием и выбросил в речку все срезанные ранее прутья.

Дудка вышла на славу. Высушив иву, он выжег ей сердце раскаленною проволокой, прожег шесть круглых отверстий, прорезал наискось седьмое и плотно заткнул один конец деревянною затычкой, оставив в ней косую узенькую щелку. Затем она целую неделю висела на бечевке, причем ее грело солнцем и обдавало звонким ветром. После этого он старательно выстругал ее ножом,

почистил стеклом и крепко обтер куском грубого сукна. Верхушка у нее была круглая, от середины шли ровные, точно отполированные грани, по которым он выжег с помощью изогнутых кусочков железа разные хитрые узоры. Попробовав ее несколькими быстрыми переливами гаммы, он взволнованно мотнул головой, крякнул и торопливо спрятал в укромное местечко около своей постели. Он не хотел делать первого музыкального опыта среди дневной суеты. Зато в тот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели. Иохим был совершенно доволен своей дудкой. Казалось, она была частью его самого; звуки, которые она издавала, лились будто из собственной его согретой и разнеженной груди, и каждый изгиб его чувства, каждый оттенок его скорби тотчас же дрожал в чудесной дудке, тихо срывался с нее и звучно несся вслед за другими, среди чутко слушавшего вечера.

V

Теперь Иохим был влюблен в свою дудку и праздновал с ней свой медовый месяц. Днем он аккуратно справлял обязанности конюха, водил лошадей на водопой, запрягал их, выезжал с «паней» или с Максимом. По временам, когда он заглядывал в сторону соседнего села, где жила жестокая Марья, тоска начинала сосать его сердце. Но с наступлением вечера он забывал обо всем мире, и даже образ чернобровой девушки застилался будто туманом. Этот образ терял свою жгучую определенность, рисовался перед ним в каком-то смутном фоне и лишь настолько, чтобы придавать задумчиво-грустный характер напевам чудесной дудки.

В таком музыкальном экстазе, весь изливаясь в дрожащих мелодиях, лежал Иохим в конюшне и в тот вечер. Музыкант успел совершенно забыть не только жестокую красавицу, но даже потерял из вида собственное свое существование, как вдруг он вздрогнул и приподнялся на своей постели. В самом патетическом месте он почувствовал, как чья-то маленькая рука быстро пробежала легкими пальцами по его лицу, скользнула по рукам и затем стала как-то торопливо ощупывать дудку. Вместе с тем он услышал возле себя чье-то быстрое, взволнованное, короткое дыхание.

— Цур тобі, пек тобі! — произнес он обычное заклинание и тут же прибавил вопрос: — Чертове, чи боже? — желая узнать, не имеет ли он дела с нечистою силой.

Но тотчас же скользнувший в открытые ворота конюшни луч месяца показал ему, что он ошибся. У его койки стоял слепой панич и жадно тянулся к нему своими ручонками.

Через час мать, пожелавшая взглянуть на спящего Петруся, не нашла его в постели. Она испугалась сначала, но вскоре материнская сметка подсказала ей, где нужно искать пропавшего мальчика. Иохим очень сконфузился, когда, остановившись, чтобы сделать передышку, он неожиданно увидел в дверях конюшни «милостивую пани». Она, по-видимому, уже несколько минут стояла на этом месте, слушая его игру и глядя на своего мальчика, который сидел на койке, укутанный в полушубок Иохима, и все еще жадно прислушивался к оборванной песне.

VI

С тех пор каждый вечер мальчик являлся к Иохиму в конюшню. Ему не приходило и в голову просить Иохима сыграть что-нибудь днем. Казалось, дневная суета и движение исключали в его представлении возможность этих тихих мелодий. Но как только на землю опускался вечер, Петрусь испытывал лихорадочное нетерпение. Вечерний чай и ужин служили для него лишь указанием, что желанная минута близка, и мать, которой как-то инстинктивно не нравились эти музыкальные сеансы, все же не могла запретить своему любимцу бежать к дударю и просиживать у него в конюшне часа два перед сном. Эти часы стали теперь для мальчика самым счастливым временем, и мать с жгучею ревностью видела, что вечерние впечатления владеют ребенком даже в течение следующего дня, что даже на ее ласки он не отвечает с прежнею безраздельностью, что, сидя у нее на руках и обнимая ее, он с задумчивым видом вспоминает вчерашнюю песню Иохима.

Тогда она вспомнила, что несколько лет назад, обучаясь в киевском пансионе пани Радецкой, она, между

прочими «приятными искусствами», изучала также и музыку. Правда, само по себе, это воспоминание было не из особенно сладких, потому что связывалось с представлением об учительнице, старой немецкой девице Клапс, очень тощей, очень прозаичной и, главное, очень сердитой. Эта чрезвычайно желчная дева, очень искусно «выламывавшая» пальцы своих учениц, чтобы придать им необходимую гибкость, вместе с тем с замечательным успехом убивала в своих питомицах всякие признаки чувства музыкальной поэзии. Это пугливое чувство не могло выносить уже одного присутствия девицы Клапс, не говоря об ее педагогических приемах. Поэтому, выйдя из пансиона и даже замужем, Анна Михайловна и не подумала о возобновлении своих музыкальных упражнений. Но теперь, слушая хохла-дударя, она чувствовала, что вместе с ревностью к нему в ее душе постепенно пробуждается ощущение живой мелодии, а образ немецкой девицы тускнеет. В результате этого процесса явилась просьба пани Попельской к мужу выписать из города пианино.

— Как хочешь, моя голубка,— ответил образцовый супруг.— Ты, кажется, не особенно любила музыку.

В тот же день послано было письмо в город, но пока инструмент был куплен и привезен из города в деревню, должно было пройти не менее двух-трех недель.

А между тем из конюшни каждый вечер звучали мелодические призывы, и мальчик кидался туда, даже не спрашивая уже позволения матери.

Специфический запах конюшни смешивался с ароматом сухой травы и острым запахом сыромятных ремней. Лошади тихо жевали, шурша добываемыми из-за решетки клочьями сена; когда дударь останавливался для передышки, в конюшню явственно доносился шепот зеленых буков из сада. Петрик сидел, как очарованный, и слушал.

Он никогда не прерывал музыканта, и только когда тот сам останавливался и проходило две-три минуты в молчании, немое очарование сменялось в мальчике какою-то странною жадностью. Он тянулся за дудкой, брал ее дрожащими руками и прикладывал к губам. Так как при этом в груди мальчика захватывало дыхание, то первые звуки выходили у него какие-то дрожащие и тихие. Но потом он понемногу стал овладевать немуд-

реным инструментом. Иохим располагал его пальцы по отверстиям, и хотя маленькая ручонка едва могла захватить эти отверстия, но все же он скоро свыкся с звуками гаммы. При этом каждая нота имела для него как бы свою особенную физиономию, свой индивидуальный характер; он знал уже, в каком отверстии живет каждый из этих тонов, откуда его нужно выпустить, и порой, когда Иохим тихо перебирал пальцами какой-нибудь несложный напев, пальцы мальчика тоже начинали шевелиться. Он с полною ясностью представлял себе последовательные тоны расположенными по их обычным местам.

VII

Наконец, ровно через три недели, из города привезли пианино. Петя стоял на дворе и внимательно слушал, как суетившиеся работники готовились нести в комнату привозную «музыку». Она была, очевидно, очень тяжелая, так как, когда ее стали подымать, телега трещала, а люди кряхтели и глубоко дышали. Вот они двинулись размеренными, тяжелыми шагами, и при каждом таком шаге над их головами что-то странно гудело, ворчало и позванивало. Когда странную музыку ставили на пол в гостиной, она опять отозвалась глухим гулом, точно угрожая кому-то в сильном гневе.

Все это наводило на мальчика чувство, близкое к испугу, и не располагало в пользу нового неодушевленного, но вместе сердитого гостя. Он ушел в сад и не слышал, как установили инструмент на ножках, как приезжий из города настройщик заводил его ключом, пробовал клавиши и настраивал проволочные струны. Только когда все было кончено, мать велела позвать в комнату Петю.

Теперь, вооружившись венским инструментом лучшего мастера, Анна Михайловна заранее торжествовала победу над нехитрою деревенскою дудкой. Она была уверена, что ее Петя забудет теперь конюшню и дударя и что все свои радости будет получать от нее. Она взглянула смеющимися глазами на робко вошедшего вместе с Максимом мальчика и на Иохима, который просил позволения послушать заморскую музыку и теперь стоял

у двери, застенчиво потупив глаза и свесив чуприну. Когда дядя Максим и Петя уселись на кушетку, она вдруг ударила по клавишам пианино.

Она играла пьесу, которую в пансионе пани Радецкой и под руководством девицы Клапс изучила в совершенстве. Это было что-то особенно шумное, но довольно хитрое, требовавшее значительной гибкости пальцев; на публичном экзамене Анна Михайловна стяжала этой пьесой обильные похвалы и себе, и особенно своей учительнице. Никто не мог сказать этого наверное, но многие догадывались, что молчаливый пан Попельский пленился панной Яценко именно в ту короткую четверть часа, когда она исполняла трудную пьесу. Теперь молодая женщина играла ее с сознательным расчетом на другую победу: она желала сильнее привлечь к себе маленькое сердце своего сына, увлеченного хохлацкою дудкой.

Однако на этот раз ее ожидания были обмануты: венскому инструменту оказалось не по силам бороться с куском украинской вербы. Правда, у венского пианино были могучие средства: дорогое дерево, превосходные струны, отличная работа венского мастера, богатство обширного регистра. Зато и у украинской дудки нашлись союзники, так как она была у себя дома, среди родственной украинской природы.

Прежде чем Иохим срезал ее своим ножом и выжег ей сердце раскаленным железом, она качалась здесь, над знакомою мальчику родною речкой, ее ласкало украинское солнце, которое согревало и его, и тот же обдавал ее украинский ветер, пока зоркий глаз украинца-дударя подметил ее над размытою кручей. И теперь трудно было иностранному пришельцу бороться с простою местною дудкой, потому что она явилась слепому мальчику в тихий час дремоты, среди таинственного вечернего шороха, под шелест засыпавших буков, в сопровождении всей родственной украинской природы.

Да и пани Попельской далеко было до Иохима. Правда, ее тонкие пальцы были и быстрее, и гибче; мелодия, которую она играла, сложнее и богаче, и много трудов положила девица Клапс, чтобы выучить свою ученицу владеть трудным инструментом. Зато у Иохима было непосредственное музыкальное чувство, он любил и

грустил и с любовью своей, и с тоской обращался к родной природе. Его учила несложным напевам эта природа, шум ее леса, тихий шепот степной травы, задумчивая, родная, старинная песня, которую он слышал еще над своею детскою колыбелью.

Да, трудно оказалось венскому инструменту победить хохлацкую дудку. Не прошло и одной минуты, как дядя Максим вдруг резко застучал об пол своим костылем. Когда Анна Михайловна повернулась в ту сторону, она увидела на побледневшем лице Петрика то самое выражение, с каким в памятный для нее день первой весенней прогулки мальчик лежал на траве.

Иохим участливо посмотрел на мальчика, потом кинул пренебрежительный взгляд на немецкую музыку и удалился, стукая по полу гостиной своими неуклюжими «чоботьями».

VIII

Много слез стоила бедной матери эта неудача,— слез и стыда. Ей, «милостивой пани» Попельской, слышавшей гром рукоплесканий «избранной публики», сознавать себя так жестоко пораженной, и кем же? — простым конюхом Иохимом с его глупою свистелкой! Когда она вспоминала исполненный пренебрежения взгляд хохла после ее неудачного концерта, краска гнева заливала ее лицо, и она искренно ненавидела «противного хлопа».

И, однако, каждый вечер, когда ее мальчик убегал в конюшню, она открывала окно, облокачивалась на него и жадно прислушивалась. Сначала слушала она с чувством гневного пренебрежения, стараясь лишь уловить смешные стороны в этом «глупом чириканьи»; но мало-помалу — она и сама не отдавала себе отчета, как это могло случиться,— глупое чириканье стало овладевать ее вниманием, и она уже с жадностью ловила задумчиво-грустные напевы. Спохватившись, она задала себе вопрос, в чем же их привлекательность, их чарующая тайна, и понемногу эти синие вечера, неопределенные вечерние тени и удивительная гармония песни с природой разрешили ей этот вопрос.

«Да,— думала она про себя, побежденная и завоеванная в свою очередь,— тут есть какое-то совсем особен-

ное, истинное чувство... чарующая поэзия, которую не выучишь по нотам».

И это было правда. Тайна этой поэзии состояла в удивительной связи между давно умершим прошлым и вечно живущей и вечно говорящею человеческому сердцу природой, свидетельницей этого прошлого. А он, грубый мужик в смазных сапогах и с мозолистыми руками, носил в себе эту гармонию, это живое чувство природы.

И она сознавала, что гордая «пани» смиряется в ней перед конюхом-хлопом. Она забывала его грубую одежду и запах дегтя, и сквозь тихие переливы песни вспоминалось ей добродушное лицо, с мягким выражением серых глаз и застенчиво-юмористическою улыбкой из-под длинных усов. По временам краска гнева опять приливала к лицу и вискам молодой женщины: она чувствовала, что в борьбе из-за внимания ее ребенка она стала с этим мужиком на одну арену, на равной ноге, и он, «хлоп», победил.

А деревья в саду шептались у нее над головой, ночь разгоралась огнями в синем небе и разливалась по земле синею тьмой, и, вместе с тем, в душу молодой женщины лилась горячая грусть от Иохимовых песен. Она все больше смирялась и все больше училась постигать нехитрую тайну непосредственной и чистой безыскусственной поэзии.

IX

Да, у мужика Иохима истинное, живое чувство! А у нее? Неужели у нее нет ни капли этого чувства? Отчего же так жарко в груди и так тревожно бьется в ней сердце и слезы поневоле подступают к глазам?

Разве это не чувство, не жгучее чувство любви к ее обездоленному, слепому ребенку, который убегает от нее к Иохиму и которому она не умеет доставить такого же живого наслаждения?

Ей вспомнилось выражение боли, вызванное ее игрой на лице мальчика, и жгучие слезы лились у нее из глаз, и по временам она с трудом сдерживала подступавшие к горлу и готовые вырваться рыдания.

Бедная мать! Слепота ее ребенка стала и ее вечным, неизлечимым недугом. Он сказался и в болезненно-пре-

увеличенной нежности, и в этом всю ее поглотившем чувстве, связавшем тысячью невидимых струн ее изболевшее сердце с каждым проявлением детского страдания. По этой причине то, что в другой вызвало бы только досаду,— это странное соперничество с хохлом-дударем,— стало для нее источником сильнейших, преувеличенно-жгучих страданий.

Так шло время, не принося ей облегчения, но зато и не без пользы: она начала сознавать в себе приливы того же живого ощущения мелодии и поэзии, которое так очаровало ее в игре хохла. Тогда в ней ожила и надежда. Под влиянием внезапных приливов самоуверенности она несколько раз подходила к своему инструменту и открывала крышку с намерением заглушить певучими ударами клавишей тихую дудку. Но каждый раз чувство нерешимости и стыдливого страха удерживало ее от этих попыток. Ей вспоминалось лицо ее страдающего мальчика и пренебрежительный взгляд хохла, и щеки пылали в темноте от стыда, а рука только пробегала в воздухе над клавиатурой с боязливою жадностью...

Тем не менее изо дня в день какое-то внутреннее сознание своей силы в ней все возрастало, и, выбирая время, когда мальчик играл перед вечером в дальней аллее или уходил гулять, она садилась за пианино. Первыми опытами она осталась не особенно довольна; руки не повиновались ее внутреннему пониманию, звуки инструмента казались сначала чуждыми овладевшему ею настроению. Но постепенно это настроение переливалось в них с большею полнотой и легкостью; уроки хохла не прошли даром, а горячая любовь матери и чуткое понимание того, что именно захватывало так сильно сердце ребенка, дали ей возможность так быстро усвоить эти уроки Теперь из-под рук выходили уже не трескучие мудреные «пьесы», а тихая песня, грустная украинская думка звенела и плакала в темных комнатах, размягчая материнское сердце.

Наконец она приобрела достаточно смелости, чтобы выступить в открытую борьбу, и вот, по вечерам, между барским домом и Иохимовой конюшней началось странное состязание. Из затененного сарая с нависшею соломенною стрехой тихо вылетали переливчатые трели дудки, а навстречу им из открытых окон усадьбы, свер-

кавшей сквозь листву буков отражением лунного света, неслись певучие, полные аккорды фортепиано.

Сначала ни мальчик, ни Иохим не хотели обращать внимания на «хитрую» музыку усадьбы, к которой они питали предубеждение. Мальчик даже хмурил брови и нетерпеливо понукал Иохима, когда тот останавливался.

— Э! играй же, играй!

Но не прошло и трех дней, как эти остановки стали все чаще и чаще. Иохим то и дело откладывал дудку и начинал прислушиваться с возрастающим интересом, а во время этих пауз и мальчик тоже заслушивался и забывал понукать приятеля. Наконец Иохим произнес с задумчивым видом:

— Ото ж як гарно... Бач, яка воно штука...

И затем, с тем же задумчиво-рассеянным видом прислушивающегося человека, он взял мальчика на руки и пошел с ним через сад к открытому окну гостиной.

Он думал, что «милостивая пани» играет для собственного своего удовольствия и не обращает на них внимания. Но Анна Михайловна слышала в промежутках, как смолкла ее соперница-дудка, видела свою победу, и ее сердце билось от радости.

Вместе с тем ее гневное чувство к Иохиму улеглось окончательно. Она была счастлива́ и сознавала, что обязана этим счастьем ему: он научил ее, как опять привлечь к себе ребенка, и если теперь ее мальчик получит от нее целые сокровища новых впечатлений, то за это оба они должны быть благодарны ему, мужику-дударю, их общему учителю.

X

Лед был сломан. Мальчик на следующий день с робким любопытством вошел в гостиную, в которой не бывал с тех пор, как в ней поселился странный городской гость, показавшийся ему таким сердито-крикливым. Теперь вчерашние песни этого гостя подкупили слух мальчика и изменили его отношение к инструменту. С последними следами прежней робости он подошел к тому месту, где стояло пианино, остановился на некотором расстоянии и прислушался. В гостиной никого не было. Мать сидела с работой в другой комнате на диване и, притаив

дыхание, смотрела на него, любуясь каждым его движением, каждою сменою выражения на нервном лице ребенка.

Протянув издали руки, он коснулся полированной поверхности инструмента и тотчас же робко отодвинулся. Повторив раза два этот опыт, он подошел поближе и стал внимательно исследовать инструмент, наклоняясь до земли, чтобы ощупать ножки, обходя кругом по свободным сторонам. Наконец его рука попала на гладкие клавиши.

Тихий звук струны неуверенно дрогнул в воздухе. Мальчик долго прислушивался к исчезнувшим уже для слуха матери вибрациям и затем, с выражением полного внимания, тронул другую клавишу. Проведя после этого рукой по всей клавиатуре, он попал на ноту верхнего регистра. Каждому тону он давал достаточно времени, и они, один за другим, колыхаясь, дрожали и замирали в воздухе. Лицо слепого, вместе с напряженным вниманием, выражало удовольствие; он, видимо, любовался каждым отдельным тоном, и уже в этой чуткой внимательности к элементарным звукам, составным частям будущей мелодии, сказывались задатки артиста.

Но при этом казалось, что слепой придавал еще какие-то особенные свойства каждому звуку: когда из-под его руки вылетала веселая и яркая нота высокого регистра, он подымал оживленное лицо, будто провожая кверху эту звонкую летучую ноту. Наоборот, при густом, чуть слышном и глухом дрожании баса он наклонял ухо; ему казалось, что этот тяжелый тон должен непременно низко раскатиться над землею, рассыпаясь по полу и теряясь в дальних углах.

XI

Дядя Максим относился ко всем этим музыкальным экспериментам только терпимо. Как это ни странно, но так явно обнаружившиеся склонности мальчика порождали в инвалиде двойственное чувство. С одной стороны, страстное влечение к музыке указывало на несомненно присущие мальчику музыкальные способности и, таким образом, определяло отчасти возможное для него будущее. С другой — к этому сознанию примешивалось

в сердце старого солдата неопределенное чувство разочарования.

«Конечно,— рассуждал Максим,— музыка тоже великая сила, дающая возможность владеть сердцем толпы. Он, слепой, будет собирать сотни разряженных франтов и барынь, будет им разыгрывать разные там... вальсы и ноктюрны (правду сказать, дальше этих «вальсов» и «ноктюрнов» не шли музыкальные познания Максима), а они будут утирать слезы платочками. Эх, черт возьми, не того бы мне хотелось, да что же делать! Малый слеп, так пусть же станет в жизни тем, чем может. Только все же лучше бы уж песня, что ли? Песня говорит не одному неопределенно разнеживающемуся слуху. Она дает образы, будит мысль в голове и мужество в сердце».

— Эй, Иохим,— сказал он одним вечером, входя вслед за мальчиком к Иохиму.— Брось ты хоть один раз свою свистелку! Это хорошо мальчишкам на улице или подпаску в поле, а ты все же таки взрослый мужик, хоть эта глупая Марья и сделала из тебя настоящего теленка. Тьфу, даже стыдно за тебя, право! Девка отвернулась, а ты и раскис. Свистишь, точно перепел в клетке!

Иохим, слушая эту длинную рацею раздосадованного пана, ухмылялся в темноте над его беспричинным гневом. Только упоминание о мальчишках и подпаске несколько расшевелило в нем чувство легкой обиды.

— Не скажите, пане,— заговорил он.— Такую дуду не найти вам ни у одного пастуха в Украйне, не то что у подпаска... То все свистелки, а это... вы вот послушайте.

Он закрыл пальцами все отверстия и взял на дудке два тона в октаву, любуясь полным звуком. Максим плюнул.

— Тьфу, прости боже! совсем поглупел парубок! Что мне твоя дуда? Все они одинаковы — и дудки, и бабы, с твоей Марьей на придачу. Вот лучше спел бы ты нам песню, коли умеешь,— хорошую старую песню.

Максим Яценко, сам малоросс, был человек простой с мужиками и дворней. Он часто кричал и ругался, но как-то необидно, и потому к нему относились люди почтительно, но свободно.

— А что ж? — ответил Иохим на предложение пана.— Пел когда-то и я не хуже людей. Только, может, и наша мужицкая песня тоже вам не по вкусу придется, пане? — уязвил он слегка собеседника.

— Ну, не бреши попустому,— сказал Максим.— Песня хорошая — не дудке чета, если только человек умеет петь как следует. Вот послушаем, Петрусю, Иохимову песню. Поймешь ли ты только, малый?

— А это будет «хлопская» песня? — спросил мальчик.— Я понимаю «по-хлопски».

Максим вздохнул. Он был романтик и когда-то мечтал о новой Сечи.

— Эх, малый! Это не хлопские песни... Это песни сильного, вольного народа. Твои деды по матери пели их на степях по Днепру, и по Дунаю, и на Черном море... Ну, да ты поймешь это когда-нибудь, а теперь,— прибавил он задумчиво,— боюсь я другого...

Действительно, Максим боялся другого непонимания. Он думал, что яркие образы песенного эпоса требуют непременно зрительных представлений, чтобы говорить сердцу. Он боялся, что темная голова ребенка не в состоянии будет усвоить картинного языка народной поэзии. Он забыл, что древние баяны, что украинские кобзари и бандуристы были по большей части слепые. Правда, тяжкая доля, увечье заставляли нередко брать в руки лиру или бандуру, чтобы просить с нею подаяния. Но не все же это были только нищие и ремесленники с гнусавыми голосами, и не все они лишились зрения только под старость. Слепота застилает видимый мир темною завесой, которая, конечно, ложится на мозг, затрудняя и угнетая его работу, но все же из наследственных представлений и из впечатлений, получаемых другими путями, мозг творит в темноте свой собственный мир, грустный, печальный и сумрачный, но не лишенный своеобразной, смутной поэзии.

XII

Максим с мальчиком уселись на сене, а Иохим прилег на свою лавку (эта поза наиболее соответствовала его артистическому настроению) и, подумав с минуту, запел. Случайно или по чуткому инстинкту выбор его оказался

очень удачным. Он остановился на исторической картине:

Ой, там на горі, тай женці жнуть.

Всякому, кто слышал эту прекрасную народную песню в надлежащем исполнении, наверное врезался в памяти ее старинный мотив, высокий, протяжный, будто подернутый грустью исторического воспоминания. В ней нет событий, кровавых сеч и подвигов. Это и не прощание казака с милой, не удалой набег, не экспедиция в чайках по синему морю и Дунаю. Это только одна мимолетная картина, всплывшая мгновенно в воспоминании украинца как смутная греза, как отрывок из сна об историческом прошлом. Среди будничного и серого настоящего дня в его воображении встала вдруг эта картина, смутная, туманная, подернутая тою особенною грустью, которая веет от исчезнувшей уже родной старины. Исчезнувшей, но еще не бесследно! О ней говорят еще высокие могилы-курганы, где лежат казацкие кости, где в полночь загораются огни, откуда слышатся по ночам тяжелые стоны. О ней говорит и народное предание, и смолкающая все более и более народная песня:

Ой, там на горі, тай женці жнуть,
А по-під горою, по-під зеленою
Козаки ідуть!..
Козаки ідуть!..

На зеленой горе жнецы жнут хлеб. А под горой, внизу, идет казачье войско.

Максим Яценко заслушался грустного напева. В его воображении, вызванная чудесным мотивом, удивительно сливающимся с содержанием песни, всплыла эта картина, будто освещенная меланхолическим отблеском заката. В мирных полях, на горе, беззвучно наклоняясь над нивами, виднеются фигуры жнецов. А внизу бесшумно проходят отряды один за другим, сливаясь с вечерними тенями долины.

По переду Дорошенко
Веде свое військо, військо запорожське,
Хорошенько.

И протяжная нота песни о прошлом колышется, звенит и смолкает в воздухе, чтобы зазвенеть опять и вызвать из сумрака все новые и новые фигуры.

XIII

Мальчик слушал с омраченным и грустным лицом. Когда певец пел о горе, на которой жнут жнецы, воображение тотчас же переносило Петруся на высоту знакомого ему утеса. Он узнал его потому, что внизу плещется речка чуть слышными ударами волны о камень. Он уже знает также, что такое жнецы, он слышит позвякивание серпов и шорох падающих колосьев.

Когда же песня переходила к тому, что делается под горой, воображение слепого слушателя тотчас же удаляло его от вершин в долину...

Звон серпов смолк, но мальчик знает, что жнецы там, на горе, что они остались, но они не слышны, потому что они высоко, так же высоко, как сосны, шум которых он слышал, стоя под утесом. А внизу, над рекой, раздается частый ровный топот конских копыт... Их много, от них стоит неясный гул там, в темноте, под горой. Это «идут казаки».

Он знает также, что значит казак. Старика «Хведька», который заходит по временам в усадьбу, все зовут «старым казаком». Он не раз брал Петруся к себе на колени, гладил его волосы своею дрожащею рукой. Когда же мальчик по своему обыкновению ощупывал его лицо, то осязал своими чуткими пальцами глубокие морщины, большие обвисшие вниз усы, впалые щеки и на щеках старческие слезы. Таких же казаков представлял себе мальчик под протяжные звуки песни там, внизу, под горой. Они сидят на лошадях, такие же, как «Хведько», усатые, такие же сгорбленные, такие же старые. Они тихо подвигаются бесформенными тенями в темноте и так же, как «Хведько», о чем-то плачут, быть может, оттого, что и над горой, и над долиной стоят эти печальные, протяжные стоны Иохимовой песни,— песни о «необачном козачине», что променял молодую жёнку на походную трубку и на боевые невзгоды.

Максиму достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что чуткая натура мальчика способна откликнуться, несмотря на слепоту, на поэтические образы песни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Благодаря режиму, который был заведен по плану Максима, слепой во всем, где это было возможно, был предоставлен собственным усилиям, и это принесло самые лучшие результаты. В доме он не казался вовсе беспомощным, ходил всюду очень уверенно, сам убирал свою комнату, держал в известном порядке свои игрушки и вещи. Кроме того, насколько это было ему доступно, Максим обращал внимание на физические упражнения: у мальчика была своя гимнастика, а на шестом году Максим подарил племяннику небольшую и смирную лошадку. Мать сначала не могла себе представить, чтоб ее слепой ребенок мог ездить верхом, и она называла затею брата чистым безумием. Но инвалид пустил в дело все свое влияние, и через два-три месяца мальчик весело скакал в седле рядом с Иохимом, который командовал только на поворотах.

Таким образом слепота не помешала правильному физическому развитию, и влияние ее на нравственный склад ребенка было по возможности ослаблено. Для своего возраста он был высок и строен; лицо его было несколько бледно, черты тонки и выразительны. Черные волосы оттеняли еще более белизну лица, а большие темные, мало подвижные глаза придавали ему своеобразное выражение, как-то сразу приковывавшее внимание. Легкая складка над бровями, привычка несколько подаваться головой вперед и выражение грусти, по временам пробегавшее какими-то облаками по красивому лицу,— это все, чем сказалась слепота в его наружности. Его движения в знакомом месте были уверенны, но все же было заметно, что природная живость подавлена и проявляется по временам довольно резкими нервными порывами.

II

Теперь впечатления слуха окончательно получили в жизни слепого преобладающее значение, звуковые формы стали главными формами его мысли, центром умственной работы. Он запомнил песни, вслушиваясь в их

чарующие мотивы, знакомился с их содержанием, окрашивая его грустью, весельем или раздумчивостью мелодии. Он еще внимательнее ловил голоса окружающей природы и, сливая смутные ощущения с привычными родными мотивами, по временам умел обобщить их свободной импровизацией, в которой трудно было отличить, где кончается народный, привычный уху мотив и где начинается личное творчество. Он и сам не мог отделить в своих песнях этих двух элементов: так цельно слились в нем они оба. Он быстро заучивал все, что передавала ему мать, учившая его игре на фортепиано, но любил также и Иохимову дудку. Фортепиано было богаче, звучнее и полнее, но оно стояло в комнате, тогда как дудку можно было брать с собой в поле, и ее переливы так нераздельно сливались с тихими вздохами степи, что порой Петрусь сам не мог отдать себе отчета, ветер ли навевает издалека смутные думы, или это он сам извлекает их из своей свирели.

Это увлечение музыкой стало центром его умственного роста; оно заполняло и разнообразило его существование. Максим пользовался им, чтобы знакомить мальчика с историей его страны. и вся она прошла перед воображением слепого, сплетенная из звуков. Заинтересованный песней, он знакомился с ее героями, с их судьбой, с судьбой своей родины. Отсюда начался интерес к литературе, и на девятом году Максим приступил к первым урокам. Умелые уроки Максима (которому пришлось изучить для этого специальные приемы обучения слепых) очень нравились мальчику. Они вносили в его настроения новый элемент — определенность и ясность, уравновешивавшие смутные ощущения музыки.

Таким образом день мальчика был заполнен, нельзя было пожаловаться на скудость получаемых им впечатлений. Казалось, он жил полною жизнью, насколько это возможно для ребенка. Казалось также, что он не сознает и своей слепоты.

А между тем какая-то странная, недетская грусть все-таки сквозила в его характере. Максим приписывал это недостатку детского общества и старался пополнить этот недостаток.

Деревенские мальчики, которых приглашали в усадьбу, дичились и не могли свободно развернуться. Кроме

непривычной обстановки, их немало смущала также и слепота «панича». Они пугливо посматривали на него и, сбившись в кучу, молчали или робко перешептывались друг с другом. Когда же детей оставляли одних в саду или в поле, они становились развязнее и затевали игры, но при этом оказывалось, что слепой как-то оставался в стороне и грустно прислушивался к веселой возне товарищей.

По временам Иохим собирал ребят вокруг себя в кучу и начинал рассказывать им веселые присказки и сказки. Деревенские ребята, отлично знакомые и с глуповатым хохлацким чертом, и с плутовками-ведьмами, пополняли эти рассказы из собственного запаса, и вообще эти беседы шли очень оживленно. Слепой слушал их с большим вниманием и интересом, но сам смеялся редко. По-видимому, юмор живой речи в значительной степени оставался для него недоступным, и не мудрено: он не мог видеть ни лукавых огоньков в глазах рассказчика, ни смеющихся морщин, ни подергивания длинными усами.

III

Незадолго до описываемого времени в небольшом соседнем имении переменился «посессор» [1]. На место прежнего, беспокойного соседа, у которого даже с молчаливым паном Попельским вышла тяжба из-за какой-то потравы, теперь в ближней усадьбе поселился старик Яскульский с женою. Несмотря на то, что обоим супругам в общей сложности было не менее ста лет, они поженились сравнительно недавно, так как пан Якуб долго не мог сколотить нужной для аренды суммы и потому мыкался в качестве «эконома» по чужим людям, а пани Агнешка, в ожидании счастливой минуты, жила в качестве почетной «покоювки» у графини Потоцкой. Когда, наконец, счастливая минута настала и жених с невестой стали рука об руку в костеле, то в усах и в чубе молодцеватого жениха половина волос были совершенно седые,

---

[1] В Юго-западном крае довольно развита система арендований имений арендатор (по-местному «посессор») является как бы управителем имения. Он выплачивает владельцу известную сумму, затем от его предприимчивости зависит извлечение большего или меньшего дохода.

а покрытое стыдливым румянцем лицо невесты было также обрамлено серебристыми локонами.

Это обстоятельство не помешало, однако, супружескому счастью, и плодом этой поздней любви явилась единственная дочь, которая была почти ровесницей слепому мальчику. Устроив под старость свой угол, в котором они, хотя и условно, могли считать себя полными хозяевами, старики зажили в нем тихо и скромно, как бы вознаграждая себя этою тишиной и уединением за суетливые годы тяжелой жизни «в чужих людях». Первая их аренда оказалась не совсем удачной, и теперь они несколько сузили дело. Но и на новом месте они тотчас же устроились по-своему. В углу, занятом иконами, перевитыми плющом, у Яскульской, вместе с вербой и «громницей» [1], хранились какие-то мешочки с травами и корнями, которыми она лечила мужа и приходивших к ней деревенских баб и мужиков. Эти травы наполняли всю избу особенным специфическим благоуханием, которое неразрывно связывалось в памяти всякого посетителя с воспоминанием об этом чистом маленьком домике, об его тишине и порядке и о двух стариках, живших в нем какою-то необычною в наши дни тихою жизнью.

В обществе этих стариков росла их единственная дочь, небольшая девочка, с длинною русой косой и голубыми глазами, поражавшая всех при первом же знакомстве какою-то странною солидностью, разлитою во всей ее фигуре. Казалось, спокойствие поздней любви родителей отразилось в характере дочери этою недетскою рассудительностью, плавным спокойствием движений, задумчивостью и глубиной голубых глаз. Она никогда не дичилась посторонних, не уклонялась от знакомства с детьми и принимала участие в их играх. Но все это делалось с такою искреннею снисходительностью, как будто для нее лично это было вовсе не нужно. Действительно, она отлично довольствовалась своим собственным обществом, гуляя, собирая цветы, беседуя со своею куклой, и все это с видом такой солидности, что по временам казалось, будто перед вами не ребенок, а крохотная взрослая женщина.

---

[1] Громницей называется восковая свеча, которую зажигают в сильные бури, а также дают в руки умирающему.

IV

Однажды Петрик был один на холмике над рекой. Солнце садилось, в воздухе стояла тишина, только мычание возвращавшегося из деревни стада долетало сюда, смягченное расстоянием. Мальчик только что перестал играть и откинулся на траву, отдаваясь полудремотной истоме летнего вечера. Он забылся на минуту, как вдруг чьи-то легкие шаги вывели его из дремоты. Он с неудовольствием приподнялся на локоть и прислушался. Шаги остановились у подножия холмика. Походка была ему незнакома.

— Мальчик! — услышал он вдруг возглас детского голоса.— Не знаешь ли, кто это тут сейчас играл?

Слепой не любил, когда нарушали его одиночество. Поэтому он ответил на вопрос не особенно любезным тоном:

— Это я...

Легкий удивленный возглас был ответом на это заявление, и тотчас же голос девочки прибавил тоном простодушного одобрения.

— Как хорошо!

Слепой промолчал.

— Что же вы не уходите?—спросил он затем, слыша, что непрошеная собеседница продолжает стоять на месте.

— Зачем же ты меня гонишь? — спросила девочка своим чистым и простодушно-удивленным голосом.

Звуки этого спокойного детского голоса приятно действовали на слух слепого; тем не менее он ответил в прежнем тоне:

— Я не люблю, когда ко мне приходят...

Девочка засмеялась.

— Вот еще!.. Смотрите-ка! Разве вся земля твоя и ты можешь кому-нибудь запретить ходить по земле?

— Мама приказала всем, чтобы сюда ко мне не ходили.

— Мама? — переспросила задумчиво девочка.— А моя мама позволила мне ходить над рекой...

Мальчик, несколько избалованный всеобщею уступчивостью, не привык к таким настойчивым возражениям. Вспышка гнева прошла по его лицу нервною волной; он приподнялся и заговорил быстро и возбужденно:

— Уйдите, уйдите, уйдите!..

Неизвестно, чем кончилась бы эта сцена, но в это время от усадьбы послышался голос Иохима, звавшего мальчика к чаю. Он быстро сбежал с холмика.

— Ах, какой гадкий мальчик! — услышал он за собою искренно негодующее замечание.

V

На следующий день, сидя на том же месте, мальчик вспомнил о вчерашнем столкновении. В этом воспоминании теперь не было досады. Напротив, ему даже захотелось, чтоб опять пришла эта девочка с таким приятным, спокойным голосом, какого он никогда еще не слыхал. Знакомые ему дети громко кричали, смеялись, дрались и плакали, но ни один из них не говорил так приятно. Ему стало жаль, что он обидел незнакомку, которая, вероятно, никогда более не вернется.

Действительно, дня три девочка совсем не приходила. Но на четвертый Петрусь услышал ее шаги внизу, на берегу реки. Она шла тихо; береговая галька легко шуршала под ее ногами; и она напевала вполголоса польскую песенку.

— Послушайте! — окликнул он, когда она с ним поравнялась.— Это опять вы?

Девочка не ответила. Камешки по-прежнему шуршали под ее ногами. В деланной беззаботности ее голоса, напевавшего песню, мальчику слышалась еще не забытая обида.

Однако, пройдя несколько шагов, незнакомка остановилась. Две-три секунды прошло в молчании. Она перебирала в это время букет полевых цветов, который держала в руках, а он ждал ответа. В этой остановке и последовавшем за нею молчании он уловил оттенок умышленного пренебрежения.

— Разве вы не видите, что это я? — спросила она, наконец, с большим достоинством, покончив с цветами.

Этот простой вопрос больно отозвался в сердце слепого. Он ничего не ответил, и только его руки, которыми он упирался в землю, как-то судорожно схватились за траву. Но разговор уже начался, и девочка, все стоя на том же месте и занимаясь своим букетом, опять спросила:

— Кто тебя выучил так хорошо играть на дудке?

— Иохим выучил,— ответил Петрусь.

— Очень хорошо! А отчего ты такой сердитый?

— Я... не сержусь на вас,—сказал мальчик тихо.

— Ну, так и я не сержусь... Давай играть вместе.

— Я не умею играть с вами,— ответил он потупившись.

— Не умеешь играть?.. Почему?

— Так.

— Нет, почему же?

— Так,— ответил он чуть слышно и еще более потупился.

Ему не приходилось еще никогда говорить с кем-нибудь о своей слепоте, и простодушный тон девочки, предлагавшей с наивною настойчивостью этот вопрос, отозвался в нем опять тупою болью

Незнакомка поднялась на холмик.

— Какой ты смешной,— заговорила она с снисходительным сожалением, усаживаясь рядом с ним на траве.— Это ты, верно, оттого, что еще со мной не знаком. Вот узнаешь меня, тогда перестанешь бояться. А я не боюсь никого.

Она говорила это с беспечной ясностью, и мальчик услышал, как она бросила к себе в передник груду цветов.

— Где вы взяли цветы? — спросил он.

— Там,— мотнула она головой, указывая назад.

— На лугу?

— Нет, там.

— Значит, в роще. А какие это цветы?

— Разве ты не знаешь цветов?.. Ах, какой ты странный... право, ты очень странный...

Мальчик взял в руку цветок. Его пальцы быстро и легко тронули листья и венчик.

— Это лютик,— сказал он,— а вот это фиалка.

Потом он захотел тем же способом ознакомиться и со своею собеседницею: взяв левою рукой девочку за плечо, он правой стал ощупывать ее волосы, потом веки и быстро пробежал пальцами по лицу, кое-где останавливаясь и внимательно изучая незнакомые черты.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что девочка, пораженная удивлением, не могла сказать ни слова; она только глядела на него широко открытыми глазами, в которых отражалось чувство, близкое к ужа-

су. Только теперь она заметила, что в лице ее нового знакомого есть что-то необычайное. Бледные и тонкие черты застыли на выражении напряженного внимания, как-то не гармонировавшего с его неподвижным взглядом. Глаза мальчика глядели куда-то, без всякого отношения к тому, что он делал, и в них странно переливался отблеск закатывавшегося солнца. Все это показалось девочке на одну минуту просто тяжелым кошмаром.

Высвободив свое плечо из руки мальчика, она вдруг вскочила на ноги и заплакала.

— Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчишка? — заговорила она гневно, сквозь слезы.— Что я тебе сделала?.. Зачем?..

Он сидел на том же месте, озадаченный, с низко опущенною головой, и странное чувство,— смесь досады и унижения,— наполнило болью его сердце. В первый раз еще пришлось ему испытать унижение калеки; в первый раз узнал он, что его физический недостаток может внушать не одно сожаление, но и испуг. Конечно, он не мог отдать себе ясного отчета в угнетавшем его тяжелом чувстве, но оттого, что сознание это было неясно и смутно, оно доставляло не меньше страдания.

Чувство жгучей боли и обиды подступило к его горлу; он упал на траву и заплакал. Плач этот становился все сильнее, судорожные рыдания потрясали все его маленькое тело, тем более, что какая-то врожденная гордость заставляла его подавлять эту вспышку.

Девочка, которая сбежала уже с холмика, услышала эти глухие рыдания и с удивлением повернулась. Видя, что ее новый знакомый лежит лицом к земле и горько плачет, она почувствовала участие, тихо взошла на холмик и остановилась над плачущим.

— Послушай,— заговорила она тихо,— о чем ты плачешь? Ты, верно, думаешь, что я пажалуюсь? Ну, не плачь, я никому не скажу.

Слово участия и ласковый тон вызвали в мальчике еще большую нервную вспышку плача. Тогда девочка присела около него на корточки; просидев так с полминуты, она тихо тронула его волосы, погладила его голову и затем, с мягкою настойчивостью матери, которая успокаивает наказанного ребенка, приподняла его голову и стала вытирать платком заплаканные глаза.

— Ну, ну, перестань же! — заговорила она тоном взрослой женщины.— Я давно не сержусь. Я вижу, ты жалеешь, что напугал меня...

— Я не хотел напугать тебя,— ответил он, глубоко вздыхая, чтобы подавить нервные приступы.

— Хорошо, хорошо! Я не сержусь!.. Ты ведь больше не будешь.— Она приподняла его с земли и старалась усадить рядом с собою.

Он повиновался. Теперь он сидел, как прежде, лицом к стороне заката, и когда девочка опять взглянула на это лицо, освещенное красноватыми лучами, оно опять показалось ей странным. В глазах мальчика еще стояли слезы, но глаза эти были по-прежнему неподвижны; черты лица то и дело передергивались от нервных спазмов, но вместе с тем в них виднелось недетское, глубокое и тяжелое горе.

— А все-таки ты очень странный,— сказала она с задумчивым участием.

— Я не странный,— ответил мальчик с жалобною гримасой.— Нет, я не странный .. Я... я — слепой!

— Слепо-ой? — протянула она нараспев, и голос ее дрогнул, как будто это грустное слово, тихо произнесенное мальчиком, нанесло неизгладимый удар в ее маленькое женственное сердце.— Слепо-ой? — повторила она еще более дрогнувшим голосом, и как будто ища защиты от охватившего всю ее неодолимого чувства жалости, она вдруг обвила шею мальчика руками и прислонилась к нему лицом.

Пораженная внезапностью печального открытия, маленькая женщина не удержалась на высоте своей солидности, и, превратившись вдруг в огорченного и беспомощного в своем огорчении ребенка, она, в свою очередь, горько и неутешно заплакала.

VI

Несколько минут прошло в молчании.

Девочка перестала плакать и только по временам еще всхлипывала, перемогаясь. Полными слез глазами она смотрела, как солнце, будто вращаясь в раскаленной атмосфере заката, погружалось за темную черту горизонта. Мелькнул еще раз золотой обрез огненного шара,

потом брызнули две-три горячие искры, и темные очертания дальнего леса всплыли вдруг непрерывной синеватою чертой.

С реки потянуло прохладой, и тихий мир наступающего вечера отразился на лице слепого; он сидел с опущенною головой, видимо удивленный этим выражением горячего сочувствия.

— Мне жалко...— все еще всхлипывая, вымолвила, наконец, девочка в объяснение своей слабости.

Потом, несколько овладев собой, она сделала попытку перевести разговор на посторонний предмет, к которому они оба могли отнестись равнодушно.

— Солнышко село.— произнесла она задумчиво.

— Я не знаю, какое оно,— был печальный ответ.— Я его только... чувствую.

— Не знаешь солнышка?

— Да.

— А... а свою маму... тоже не знаешь?

— Мать знаю Я всегда издалека узнаю ее походку.

— Да, да, это правда. И я с закрытыми глазами узнаю свою мать.

Разговор принял более спокойный характер.

— Знаешь,— заговорил слепой с некоторым оживлением,— я ведь чувствую солнце и знаю, когда оно закатилось.

— Почему ты знаешь?

— Потому что... видишь ли... Я сам не знаю почему...

— А-а! — протянула девочка, по-видимому совершенно удовлетворенная этим ответом, и они оба помолчали.

— Я могу читать,— первый заговорил опять Петрусь,— и скоро выучусь писать пером.

— А как же ты?..— начала было она и вдруг застенчиво смолкла, не желая продолжать щекотливого допроса. Но он ее понял.

— Я читаю в своей книжке,— пояснил он,— пальцами.

— Пальцами? Я бы никогда не выучилась читать пальцами... Я и глазами плохо читаю. Отец говорит, что женщины плохо понимают науку.

— А я могу читать даже по-французски.

— По-французски!.. И пальцами... какой ты умный!—

искренно восхитилась она.— Однако я боюсь, как бы ты не простудился. Вон над рекой какой туман.

— А ты сама?

— Я не боюсь; что мне сделается.

— Ну, и я не боюсь. Разве может быть, чтобы мужчина простудился скорее женщины? Дядя Максим говорит, что мужчина не должен ничего бояться: ни холода, ни голода, ни грома, ни тучи.

— Максим?.. Это который на костылях?.. Я его видела. Он страшный!

— Нет, он нисколько не страшный. Он добрый.

— Нет, страшный! — убежденно ловторила она.— Ты не знаешь, потому что не видал его.

— Как же я его не знаю, когда он меня всему учит.

— Бьет?

— Никогда не бьет и не кричит на меня... Никогда...

— Это хорошо. Разве можно бить слепого мальчика? Это было бы грешно.

— Да ведь он и никого не бьет,— сказал Петрусь несколько рассеянно, так как его чуткое ухо заслышало шаги Иохима.

Действительно, рослая фигура хохла зарисовалась через минуту на холмистом гребне, отделявшем усадьбу от берега, и его голос далеко раскатился в тишине вечера:

— Па-ны-чу-у-у!

— Тебя зовут,— сказала девочка, поднимаясь.

— Да. Но мне не хотелось бы идти.

— Иди, иди! Я к тебе завтра приду. Теперь тебя ждут и меня тоже.

VII

Девочка точно исполнила свое обещание и даже раньше, чем Петрусь смог на это рассчитывать. На следующий же день, сидя в своей комнате за обычным уроком с Максимом, он вдруг поднял голову, прислушался и сказал с оживлением:

— Огпусти меня на минуту. Там пришла девочка.

— Какая еще девочка? — удивился Максим и пошел вслед за мальчиком к выходной двери.

Действительно, вчерашняя знакомка Петруся в эту самую минуту вошла в ворота усадьбы и, увидя прохо-

дившую по двору Анну Михайловну, свободно направилась прямо к ней.

— Что тебе, милая девочка, нужно? — спросила та, думая, что ее прислали по делу.

Маленькая женщина солидно протянула ей руку и спросила:

— Это у вас есть слепой мальчик?.. Да?

— У меня, милая, да, у меня,— ответила пани Попельская, любуясь ее ясными глазами и свободой ее обращения.

— Вот, видите ли... Моя мама отпустила меня к нему. Могу я его видеть?

Но в эту минуту Петрусь сам подбежал к ней, а на крыльце показалась фигура Максима.

— Это вчерашняя девочка, мама! Я тебе говорил,— сказал мальчик, здороваясь.— Только у меня теперь урок.

— Ну, на этот раз дядя Максим отпустит тебя,— сказала Анна Михайловна,— я у него попрошу.

Между тем крохотная женщина, чувствовавшая себя, по-видимому, совсем как дома, отправилась навстречу подходившему к ним на своих костылях Максиму и, протянув ему руку, сказала тоном снисходительного одобрения:

— Это хорошо, что вы не бьете слепого мальчика. Он мне говорил.

— Неужели, сударыня? — спросил Максим с комическою важностью, принимая в свою широкую руку маленькую ручку девочки.— Как я благодарен моему питомцу, что он сумел расположить в мою пользу такую прелестную особу.

И Максим рассмеялся, поглаживая ее руку, которую держал в своей. Между тем девочка продолжала смотреть на него своим открытым взглядом, сразу завоевавшим его женоненавистническое сердце.

— Смотри-ка, Аннуся,— обратился он к сестре с странною улыбкой,— наш Петр начинает заводить самостоятельные знакомства. И ведь согласись, Аня... несмотря на то, что он слеп, он все же сумел сделать недурной выбор, не правда ли?

— Что ты хочешь этим сказать, Макс? — спросила

молодая женщина строго, и горячая краска залила все ее лицо.

— Шучу! — ответил брат лаконически, видя, что своей шуткой он тронул больную струну, вскрыл тайную мысль, зашевелившуюся в предусмотрительном материнском сердце.

Анна Михайловна еще более покраснела и, быстро наклонившись, с порывом страстной нежности обняла девочку; последняя приняла неожиданно бурную ласку все с тем же ясным, хотя и несколько удивленным взглядом.

VIII

С этого дня между посессорским домиком и усадьбой Попельских завязались ближайшие отношения. Девочка, которую звали Эвелиной, приходила ежедневно в усадьбу, а через некоторое время она тоже поступила ученицей к Максиму. Сначала этот план совместного обучения не очень понравился пану Яскульскому. Во-первых, он полагал, что если женщина умеет записать белье и вести домашнюю расходную книгу, то этого совершенно достаточно; во-вторых, он был добрый католик и считал, что Максиму не следовало воевать с австрийцами, вопреки ясно выраженной воле «отца папежа». Наконец его твердое убеждение состояло в том, что на небе есть бог, а Вольтер и вольтерианцы кипят в адской смоле, каковая судьба, по мнению многих, была уготована и пану Максиму. Однако при ближайшем знакомстве он должен был сознаться, что этот еретик и забияка — человек очень приятного нрава и большого ума, и вследствие этого посессор пошел на компромисс.

Тем не менее некоторое беспокойство шевелилось в глубине души старого шляхтича, и потому, приведя девочку для первого урока, он счел уместным обратиться к ней с торжественною и напыщенною речью, которая, впрочем, больше назначалась для слуха Максима.

— Вот что, Веля.. — сказал он, взяв дочь за плечо и посматривая на ее будущего учителя.— Помни всегда, что на небе есть бог, а в Риме святой его «папеж». Это тебе говорю я, Валентин Яскульский, и ты должна мне верить потому, что я твой отец,— это *primo* *.

---

* Во-первых *(лат.)*.

При этом последовал новый внушительный взгляд в сторону Максима; пан Яскульский подчеркивал свою латынь, давая понять, что и он не чужд науке и в случае чего его провести трудно

— *Secundo* *, я — шляхтич славного герба, в котором вместе с «копной и вороной» недаром обозначается крест в синем поле. Яскульские, будучи хорошими рыцарями, не раз меняли мечи на требники и всегда смыслили кое-что в делах неба, поэтому ты должна мне верить Ну, а в остальном, что касается *orbis terrarum*, то есть всего земного, слушай, что тебе скажет пан Максим Яценко, и учись хорошо.

— Не бойтесь, пан Валентин,— улыбаясь, ответил на эту речь Максим,— мы не вербуем паненок для отряда Гарибальди.

IX

Совместное обучение оказалось очень полезным для обоих. Петрусь шел, конечно, впереди, но это не исключало некоторого соревнования. Кроме того, он помогал ей часто выучивать уроки, а она находила иногда очень удачные приемы, чтобы объяснить мальчику что-либо трудно понятное для него, слепого. Кроме того, ее общество вносило в его занятия нечто своеобразное, придавало его умственной работе особый тон приятного возбуждения.

Вообще эта дружба была настоящим даром благосклонной судьбы. Теперь мальчик не искал уже полного уединения; он нашел то общение, которого не могла ему дать любовь взрослых, и в минуту чуткого душевного затишья ему приятна была ее близость. На утес или на реку они всегда отправлялись вдвоем. Когда он играл, она слушала его с наивным восхищением. Когда же он откладывал дудку, она начинала передавать ему свои детски-живые впечатления от окружающей природы; конечно, она не умела выражать их с достаточной полнотой подходящими словами, но зато в ее несложных рассказах, в их тоне он улавливал характерный колорит каждого описываемого явления. Так, когда она говорила, например, о темноте раскинувшейся над землею сырой и

* Во-вторых (*лат*.).

черной ночи, он будто слышал эту темноту в сдержанно звучащих тонах ее робеющего голоса. Когда же, подняв кверху задумчивое лицо, она сообщала ему: «Ах, какая туча идет, какая туча темная-претемная!» — он ощущал сразу будто холодное дуновение и слышал в ее голосе пугающий шорох ползущего по небу, где-то в далекой высоте, чудовища.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Есть натуры, будто заранее предназначенные для тихого подвига любви, соединенной с печалью и заботой,— натуры, для которых эти заботы о чужом горе составляют как бы атмосферу, органическую потребность. Природа заранее наделила их спокойствием, без которого немыслим будничный подвиг жизни, она предусмотрительно смягчила в них личные порывы, запросы личной жизни, подчинив эти порывы и эти запросы господствующей черте характера. Такие натуры кажутся нередко слишком холодными, слишком рассудительными, лишенными чувства. Они глухи на страстные призывы грешной жизни и идут по грустному пути долга так же спокойно, как и по пути самого яркого личного счастья. Они кажутся холодными, как снежные вершины, и так же, как они, величавы Житейская пошлость стелется у их ног; даже клевета и сплетни скатываются по их белоснежной одежде, точно грязные брызги с крыльев лебедя...

Маленькая знакомка Петра представляла в себе все черты этого типа, который редко вырабатывается жизнью и воспитанием; он, как талант, как гений, дается в удел избранным натурам и проявляется рано. Мать слепого мальчика понимала, какое счастье случай послал ее сыну в этой детской дружбе. Понимал это и старый Максим, которому казалось, что теперь у его питомца есть все, чего ему еще недоставало, что теперь душевное развитие слепого пойдет тихим и ровным, ничем не смущаемым ходом...

Но это была горькая ошибка.

II

В первые годы жизни ребенка Максим думал, что он совершенно овладел душевным ростом мальчика, что этот рост совершается если не под прямым его влиянием, то во всяком случае ни одна новая сторона его. ни одно новое приобретение в этой области не избегнет его наблюдения и контроля. Но когда настал в жизни ребенка период, который является переходною гранью между детством и отрочеством, Максим увидел, как неосновательны эти гордые педагогические мечтания. Чуть не каждая неделя приносила с собой что-нибудь новое, по временам совершенно неожиданное по отношению к слепому, и когда Максим старался найти источники иной новой идеи или нового представления, появлявшихся у ребенка, то ему приходилось теряться. Какая-то неведомая сила работала в глубине детской души, выдвигая из этой глубины неожиданные проявления самостоятельного душевного роста, и Максиму приходилось останавливаться с чувством благоговения перед таинственными процессами жизни, которые вмешивались таким образом в его педагогическую работу. Эти толчки природы, ее даровые откровения, казалось, доставляли ребенку такие представления, которые не могли быть приобретены личным опытом слепого, и Максим угадывал здесь неразрывную связь жизненных явлений, которая проходит, дробясь в тысяче процессов, через последовательный ряд отдельных жизней

Сначала это наблюдение испугало Максима. Видя, что не он один владеет умственным строем ребенка, что в этом строе сказывается что-то, от него не зависящее и выходящее из-под его влияния, он испугался за участь своего питомца, испугался возможности таких запросов, которые могли бы послужить для слепого только причиной неутолимых страданий. И он пытался разыскать источники этих, откуда-то пробивающихся, родников, чтоб... навсегда закрыть их для блага слепого ребенка.

Не ускользнули эти неожиданные проблески и от внимания матери. Однажды утром Петрик прибежал к ней в необыкновенном волнении.

— Мама, мама! — закричал он.— Я *видел* сон.

— Что же ты *видел*, мой мальчик? — спросила она с печальным сомнением в голосе.

— Я видел во сне, что... я вижу тебя и Максима, и еще... что я все вижу... Так хорошо, так хорошо, мамочка!

— Что же еще ты видел, мой мальчик?

— Я не помню.

— А меня помнишь?

— Нет,— сказал мальчик в раздумье.— Я забыл все.. А все-таки я видел, право же, видел...— добавил он после минутного молчания, и его лицо сразу омрачилось. На незрячих глазах блеснула слеза...

Это повторялось еще несколько раз, и всякий раз мальчик становился грустнее и тревожнее.

III

Однажды, проходя по двору, Максим услышал в гостиной, где обыкновенно происходили уроки музыки, какие-то странные музыкальные упражнения. Они состояли из двух нот. Сначала от быстрых, последовательных, почти слившихся ударов по клавише дрожала самая высокая яркая нота верхнего регистра, затем она резко сменялась низким раскатом баса Полюбопытствовав узнать, что могли означать эти странные экзерциции, Максим заковылял по двору и через минуту вошел в гостиную. В дверях он остановился как вкопанный перед неожиданною картиной.

Мальчик, которому шел уже десятый год, сидел у ног матери на низеньком стуле. Рядом с ним, вытянув шею и поводя по сторонам длинным клювом, стоял молодой прирученный аист, которого Иохим подарил паничу. Мальчик каждое утро кормил его из своих рук, и птица всюду сопровождала своего нового друга-хозяина. Теперь Петрусь придерживал аиста одною рукой, а другою тихо проводил вдоль его шеи и затем по туловищу с выражением усиленного внимания на лице. В это самое время мать, с пылающим, возбужденным лицом и печальными глазами, быстро ударяла пальцем по клавише, вызывая из инструмента непрерывно звеневшую высокую ноту. Вместе с тем, слегка перегнувшись на своем стуле, она с болезненной внимательностью вглядывалась в лицо ребенка Когда же рука мальчика, скользя по яркобелым перьям, доходила до того места, где эти перья

резко сменяются черными на концах крыльев, Анна Михайловна сразу переносила руку на другую клавишу, и низкая басовая нота глухо раскатывалась по комнате.

Оба, и мать и сын, так были поглощены своим занятием, что не заметили прихода Максима, пока он, в свою очередь, очнувшись от удивления, не прервал сеанс вопросом:

— Аннуся! что это значит?

Молодая женщина, встретив испытующий взгляд брата, застыдилась, точно застигнутая строгим учителем на месте преступления.

— Вот видишь ли,— заговорила она смущенно,— он говорит, что различает некоторую разницу в окраске аиста, только не может ясно понять, в чем эта разница... Право, он сам первый заговорил об этом, и мне кажется, что это правда...

— Ну, так что же?

— Ничего, я только хотела ему... немножко... объяснить эту разницу различием звуков... Не сердись, Макс, но, право, я думаю, что это очень похоже...

Эта неожиданная идея поразила Максима таким удивлением, что он в первую минуту не знал, что сказать сестре. Он заставил ее повторить свои опыты и, присмотревшись к напряженному выражению лица слепого, покачал головой.

— Послушай меня, Анна,— сказал он, оставшись наедине с сестрою.— Не следует будить в мальчике вопросов, на которые ты никогда, никогда не в состоянии будешь дать полного ответа.

— Но ведь это он сам заговорил первый, право...— прервала Анна Михайловна.

— Все равно. Мальчику остается только свыкнуться со своей слепотой, а нам надо стремиться к тому, чтобы он забыл о свете. Я стараюсь, чтобы никакие внешние вызовы не наводили его на бесплодные вопросы, и если б удалось устранить эти вызовы, то мальчик не сознавал бы недостатка в своих чувствах, как и мы, обладающие всеми пятью органами, не грустим о том, что у нас нет шестого.

— Мы грустим,— тихо возразила молодая женщина.

— Аня!

— Мы грустим,— ответила она упрямо...— Мы часто грустим о невозможном...

Впрочем, сестра подчинилась доводам брата, но на этот раз он ошибался: заботясь об устранении внешних вызовов, Максим забывал те могучие побуждения, которые были заложены в детскую душу самою природою.

IV

«Глаза,— сказал кто-то,— зеркало души». Быть может, вернее было бы сравнить их с окнами, которыми вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего цветного мира. Кто может сказать, какая часть нашего душевного склада зависит от ощущений света?

Человек — одно звено в бесконечной цепи жизней, которая тянется через него из глубины прошедшего к бесконечному будущему. И вот, в одном из таких звеньев, слепом мальчике, роковая случайность закрыла эти окна: жизнь должна пройти вся в темноте. Но значит ли это, что в его душе порвались навеки те струны, которыми душа откликается на световые впечатления? Нет, и через это темное существование должна была протянуться и передаться последующим поколениям внутренняя восприимчивость к свету. Его душа была цельная человеческая душа, со всеми ее способностями, а так как всякая способность носит в самой себе стремление к удовлетворению, то и в темной душе мальчика жило неутолимое стремление к свету.

Нетронутыми лежали где-то в таинственной глубине полученные по наследству и дремавшие в неясном существовании «возможностей» силы, с первым светлым лучом готовые подняться ему навстречу. Но окна остаются закрытыми: судьба мальчика решена — ему не видать никогда этого луча, его жизнь вся пройдет в темноте!..

И темнота эта была полна призраков.

Если бы жизнь ребенка проходила среди нужды и горя — это, быть может, отвлекло бы его мысль к внешним причинам страдания. Но близкие люди устранили от него все, что могло бы его огорчать. Ему доставили полное спокойствие и мир, и теперь самая тишина, царившая в его душе, способствовала тому, что внут-

ренняя неудовлетворенность слышалась яснее. Среди тишины и мрака, его окружавших, вставало смугное неумолкающее сознание какой-то потребности, искавшей удовлетворения, являлось стремление оформить дремлющие в душевной глубине, не находившие исхода, силы.

Отсюда — какие-то смутные предчувствия и порывы, вроде того стремления к полету, которое каждый испытывал в детстве и которое сказывается в этом возрасте своими чудными снами.

Отсюда, наконец, вытекали инстинктивные потуги детской мысли, отражавшиеся на лице болезненным вопросом. Эти наследственные, но не тронутые в личной жизни «возможности» световых представлений вставали, точно призраки, в детской головке, бесформенные, неясные и темные, вызывая мучительные и смутные усилия.

Природа подымалась бессознательным протестом против индивидуального «случая» за нарушенный общий закон.

V

Таким образом, сколько бы ни старался Максим устранять все внешние вызовы, он никогда не мог уничтожить внутреннего давления неудовлетворенной потребности. Самое большее, что он мог достигнуть своею осмотрительностью, это — не будить ее раньше времени, не усиливать страданий слепого. В остальном тяжелая судьба ребенка должна была идти своим чередом, со всеми ее суровыми последствиями.

И она надвигалась темною тучей. Природная живость мальчика с годами все более и более исчезала, подобно убывающей волне, между тем как смутно, но беспрерывно звучавшее в душе его грустное настроение усиливалось, сказываясь на его темпераменте. Смех, который можно было слышать во время его детства при каждом особенно ярком новом впечатлении, теперь раздавался все реже и реже. Все смеющееся, веселое, отмеченное печатью юмора, было ему мало доступно; но зато все смутное, неопределенно-грустное и туманно-меланхолическое, что слышится в южной природе и отражается в народной песне, он улавливал с замечатель-

ною полнотой. Слезы являлись у него каждый раз на глазах, когда он слушал, как «в полі магыла з вітром говорила», и он сам любил ходить в поле слушать этот говор. В нем все больше и больше вырабатывалась склонность к уединению, и, когда в часы, свободные от занятий, он уходил один на свою одинокую прогулку, домашние старались не ходить в ту сторону, чтобы не нарушить его уединения. Усевшись где-нибудь на кургане в степи, или на холмике над рекой, или, наконец, на хорошо знакомом утесе, он слушал лишь шелест листьев да шепот травы или неопределенные вздохи степного ветра. Все это особенным образом гармонировало с глубиной его душевного настроения. Насколько он мог понимать природу, тут он понимал ее вполне и до конца. Тут она не тревожила его никакими определенными и неразрешимыми вопросами; тут этот ветер вливался ему прямо в душу, а трава, казалось, шептала ему тихие слова сожаления, и, когда душа юноши, настроившись в лад с окружающею тихою гармонией, размягчалась от теплой ласки природы, он чувствовал, как что-то подымается в груди, прибывая и разливаясь по всему его существу. Он припадал тогда к сыроватой, прохладной траве и тихо плакал, но в этих слезах не было горечи. Иногда же он брал дудку и совершенно забывался, подбирая задумчивые мелодии к своему настроению и в лад с тихою гармонией степи.

Понятно, что всякий человеческий звук, неожиданно врывавшийся в это настроение, действовал на него болезненным, резким диссонансом. Общение в подобные минуты возможно только с очень близкою, дружескою душой, а у мальчика был только один такой друг его возраста, именно — белокурая девочка из посессорской усадьбы...

И эта дружба крепла все больше, отличаясь полною взаимностью. Если Эвелина вносила в их взаимные отношения свое спокойствие, свою тихую радость, сообщала слепому новые оттенки окружающей жизни, то и он, в свою очередь, давал ей... свое горе. Казалось, первое знакомство с ним нанесло чуткому сердцу маленькой женщины кровавую рану: выньте из раны кинжал, нанесший удар, и она истечет кровью. Впервые познакомившись на холмике в степи со слепым мальчиком,

маленькая женщина ощутила острое страдание сочувствия, и теперь его присутствие становилось для нее все более необходимым. В разлуке с ним рана будто раскрывалась вновь, боль оживала, и она стремилась к своему маленькому другу, чтобы неустанною заботой утолить свое собственное страдание.

VI

Однажды в теплый осенний вечер оба семейства сидели на площадке перед домом, любуясь звездным небом, синевшим глубокою лазурью и горевшим огнями. Слепой, по обыкновению, сидел рядом с своею подругой около матери.

Все на минуту смолкли. Около усадьбы было совсем тихо; только листья по временам, чутко встрепенувшись, бормотали что-то невнятное и тотчас же смолкали.

В эту минуту блестящий метеор, сорвавшись откуда-то из глубины темной лазури, пронесся яркою полосой по небу, оставив за собой фосфорический след, угасший медленно и незаметно. Все подняли глаза. Мать, сидевшая об руку с Петриком, почувствовала, как он встрепенулся и вздрогнул.

— Что это... было? — повернулся он к ней взволнованным лицом.

— Это звезда упала, дитя мое.

— Да, звезда,— прибавил он задумчиво.— Я так и знал.

— Откуда же ты мог знать, мой мальчик? — переспросила мать с печальным сомнением в голосе.

— Нет, это он говорит правду,— вмешалась Эвелина.— Он многое знает... «так»...

Уже эта все развивавшаяся чуткость указывала, что мальчик заметно близится к критическому возрасту между отрочеством и юношеством. Но пока его рост совершался довольно спокойно. Казалось даже, будто он свыкся с своей долей, и странно-уравновешенная грусть без просвета, но и без острых порываний, которая стала обычным фоном его жизни, теперь несколько смягчилась. Но это был лишь период временного затишья. Эти роздыхи природа дает как будто нарочно; в них молодой организм устаивается и крепнет для новой бури.

Во время этих затиший незаметно набираются и зреют новые вопросы. Один толчок — и все душевное спокойствие всколеблется до глубины, как море под ударом внезапно налетевшего шквала.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Так прошло еще несколько лет.

Ничто не изменилось в тихой усадьбе. По-прежнему шумели буки в саду, только их листва будто потемнела, сделалась еще гуще; по-прежнему белели приветливые стены, только они чуть-чуть покривились и осели; по-прежнему хмурились соломенные стрехи, и даже свирель Иохима слышалась в те же часы из конюшни; только теперь уже и сам Иохим, остававшийся холостым конюхом в усадьбе, предпочитал слушать игру слепого панича на дудке или на фортепиано — безразлично.

Максим поседел еще больше. У Попельских не было других детей, и потому слепой первенец по-прежнему остался центром, около которого группировалась вся жизнь усадьбы. Для него усадьба замкнулась в своем тесном кругу, довольствуясь своею собственною тихою жизнью, к которой примыкала не менее тихая жизнь посессорской «хатки». Таким образом, Петр, ставший уже юношей, вырос, как тепличный цветок, огражденный от резких сторонних влияний далекой жизни.

Он, как и прежде, стоял в центре громадного темного мира. Над ним, вокруг него, всюду протянулась тьма без конца и пределов: чуткая тонкая организация подымалась, как упруго натянутая струна, навстречу всякому впечатлению, готовая задрожать ответными звуками. В настроении слепого заметно сказывалось это чуткое ожидание; ему казалось, что вот-вот эта тьма протянется к нему своими невидимыми руками и тронет в нем что-то такое, что так томительно дремлет в душе и ждет пробуждения.

Но знакомая добрая и скучная тьма усадьбы шумела только ласковым шепотом старого сада, навевая смут-

ную, баюкающую, успокоительную думу. О далеком мире слепой знал только из песен, из истории, из книг. Под задумчивый шепот сада, среди тихих будней усадьбы, он узнавал лишь по рассказам о бурях и волнениях далекой жизни. И все это рисовалось ему сквозь какую-то волшебную дымку, как песня, как былина, как сказка.

Казалось, так было хорошо. Мать видела, что огражденная будто стеной душа ее сына дремлет в каком-то заколдованном полусне, искусственном, но спокойном. И она не хотела нарушать этого равновесия, боялась его нарушить.

Эвелина, выросшая и сложившаяся как-то совершенно незаметно, глядела на эту заколдованную тишь своими ясными глазами, в которых можно было по временам подметить что-то вроде недоумения, вопроса о будущем, но никогда не было и тени нетерпения. Попельский-отец привел имение в образцовый порядок, но до вопросов о будущем его сына доброму человеку, конечно, не было ни малейшего дела. Он привык, что все делается само собой. Один только Максим, по своей натуре, с трудом выносил эту тишь, и то как нечто временное, входившее поневоле в его планы. Он считал необходимым дать душе юноши устояться, окрепнуть, чтобы быть в состоянии встретить резкое прикосновение жизни.

Между тем там, за чертой этого заколдованного круга, жизнь кипела, волновалась, бурлила. И вот, наконец, наступило время, когда старый наставник решился разорвать этот круг, отворить дверь теплицы, чтобы в нее могла ворваться свежая струя наружного воздуха.

II

Для первого случая он пригласил к себе старого товарища, который жил верстах в семидесяти от усадьбы Попельских. Максим иногда бывал у него и прежде, но теперь он знал, что у Ставрученки гостит приезжая молодежь, и написал ему письмо, приглашая всю компанию. Приглашение это было охотно принято. Старики были связаны давнею дружбой, а молодежь помнила довольно громкое некогда имя Максима Яценка, с которым связывались известные традиции. Один из сыновей Ставрученка был студент киевского университета по модному тогда филологическому факультету. Другой изучал

музыку в петербургской консерватории. С ними приехал еще юный кадет, сын одного из ближайших помещиков.

Ставрученко был крепкий старик, седой, с длинными казацкими усами и в широких казацких шароварах. Он носил кисет с табаком и трубку привязанными у пояса, говорил не иначе, как по-малорусски, и рядом с двумя сыновьями, одетыми в белые свитки и расшитые малороссийские сорочки, очень напоминал гоголевского Бульбу с сыновьями. Однако в нем не было и следов романтизма, отличавшего гоголевского героя. Наоборот, он был отличный практик-помещик, всю жизнь превосходно ладивший с крепостными отношениями, а теперь, когда эта «неволя» была уничтожена, сумевший хорошо приноровиться и к новым условиям. Он знал народ, как знали его помещики, то есть он знал каждого мужика своей деревни и у каждого мужика знал каждую корову и чуть не каждый лишний карбованец в мужицкой мошне.

Зато, если он и не дрался с своими сыновьями на кулачки, как Бульба, то все же между ними происходили постоянные и очень свирепые стычки, которые не ограничивались ни временем, ни местом. Всюду, дома и в гостях, по самому ничтожному поводу между стариком и молодежью вспыхивали нескончаемые споры. Начиналось обыкновенно с того, что старик, посмеиваясь, дразнил «идеальных паничей»; те горячились, старик тоже разгорячался, и тогда подымался самый невообразимый галдеж, в котором обеим сторонам доставалось не на шутку.

Это было отражение известной розни «отцов и детей»; только здесь это явление сказывалось в значительно смягченной форме. Молодежь, с детства отданная в школы, деревню видела только в короткое каникулярное время, и потому у ней не было того конкретного знания народа, каким отличались отцы-помещики. Когда поднялась в обществе волна «народолюбия», заставшая юношей в высших классах гимназии, они обратились к изучению родного народа, но начали это изучение с книжек. Второй шаг привел их к непосредственному изучению проявлений «народного духа» в его творчестве. Хождение в народ паничей в белых свитках и расшитых сорочках было тогда сильно распространено в Юго-за-

падном крае. На изучение экономических условий не обращалось особенного внимания. Молодые люди записывали слова и музыку народных думок и песен, изучали предания, сверяли исторические факты с их отражением в народной памяти, вообще смотрели на мужика сквозь поэтическую призму национального романтизма. От этого, пожалуй, не прочь были и старики, но все же они никогда не могли договориться с молодежью до какого-либо соглашения.

— Вот, послушай ты его,— говорил Ставрученко Максиму, лукаво подталкивая его локтем, когда студент ораторствовал с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами.— Вот, собачий сын, говорит, как пишет! Подумаешь, и в самом деле голова! А расскажи ты нам, ученый человек, как тебя мой Нечипор надул, а?

Старик поводил усами и хохотал, рассказывая с чисто хохлацким юмором соответствующий случай. Юноши краснели, но в свою очередь не оставались в долгу. «Если они не знают Нечипора и Хведька из такой-то деревни, зато они изучают весь народ в его общих проявлениях; они смотрят с высшей точки зрения, при которой только и возможны выводы и широкие обобщения. Они обнимают одним взглядом далекие перспективы, тогда как старые и заматерелые в рутине практики из-за деревьев не видят всего леса».

Старику не было неприятно слушать мудреные речи сыновей.

— Так и видно, что недаром в школе учились,— говаривал он, самодовольно поглядывая на слушателей.— А все же, я вам скажу, мой Хведько вас обоих и введет, и выведет, как телят на веревочке, вот что!.. Ну, а я и сам его, шельму, в свой кисет уложу и в карман спрячу. Вот и значит, что вы передо мною все равно, что щенята перед старым псом.

III

В данную минуту один из подобных споров только что затих. Старшее поколение удалилось в дом, и сквозь открытые окна слышно было по временам, как Ставрученко с торжеством рассказывал разные комические эпизоды, и слушатели весело хохотали.

Молодые люди оставались в саду. Студент, подостлав под себя свитку и заломив смушковую шапку, разлегся на траве с несколько тенденциозною непринужденностью. Его старший брат сидел на завалинке рядом с Эвелиной. Кадет в аккуратно застегнутом мундире помещался с ним рядом, а несколько в стороне, опершись на подоконник, сидел, опустив голову, слепой; он обдумывал только что смолкшие и глубоко взволновавшие его споры.

— Что вы думаете обо всем, что здесь говорилось, панна Эвелина? — обратился к своей соседке молодой Ставрученко.— Вы, кажется, не проронили ни одного слова.

— Все это очень хорошо, то есть то, что вы говорили отцу. Но...

— Но... что же?

Девушка ответила не сразу. Она положила к себе на колени свою работу, разгладила ее руками и, слегка наклонив голову, стала рассматривать ее с задумчивым видом. Трудно было разобрать, думала ли она о том, что ей следовало взять для вышивки канву покрупнее, или же обдумывала свой ответ.

Между тем молодые люди с нетерпением ждали этого ответа. Студент приподнялся на локте и повернул к девушке лицо, оживленное любопытством. Ее сосед уставился на нее спокойным, пытливым взглядом. Слепой переменил свою непринужденную позу, выпрямился и потом вытянул голову, отвернувшись лицом от остальных собеседников.

— Но,— проговорила она тихо, все продолжая разглаживать рукой свою вышивку,— у всякого человека, господа, своя дорога в жизни.

— Господи! — резко воскликнул студент,— какое благоразумие! Да вам, моя панночка, сколько лет, в самом деле?

— Семнадцать,— ответила Эвелина просто, но тотчас же прибавила с наивно-торжествующим любопытством: — а ведь вы думали, гораздо больше, не правда ли?

Молодые люди засмеялись.

— Если бы меня спросили мнение насчет вашего возраста,— сказал ее сосед,— я сильно колебался бы меж-

ду тринадцатью и двадцатью тремя. Правда, иногда вы кажетесь совсем-таки ребенком, а рассуждаете порой, как опытная старушка.

— В серьезных делах, Гаврило Петрович, нужно и рассуждать серьезно,— произнесла маленькая женщина докторальным тоном, опять принимаясь за работу.

Все на минуту смолкли. Иголка Эвелины опять мерно заходила по вышивке, а молодые люди оглядывали с любопытством миниатюрную фигуру благоразумной особы.

IV

Эвелина, конечно, значительно выросла и развилась со времени первой встречи с Петром, но замечание студента насчет ее вида было совершенно справедливо. При первом взгляде на это небольшое, худощавое созданьице казалось, что это еще девочка, но в ее неторопливых, размеренных движениях сказывалась нередко солидность женщины. То же впечатление производило и ее лицо. Такие лица бывают, кажется, только у славянок. Правильные красивые черты зарисованы плавными, холодными линиями; голубые глаза глядят ровно, спокойно; румянец редко является на этих бледных щеках, но это не та обычная бледность, которая ежеминутно готова вспыхнуть пламенем жгучей страсти; это скорее холодная белизна снега. Прямые светлые волосы Эвелины чуть-чуть оттенялись на мраморных висках и спадали тяжелою косой, как будто оттягивавшей назад ее голову при походке.

Слепой тоже вырос и возмужал. Всякому, кто посмотрел бы на него в ту минуту, когда он сидел поодаль от описанной группы, бледный, взволнованный и красивый, сразу бросилось бы в глаза это своеобразное лицо, на котором так резко отражалось всякое душевное движение. Черные волосы красивою волной склонялись над выпуклым лбом, по которому прошли ранние морщинки. На щеках быстро вспыхивал густой румянец, и так же быстро разливалась матовая бледность. Нижняя губа, чуть-чуть оттянутая углами вниз, по временам как-то напряженно вздрагивала, брови чутко настораживались и шевелились, а большие красивые глаза, глядевшие ровным и неподвижным взглядом, придавали

лицу молодого человека какой-то не совсем обычный мрачный оттенок.

— Итак,— насмешливо заговорил студент после некоторого молчания,— панна Эвелина полагает, что все, с чем мы говорили, недоступно женскому уму, что удел женщины — узкая сфера детской и кухни.

В голосе молодого человека слышалось самодовольство (тогда эти словечки были совсем новенькие) и вызывающая ирония; на несколько секунд все смолкли, и на лице девушки проступил нервный румянец.

— Вы слишком торопитесь со своими заключениями,— сказала она.— Я понимаю все, о чем здесь говорилось,— значит, женскому уму это доступно. Я говорила только о себе лично.

Она смолкла и наклонилась над шитьем с таким вниманием к работе, что у молодого человека не хватило решимости продолжать дальнейший допрос.

— Странно,— пробормотал он.— Можно подумать, что вы распланировали уже свою жизнь до самой могилы.

— Что же тут странного, Гаврило Петрович? — тихо возразила девушка — Я думаю, даже Илья Иванович (имя кадета) наметил уже свою дорогу, а ведь он моложе меня.

— Это правда,— сказал кадет, довольный этим вызовом.— Я недавно читал биографию N. N. Он тоже поступал по ясному плану: в двадцать лет женился, а в тридцать пять командовал частью.

Студент ехидно засмеялся, девушка слегка покраснела.

— Ну, вот видите,— сказала она через минуту с какою-то холодною резкостью в голосе,— у всякого своя дорога.

Никто не возражал больше. Среди молодой компании водворилась серьезная тишина, под которою чувствуется так ясно недоумелый испуг: все смутно поняли, что разговор перешел на деликатную личную почву, что под простыми словами зазвучала где-то чутко натянутая струна...

И среди этого молчания слышался только шорох темнеющего и будто чем-то недовольного старого сада.

V

Все эти беседы, эти споры, эта волна кипучих молодых запросов, надежд, ожиданий и мнений — все это нахлынуло на слепого неожиданно и бурно. Сначала он прислушивался к ним с выражением восторженного изумления, но вскоре он не мог не заметить, что эта живая волна катится мимо него, что ей до него нет дела. К нему не обращались с вопросами, у него не спрашивали мнений, и скоро оказалось, что он стоит особняком, в каком-то грустном уединении, тем более грустном, чем шумнее была теперь жизнь усадьбы.

Тем не менее он продолжал прислушиваться ко всему, что для него было так ново, и его крепко сдвинутые брови, побледневшее лицо выказывали усиленное внимание. Но это внимание было мрачно, под ним таилась тяжелая и горькая работа мысли.

Мать смотрела на сына с печалью в глазах. Глаза Эвелины выражали сочувствие и беспокойство Один Максим будто не замечал, какое действие производит шумное общество на слепого, и радушно приглашал гостей наведываться почаще в усадьбу, обещая молодым людям обильный этнографический материал к следующему приезду.

Гости обещали вернуться и уехали. Прощаясь, молодые люди радушно пожимали руки Петра. Он порывисто отвечал на эти пожатия и долго прислушивался, как стучали по дороге колеса их брички. Затем он быстро повернулся и ушел в сад.

С отъездом гостей в усадьбе все стихло, но эта тишина показалась слепому какою-то особенной, необычной и странной. В ней слышалось как будто признание, что здесь произошло что-то особенно важное. В смолкших аллеях, отзывавшихся только шепотом буков и сирени, слепому чуялись отголоски недавних разговоров. Он слышал также в открытое окно, как мать и Эвелина о чем-то спорили с Максимом в гостиной. В голосе матери он заметил мольбу и страдание, голос Эвелины звучал негодованием, а Максим, казалось, страстно, но твердо отражал нападение женщин. С приближением Петра эти разговоры мгновенно смолкали.

Максим сознательно, беспощадною рукой пробил

первую брешь в стене, окружавшей до сих пор мир слепого. Гулкая беспокойная первая волна уже хлынула в пролом, и душевное равновесие юноши дрогнуло под этим первым ударом.

Теперь ему казалось уже тесно в его заколдованном круге. Его тяготила спокойная тишь усадьбы, ленивый шепот и шорох старого сада, однообразие юного душевного сна. Тьма заговорила с ним своими новыми обольстительными голосами, заколыхалась новыми смутными образами, теснясь с тоскливою суетой заманчивого оживления.

Она звала его, манила, будила дремавшие в душе запросы, и уже эти первые призывы сказались в его лице бледностью, а в душе — тупым, хотя еще смутным страданием.

От женщин не ускользнули эти тревожные признаки. Мы, зрячие, видим отражение душевных движений на чужих лицах и потому приучаемся скрывать свои собственные. Слепые в этом отношении совершенно беззащитны, и потому на побледневшем лице Петра можно было читать, как в интимном дневнике, оставленном открытым в гостиной... На нем была написана мучительная тревога. Женщины видели, что Максим тоже замечает все это, но это входит в какие-то планы старика. Обе они считали это жестокостью, и мать хотела бы своими руками оградить сына. «Теплица? — что ж такое, если ее ребенку до сих пор было хорошо в теплице? Пусть будет так и дальше, навсегда... Спокойно, тихо, невозмутимо...» Эвелина не высказывала, по-видимому, всего, что было у нее на душе, но с некоторых пор она переменилась к Максиму и стала возражать против некоторых, иногда совсем незначительных его предложений с небывалою резкостью.

Старик смотрел на нее из-под бровей пытливыми глазами, которые встречались порой с гневным, сверкающим взглядом молодой девушки. Максим покачивал головой, бормотал что-то и окружал себя особенно густыми клубами дыма, что было признаком усиленной работы мысли; но он твердо стоял на своем и порой, ни к кому не обращаясь, отпускал презрительные сентенции насчет неразумной женской любви и короткого бабьего ума, который, как известно, гораздо короче волоса; поэ-

тому женщина не может видеть дальше минутного страдания и минутной радости. Он мечтал для Петра не о спокойствии, а о возможной полноте жизни. Говорят, всякий воспитатель стремится сделать из питомца свое подобие. Максим мечтал о том, что пережил сам и чего так рано лишился: о кипучих кризисах и о борьбе. В какой форме,— он не знал и сам, но упорно стремился расширить для Петра круг живых внешних впечатлений, доступных слепому, рискуя даже потрясениями и душевными переворотами. Он чувствовал, что обе женщины хотят совсем другого...

— Наседка! — говорил он иногда сестре, сердито стуча по комнате своими костылями... Но он сердился редко; большею же частью на доводы сестры он возражал мягко и с снисходительным сожалением, тем более что она каждый раз уступала в споре, когда оставалась наедине с братом; это, впрочем, не мешало ей вскоре опять возобновлять разговор. Но когда при этом присутствовала Эвелина, дело становилось серьезнее; в этих случаях старик предпочитал отмалчиваться. Казалось, между ним и молодою девушкой завязывалась какая-то борьба, и оба они еще только изучали противника, тщательно скрывая свои карты.

VI

Когда через две недели молодые люди опять вернулись вместе с отцом, Эвелина встретила их с холодною сдержанностью. Однако ей было трудно устоять против обаятельного молодого оживления. Целые дни молодежь шаталась по деревне, охотилась, записывала в полях песни жниц и жнецов, а вечером вся компания собиралась на завалинке усадьбы, в саду.

В один из таких вечеров Эвелина не успела спохватиться, как разговор опять перешел на щекотливые темы. Как это случилось, кто начал первый,— ни она, да и никто не мог бы сказать. Это вышло так же незаметно, как незаметно потухла заря и по саду расползлись вечерние тени, как незаметно завел соловей в кустах свою вечернюю песню.

Студент говорил пылко, с тою особенною юношескою страстью, которая кидается навстречу неизвестному

будущему безрасчетно и безрассудно. Была в этой вере в будущее с его чудесами какая-то особенная чарующая сила, почти неодолимая сила привычки...

Молодая девушка вспыхнула, поняв, что этот вызов, быть может без сознательного расчета, был обращен теперь прямо к ней.

Она слушала, низко наклонясь над работой. Ее глаза заискрились, щеки загорелись румянцем, сердце стучало... Потом блеск глаз потух, губы сжались, а сердце застучало еще сильнее, и на побледневшем лице появилось выражение испуга.

Она испугалась оттого, что перед ее глазами будто раздвинулась темная стена, и в этот просвет блеснули далекие перспективы обширного, кипучего и деятельного мира.

Да, он манит ее уже давно. Она не сознавала этого ранее, но в тени старого сада, на уединенной скамейке, она нередко просиживала целые часы, отдаваясь небывалым мечтам. Воображение рисовало ей яркие далекие картины, и в них не было места слепому

Теперь этот мир приблизился к ней; он не только манит ее, он предъявляет на нее какое-то право.

Она кинула быстрый взгляд в сторону Петра, и что-то кольнуло ей сердце. Он сидел неподвижный, задумчивый; вся его фигура казалась отяжелевшей и осталась в ее памяти мрачным пятном. «Он понимает... все»,— мелькнула у нее мысль, быстрая, как молния, и девушка почувствовала какой-то холод. Кровь отлила к сердцу, а на лице она сама ощутила внезапную бледность Ей представилось на мгновение, что она уже там, в этом далеком мире, а он сидит вот здесь один, с опущенною головой, или нет... Он там, на холмике, над речкой, этот слепой мальчик, над которым она плакала в тот вечер...

И ей стало страшно. Ей показалось, что кто-то готовится вынуть нож из ее давнишней раны.

Она вспомнила долгие взгляды Максима. Так вот что значили эти молчаливые взгляды! Он лучше ее самой знал ее настроение, он угадал, что в ее сердце возможна еще борьба и выбор, что она в себе не уверена... Но нет,— он ошибается! Она знает свой первый шаг, а там она посмотрит, что можно будет взять у жизни еще...

Она вздохнула трудно и тяжело, как бы переводя дыхание после тяжелой работы, и оглянулась кругом. Она не могла бы сказать, долго ли длилось молчание, давно ли смолк студент, говорил ли он еще что-нибудь... Она посмотрела туда, где за минуту сидел Петр

Его не было на прежнем месте.

VII

Тогда, спокойно сложив работу, она тоже поднялась.

— Извините, господа,— сказала она, обращаясь к гостям.— Я вас на время оставлю одних.

И она пошла вдоль темной аллеи.

Этот вечер был исполнен тревоги не для одной Эвелины. На повороте аллеи, где стояла скамейка, девушка услыхала взволнованные голоса. Максим разговаривал с сестрой.

— Да, о ней я думал в этом случае не менее, чем о нем,— говорил старик сурово.— Подумай, ведь она еще ребенок, не знающий жизни! Я не хочу верить, что ты желала бы воспользоваться неведением ребенка.

В голосе Анны Михайловны, когда она ответила, слышались слезы.

— А что же, Макс, если... если она... Что же будет тогда с моим мальчиком?

— Будь, что будет! — твердо и угрюмо ответил старый солдат.— Тогда посмотрим; во всяком случае на нем не должно тяготеть сознание чужой испорченной жизни... Да и на нашей совести тоже... Подумай об этом, Аня,— добавил он мягче.

Старик взял руку сестры и нежно поцеловал ее. Анна Михайловна склонила голову.

— Мой бедный мальчик, бедный... Лучше бы ему никогда не встречаться с нею...

Девушка скорее угадала эти слова, чем расслышала: так тихо вырвался этот стон из уст матери.

Краска залила лицо Эвелины. Она невольно остановилась на повороте аллеи... Теперь, когда она выйдет, оба они увидят, что она подслушала их тайные мысли...

Но через несколько мгновений она гордо подняла голову. Она не хотела подслушивать, и во всяком случае не ложный стыд может остановить ее на ее дороге. К то-

му же этот старик берет на себя слишком много Она сама сумеет распорядиться своею жизнью.

Она вышла из-за поворота дорожки и прошла мимо обоих говоривших спокойно и с высоко поднятою головой. Максим с невольной торопливостью подобрал свой костыль, чтобы дать ей дорогу, а Анна Михайловна посмотрела на нее с каким-то подавленным выражением любви, почти обожания и страха.

Мать будто чувствовала, что эта гордая и белокурая девушка, которая только что прошла с таким гневно вызывающим видом, пронесла с собой счастье или несчастье всей жизни ее ребенка.

VIII

В дальнем конце сада стояла старая, заброшенная мельница. Колеса давно уже не вертелись, валы обросли мхом, и сквозь старые шлюзы просачивалась вода несколькими тонкими, неумолчно звеневшими струйками. Это было любимое место слепого. Здесь он просиживал целые часы на парапете плотины, прислушиваясь к говору сочившейся воды, и умел прекрасно передавать на фортепиано этот говор. Но теперь ему было не до того... Теперь он быстро ходил по дорожке с переполненным горечью сердцем, с искаженным от внутренней боли лицом.

Заслышав легкие шаги девушки, он остановился; Эвелина положила ему на плечо руку и спросила серьезно:

— Скажи мне, Петр, что это с тобой? Отчего ты такой грустный?

Быстро повернувшись, он опять зашагал по дорожке. Девушка пошла с ним рядом.

Она поняла его резкое движение и его молчание и на минуту опустила голову. От усадьбы слышалась песня:

З за крутої горы
Выліталы орлы,
Выліталы, гуркоталы,
Роскоши шукалы...

Смягченный расстоянием, молодой, сильный голос пел о любви, о счастии, о просторе, и эти звуки неслись в тишине ночи, покрывая ленивый шепот сада...

Там были счастливые люди, которые говорили об яркой и полной жизни; она еще несколько минут назад была с ними, опьяненная мечтами об этой жизни, в которой *ему* не было места. Она даже не заметила его ухода, а кто знает, какими долгими показались ему эти минуты одинокого горя...

Эти мысли прошли в голове молодой девушки, пока она ходила рядом с Петром по аллее. Никогда еще не было так трудно заговорить с ним, овладеть его настроением. Однако она чувствовала, что ее присутствие понемногу смягчает его мрачное раздумье.

Действительно, его походка стала тише, лицо спокойнее. Он слышал рядом ее шаги, и понемногу острая душевная боль стихала, уступая место другому чувству. Он не отдавал себе отчета в этом чувстве, но оно было ему знакомо, и он легко подчинялся его благотворному влиянию.

— Что с тобой? — повторила она свой вопрос.

— Ничего особенного,— ответил он с горечью.— Мне только кажется, что я совсем лишний на свете.

Песня около дома на время смолкла, и через минуту послышалась другая. Она доносилась чуть слышно; теперь студент пел старую «думу», подражая тихому напеву бандуристов. Иногда голос, казалось, совсем смолкал, воображением овладевала смутная мечта, и затем тихая мелодия опять пробивалась сквозь шорох листьев...

Петр невольно остановился, прислушиваясь.

— Знаешь,— заговорил он грустно,— мне кажется иногда, что старики правы, когда говорят, что на свете становится с годами все хуже. В старые годы было лучше даже слепым. Вместо фортепиано тогда бы я выучился играть на бандуре и ходил бы по городам и селам... Ко мне собирались бы толпы людей, и я пел бы им о делах их отцов, о подвигах и славе. Тогда и я был бы чем-нибудь в жизни. А теперь? Даже этот кадетик с таким резким голосом, и тот,— ты слышала? — говорит: жениться и командовать частью. Над ним смеялись, а я... а мне даже и это недоступно.

Голубые глаза девушки широко открылись от испуга, и в них сверкнула слеза.

— Это ты наслушался речей молодого Ставручен-

ка,— сказала она в смущении, стараясь придать голосу тон беззаботной шутки.

— Да,— задумчиво ответил Петр и прибавил: — у него очень приятный голос. Красив он?

— Да, он хороший,— задумчиво подтвердила Эвелина, но вдруг, как-то гневно спохватившись, прибавила резко: — Нет, он мне вовсе не нравится! Он слишком самоуверен, и голос у него неприятный и резкий.

Петр выслушал с удивлением эту гневную вспышку. Девушка топнула ногой и продолжала:

— И все это глупости! Это все, я знаю, подстраивает Максим. О, как я ненавижу теперь этого Максима!

— Что ты это, Веля? — спросил удивленно слепой.— Что подстраивает?

— Ненавижу, ненавижу Максима! — упрямо повторяла девушка.— Он со своими расчетами истребил в себе всякие признаки сердца... Не говори, не говори мне о них... И откуда они присвоили себе право распоряжаться чужою судьбой?

Она вдруг порывисто остановилась, сжала свои тонкие руки, так что на них хрустнули пальцы, и как-то по-детски заплакала.

Слепой взял ее за руки с удивлением и участием. Эта вспышка со стороны его спокойной и всегда выдержанной подруги была так неожиданна и необъяснима! Он прислушивался одновременно к ее плачу и к тому странному отголоску, каким отзывался этот плач в его собственном сердце. Ему вспомнились давние годы. Он сидел на холме с такою же грустью, а она плакала над ним так же, как и теперь...

Но вдруг она высвободила руку, и слепой опять удивился: девушка смеялась.

— Какая я, однако, глупая! И о чем это я плачу?

Она вытерла глаза и потом заговорила растроганным и добрым голосом:

— Нет, будем справедливы: оба они хорошие!.. И то, что он говорил сейчас,— хорошо. Но ведь это же не для всех.

— Для всех, кто может,— сказал слепой.

— Какие пустяки! — ответила она ясно, хотя в ее голосе вместе с улыбкой слышались еще недавние слезы.—

Ведь вот и Максим воевал, пока мог, а теперь живет, как может. Ну, и мы...

— Не говори: *мы!* Ты — совсем другое дело...

— Нет, не другое.

— Почему?

— Потому что... Ну да потому, что ведь ты на мне женишься, и, значит, наша жизнь будет одинакова.

Петр остановился в изумлении.

— Я?.. На тебе?.. Значит, ты за меня... замуж?

— Ну да, ну да, конечно! — ответила она с торопливым волнением.— Какой ты глупый! Неужели тебе никогда не приходило это в голову? Ведь это же так просто! На ком же тебе и жениться, как не на мне?

— Конечно,— согласился он с каким-то странным эгоизмом, но тотчас спохватился.— Послушай, Веля,— заговорил он, взяв ее за руку.— Там сейчас говорили: в больших городах девушки учатся всему, перед тобой тоже могла бы открыться широкая дорога... А я...

— Что же ты?

— А я... слепой! — закончил он совершенно нелогично.

И опять ему вспомнилось детство, тихий плеск реки, первое знакомство с Эвелиной и ее горькие слезы при слове «слепой»... Инстинктивно почувствовал он, что теперь опять причиняет ей такую же рану, и остановился. Несколько секунд стояла тишина, только вода тихо и ласково звенела в шлюзах. Эвелины совсем не было слышно, как будто она исчезла. По ее лицу, действительно, пробежала судорога, но девушка овладела собой, и, когда она заговорила, голос ее звучал беспечно и шутливо:

— Так что же, что слепой? — сказала она,— но ведь если девушка полюбит слепого, так и выходить надо за слепого... Это уж всегда так бывает, что же нам делать?

— Полюбит...— сосредоточенно повторил он, и брови его сдвинулись,— он вслушивался в новые для него звуки знакомого слова...— Полюбит? — переспросил он с возрастающим волнением...

— Ну да! Ты и я, мы оба любим друг друга... Какой ты глупый! Ну, подумай сам: мог ли бы ты остаться здесь один, без меня?..

Лицо его сразу побледнело, и незрячие глаза остановились, большие и неподвижные.

Было тихо; только вода все говорила о чем-то, журча и звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет; но тотчас же он опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черемуха шептала темною листвой; песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою...

— Я бы умер,— сказал он глухо.

Ее губы задрожали, как в тот день их первого знакомства, и она сказала с трудом, слабым, детским голосом:

— И я тоже... Без тебя, одна... в далеком свете...

Он сжал ее маленькую руку в своей. Ему казалось странным, что ее тихое ответное пожатие так непохоже на прежние: слабое движение ее маленьких пальцев отражалось теперь в глубине его сердца. Вообще, кроме прежней Эвелины, друга его детства, теперь он чувствовал в ней еще какую-то другую, новую девушку. Сам он показался себе могучим и сильным, а она представилась плачущей и слабой. Тогда, под влиянием глубокой нежности, он привлек ее одною рукой, а другою стал гладить ее шелковистые волосы.

И ему казалось, что все горе смолкло в глубине сердца и что у него нет никаких порывов и желаний, а есть только настоящая минута.

Соловей, некоторое время пробовавший свой голос, защелкал и рассыпался по молчаливому саду неистовою трелью. Девушка встрепенулась и застенчиво отвела руку Петра.

Он не противился и, отпустив ее, вздохнул полною грудью. Он слышал, как она оправляет свои волосы. Его сердце билось сильно, но ровно и приятно; он чувствовал, как горячая кровь разносит по всему телу какую-то новую сосредоточенную силу. Когда через минуту она сказала ему обычным тоном: «Ну, теперь вернемся к гостям», он с удивлением вслушивался в этот милый голос, в котором звучали совершенно новые ноты.

IX

Гости и хозяева собрались в маленькой гостиной; недоставало только Петра и Эвелины. Максим разговаривал со своим старым товарищем, молодые люди сидели

молча у открытых окон; в небольшом обществе господствовало то особенное тихое настроение, в глубине которого ощущается какая-то не для всех ясная, но всеми сознаваемая драма. Отсутствие Эвелины и Петра было как-то особенно заметно. Максим среди разговора кидал короткие выжидающие взгляды по направлению к дверям. Анна Михайловна с грустным и как будто виноватым лицом явно старалась быть внимательною и любезною хозяйкой, и только один пан Попельский, значительно округлевший и как всегда благодушный, дремал на своем стуле в ожидании ужина.

Когда на террасе, которая вела из сада в гостиную, раздались шаги, все глаза повернулись туда. В темном четыреугольнике широких дверей показалась фигура Эвелины, а за нею тихо подымался по ступенькам слепой.

Молодая девушка почувствовала на себе эти сосредоточенные, внимательные взгляды, однако это ее не смутило. Она прошла через комнату своею обычною ровною поступью, и только на одно мгновение, встретив короткий из-под бровей взгляд Максима, она чуть-чуть улыбнулась, и ее глаза сверкнули вызовом и усмешкой. Пани Попельская вглядывалась в своего сына.

Молодой человек, казалось, шел вслед за девушкой, не сознавая хорошо, куда она ведет его. Когда в дверях показалось его бледное лицо и тонкая фигура, он вдруг приостановился на пороге этой освещенной комнаты. Но затем он перешагнул через порог и быстро, хотя с тем же полурассеянным, полусосредоточенным видом подошел к фортепиано.

Хотя музыка была обычным элементом в жизни тихой усадьбы, но вместе с тем это был элемент интимный, так сказать, чисто домашний. В те дни, когда усадьба наполнялась говором и пением приезжей молодежи, Петр ни разу не подходил к фортепиано, на котором играл лишь старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии. Это воздержание делало слепого еще более незаметным в оживленном обществе, и мать с сердечной болью следила за темной фигурой сына, терявшегося среди общего блеска и оживления. Теперь, в первый еще раз, Петр смело и как будто даже не вполне сознательно подходил к своему обычному месту... Каза-

лось, он забыл о присутствии чужих Впрочем, при входе молодых людей в гостиной стояла такая тишина, что слепой мог считать комнату пустою...

Открыв крышку, он слегка тронул клавиши и пробежал по ним несколькими быстрыми легкими аккордами. Казалось, он о чем-то спрашивал не то у инструмента, не то у собственного настроения.

Потом, вытянув на клавишах руки, он глубоко задумался, и тишина в маленькой гостиной стала еще глубже.

Ночь глядела в черные отверстия окон; кое-где из сада заглядывали с любопытством зеленые группы листьев, освещенных светом лампы. Гости, подготовленные только что смолкшим смутным рокотом пианино, отчасти охваченные веянием странного вдохновения, витавшего над бледным лицом слепого, сидели в молчаливом ожидании.

А Петр все молчал, приподняв кверху слепые глаза, и все будто прислушивался к чему-то. В его душе подымались, как расколыхавшиеся волны, самые разнообразные ощущения. Прилив неведомой жизни подхватывал его, как подхватывает волна на морском берегу долго и мирно стоявшую на песке лодку... На лице виднелось удивление, вопрос, и еще какое-то особенное возбуждение проходило по нем быстрыми тенями. Слепые глаза казались глубокими и темными.

Одну минуту можно было подумать, что он не находит в своей душе того, к чему прислушивается с таким жадным вниманием. Но потом, хотя все с тем же удивленным видом и все как будто не дождавшись чего-то, он дрогнул, тронул клавиши и, подхваченный новой волной нахлынувшего чувства, отдался весь плавным, звонким и певучим аккордам...

X

Пользоваться нотами слепому вообще трудно. Они отдавливаются, как и буквы, рельефом, причем тоны обозначаются отдельными знаками и ставятся в один ряд, как строчки книги. Чтобы обозначить тоны, соединенные в аккорд, между ними ставятся восклицательные знаки. Понятно, что слепому приходится заучивать их наизусть, притом отдельно для каждой руки. Таким образом, это — очень сложная и трудная работа; однако Петру и

в этом случае помогала любовь к отдельным составным частям этой работы. Заучив на память по нескольку аккордов для каждой руки, он садился за фортепиано, и, когда из соединения этих выпуклых иероглифов вдруг неожиданно для него самого складывались стройные созвучия, это доставляло ему такое наслаждение и представляло столько живого интереса, что этим сухая работа скрашивалась и даже завлекала.

Тем не менее между изображенною на бумаге пьесой и ее исполнением ложилось в этом случае слишком много промежуточных процессов. Пока знак воплощался в мелодию, он должен был пройти через руки, закрепиться в памяти и затем совершить обратный путь к концам играющих пальцев. Притом сильно развитое музыкальное воображение слепого вмешивалось в сложную работу заучивания и налагало на чужую пьесу заметный личный отпечаток. Формы, в какие успело отлиться музыкальное чувство Петра, были именно те, в каких ему впервые явилась мелодия, в какие отливалась затем игра его матери. Это были формы народной музыки, которые звучали постоянно в его душе, которыми говорила этой душе родная природа.

И теперь, когда он играл какую-то итальянскую пьесу с трепещущим сердцем и переполненною душой, в его игре с первых же аккордов сказалось что-то до такой степени своеобразное, что на лицах посторонних слушателей появилось удивление Однако через несколько минут очарование овладело всеми безраздельно, и только старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии, долго еще вслушивался в игру, стараясь уловить знакомую пьесу и анализируя своеобразную манеру пианиста.

Струны звенели и рокотали, наполняя гостиную и разносясь по смолкшему саду... Глаза молодежи сверкали оживлением и любопытством. Ставрученко-отец сидел, свесив голову, и молчаливо слушал, но потом стал воодушевляться все больше и больше, поталкивал Максима локтем и шептал:

— Вот этот играет, так уж играет. Что? Не правду я говорю?

По мере того как звуки росли, старый спорщик стал вспоминать что-то, должно быть свою молодость, пото-

му что глаза его заискрились, лицо покраснело, весь он выпрямился и, приподняв руку, хотел даже ударить кулаком по столу, но удержался и опустил кулак без всякого звука. Оглядев своих молодцов быстрым взглядом, он погладил усы и, наклонившись к Максиму, прошептал:

— Хотят стариков в архив... Брешут!.. В свое время и мы с тобой, братику, тоже... Да и теперь еще... Правду я говорю или нет?

Максим, довольно равнодушный к музыке, на этот раз чувствовал что-то новое в игре своего питомца и, окружив себя клубами дыма, слушал, качал головой и переводил глаза с Петра на Эвелину. Еще раз какой-то порыв непосредственной жизненной силы врывался в его систему совсем не так, как он думал... Анна Михайловна тоже кидала на девушку вопросительные взгляды, спрашивая себя: что это,— счастие или горе звучит в игре ее сына... Эвелина сидела в тени от абажура, и только ее глаза, большие и потемневшие, выделялись в полумраке. Она одна понимала эти звуки по-своему: ей слышался в них звон воды в старых шлюзах и шепот черемухи в потемневшей аллее.

XI

Мотив давно уже изменился. Оставив итальянскую пьесу, Петр отдался своему воображению. Тут было все, что теснилось в его воспоминании, когда он, за минуту перед тем, молча и опустив голову прислушивался к впечатлениям из пережитого прошлого. Тут были голоса природы, шум ветра, шепот леса, плеск реки и смутный говор, смолкающий в безвестной дали. Все это сплеталось и звенело на фоне того особенного глубокого и расширяющего сердце ощущения, которое вызывается в душе таинственным говором природы и которому так трудно подыскать настоящее определение... Тоска?.. Но отчего же она так приятна?.. Радость?.. Но зачем же она так глубоко, так бесконечно грустна?

По временам звуки усиливались, вырастали, крепли. Лицо музыканта делалось странно суровым. Он как будто сам удивлялся новой и для него силе этих неожиданных мелодий и ждал еще чего-то... Казалось, вот-вот несколькими ударами все это сольется в стройный поток

могучей и прекрасной гармонии, и в такие минуты слушатели замирали от ожидания. Но, не успев подняться, мелодия вдруг падала с каким-то жалобным ропотом, точно волна, рассыпавшаяся в пену и брызги, и еще долго звучали, замирая, ноты горького недоумения и вопроса.

Слепой смолкал на минуту, и опять в гостиной стояла тишина, нарушаемая только шепотом листьев в саду. Обаяние, овладевавшее слушателями и уносившее их далеко за эти скромные стены, разрушалось, и маленькая комната сдвигалась вокруг них, и ночь глядела к ним в темные окна, пока, собравшись с силами, музыкант не ударял вновь по клавишам.

И опять звуки крепли и искали чего-то, подымаясь в своей полноте, выше, сильнее... В неопределенный перезвон и говор аккордов вплетались мелодии народной песни, звучавшей то любовью и грустью, то воспоминанием о минувших страданиях и славе, то молодою удалью разгула и надежды. Это слепой пробовал вылить свое чувство в готовые и хорошо знакомые формы.

Но и песня смолкала, дрожа в тишине маленькой гостиной тою же жалобною нотой неразрешенного вопроса.

XII

Когда последние ноты дрогнули смутным недовольством и жалобой, Анна Михайловна, взглянув в лицо сына, увидала на нем выражение, которое показалось ей знакомым; в ее памяти встал солнечный день давней весны, когда ее ребенок лежал на берегу реки, подавленный слишком яркими впечатлениями от возбуждающей весенней природы.

Но это выражение заметила только она. В гостиной поднялся шумный говор. Ставрученко-отец что-то громко кричал Максиму, молодые люди, еще взволнованные и возбужденные, пожимали руки музыканта, предсказывали ему широкую известность артиста.

— Да, это верно! — подтвердил старший брат.— Вам удалось удивительно усвоить самый характер народной мелодии. Вы сжились с нею и овладели ею в совершенстве. Но скажите, пожалуйста, какую это пьесу играли вы вначале?

Петр назвал итальянскую пьесу.

— Я так и думал,— ответил молодой человек.— Мне она несколько знакома... У вас удивительно своеобразная манера... Многие играют лучше вашего, но так, как вы, ее не исполнял еще никто. Это... как будто перевод с итальянского музыкального языка на малорусский. Вам нужна серьезная школа, и тогда...

Слепой слушал внимательно. Впервые еще он стал центром оживленных разговоров, и в его душе зарождалось гордое сознание своей силы. Неужели эти звуки, доставившие ему на этот раз столько неудовлетворенности и страдания, как еще никогда в жизни, могут производить на других такое действие? Итак, он может тоже что-нибудь сделать в жизни. Он сидел на своем стуле, с рукой, еще вытянутой на клавиатуре, и под шум разговоров внезапно почувствовал на этой руке чье-то горячее прикосновение. Это Эвелина подошла к нему и, незаметно сжимая его пальцы, прошептала с радостным возбуждением:

— Ты слышал? У тебя тоже будет своя работа. Если бы ты видел, если бы знал, что ты можешь сделать со всеми нами...

Слепой вздрогнул и выпрямился.

Никто не заметил этой короткой сцены, кроме матери. Ее лицо вспыхнуло, как будто это ей был дан первый поцелуй молодой любви.

Слепой все сидел на том же месте. Он боролся с нахлынувшими на него впечатлениями нового счастия, а может быть, ощущал также приближение грозы, которая вставала уже бесформенною и тяжелою тучей откуда-то из глубины мозга.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

На другой день Петр проснулся рано. В комнате было тихо, в доме тоже не начиналось еще движение дня. В окно, которое оставалось открытым на ночь, вливалась из сада свежесть раннего утра. Несмотря на свою слепоту, Петр отлично чувствовал природу. Он знал, что еще рано, что его окно открыто — шорох ветвей раздавался отчетливо и близко, ничем не отдаленный и не при-

крытый. Сегодня Петр чувствовал все это особенно ясно: он знал даже, что в комнату смотрит солнце и что если он протянет руку в окно, то с кустов посыплется роса. Кроме того, он чувствовал еще, что все его существо переполнено каким-то новым, неизведанным ощущением.

Несколько минут он лежал в постели, прислушиваясь к тихому щебетанию какой-то пташки в саду и к странному чувству, нараставшему в его сердце.

«Что это было со мной?» — подумал он, и в то же мгновение в его памяти прозвучали слова, которые она сказала вчера, в сумерки, у старой мельницы: «Неужели ты никогда не думал об этом?.. Какой ты глупый!..»

Да, он никогда об этом не думал. Ее близость доставляла ему наслаждение, но до вчерашнего дня он не сознавал этого, как мы не ощущаем воздуха, которым дышим. Эти простые слова упали вчера в его душу, как падает с высоты камень на зеркальную поверхность воды: еще за минуту она была ровна и спокойно отражала свет солнца и синее небо.. один удар — и она всколебалась до самого дна.

Теперь он проснулся с обновленною душой, и она, его давняя подруга, являлась ему в новом свете. Вспоминая все, что произошло вчера, до малейших подробностей, он прислушивался с удивлением к тону ее «нового» голоса, который восстановило в его памяти воображение. «Полюбила»... «Какой ты глупый!..»

Он быстро вскочил, оделся и по росистым дорожкам сада побежал к старой мельнице. Вода журчала, как вчера, и так же шептались кусты черемухи, только вчера было темно, а теперь стояло яркое солнечное утро. И никогда еще он не «чувствовал» света так ясно. Казалось, вместе с душистою сыростью, с ощущением утренней свежести в него проникли эти смеющиеся лучи веселого дня, щекотавшие его нервы.

II

Во всей усадьбе стало как-то светлее и радостнее. Анна Михайловна как будто помолодела сама, Максим чаще шутил, хотя все же по временам из облаков дыма, точно раскаты проходящей стороною грозы, раздавалось его ворчание. Он говорил о том, что многие, по-

видимому, считают жизнь чем-то вроде плохого романа, кончающегося свадьбой, и что есть на свете много такого, о чем иным людям не мешало бы подумать. Пан Попельский, ставший очень интересным круглым человеком, с ровно и красиво седеющими волосами и румяным лицом, всегда в этих случаях соглашался с Максимом, вероятно принимая эти слова на свой счет, и тотчас же отправлялся по хозяйству, которое у него, впрочем, шло отлично. Молодые люди усмехались и строили какие-то планы. Петру предстояло доканчивать серьезно свое музыкальное образование.

Однажды осенью, когда жнива были уже закончены и над полями, сверкая золотыми нитками на солнце, лениво и томно носилось «бабье лето», Попельские всей семьей отправились к Ставрученкам. Имение Ставруково лежало верстах в семидесяти от Попельских, но местность на этом расстоянии сильно менялась: последние отроги Карпат, еще видные на Волыни и в Прибужьи, исчезли, и местность переходила в степную Украйну. На этих равнинах, перерезанных кое-где обрагами, лежали, утопая в садах и левадах, села, и кое-где по горизонту, давно запаханные и охваченные желтыми жнивами, рисовались высокие могилы.

Такие далекие путешествия были вообще не в обычае семьи. За пределами знакомого села и ближайших полей, которые он изучил в совершенстве, Петр терялся, больше чувствовал свою слепоту и становился раздражителен и беспокоен. Теперь, впрочем, он охотно принял приглашение. После памятного вечера, когда он сознал сразу свое чувство и просыпающуюся силу таланта, он как-то смелее относился к темной и неопределенной дали, которою охватывал его внешний мир. Она начинала тянуть его, все расширяясь в его воображении.

Несколько дней промелькнули очень живо. Петр чувствовал себя теперь гораздо свободнее в молодом обществе. Он с жадным вниманием слушал умелую игру старшего Ставрученка и рассказы о консерватории, о столичных концертах. Его лицо вспыхивало каждый раз, когда молодой хозяин переходил к восторженным похвалам его собственному, необработанному, но сильному музыкальному чувству. Теперь он уже не стушевывался в дальних углах, а, как равный, хотя и несколько сдер-

жанно, вмешивался в общие разговоры. Недавняя еще холодная сдержанность и как бы настороженность Эвелины тоже исчезла. Она держала себя весело и непринужденно, восхищая всех небывалыми прежде вспышками неожиданного и яркого веселья.

Верстах в десяти от имения находился старый N-ский монастырь, очень известный в том крае. Когда-то он играл значительную роль в местной истории; не раз его осаждали, как саранча, загоны татар, посылавших через стены тучи своих стрел, порой пестрые отряды поляков отчаянно лезли на стены, или, наоборот, казаки бурно кидались на приступ, чтобы отбить твердыню у завладевших ею королевских жолнеров... Теперь старые башни осыпались, стены кое-где заменились простым частоколом, защищавшим лишь монастырские огороды от нашествия предприимчивой мужицкой скотины, а в глубине широких рвов росло просо.

Однажды, в ясный день ласковой и поздней осени, хозяева и гости отправились в этот монастырь. Максим и женщины ехали в широкой старинной коляске, качавшейся, точно большая ладья, на своих высоких рессорах. Молодые люди и Петр в том числе — отправились верхами.

Слепой ездил ловко и свободно, привыкнув прислушиваться к топоту других коней и к шуршанию колес едущего впереди экипажа. Глядя на его свободную, смелую посадку, трудно было бы угадать, что этот всадник не видит дороги и лишь привык так смело отдаваться инстинкту лошади. Анна Михайловна сначала робко оглядывалась, боясь чужой лошади и незнакомых дорог, Максим посматривал искоса с гордостью ментора и с насмешкой мужчины над бабьими страхами.

— Знаете ли...— сказал, подъезжая к коляске, студент.— Мне вот сейчас вспомнилась очень интересная могила, историю которой мы узнали, роясь в монастырском архиве. Если хотите, мы свернем туда. Это недалеко, на краю села.

— Отчего же это вам приходят в нашем обществе такие грустные воспоминания? — весело засмеялась Эвелина.

— На этот вопрос отвечу после! Сворачивай к Колодне, к леваде Остапа; тут у перелаза остановишься,—

крикнул он кучеру и, повернув лошадь, поскакал к своим отставшим товарищам.

Через минуту, когда рыдван, шурша колесами в мягкой пыли и колыхаясь, ехал узким проселком, молодые люди пронеслись мимо него и спешились впереди, привязав лошадей у плетня. Двое из них пошли навстречу, чтобы помочь дамам, а Петр стоял, опершись на луку седла, и, по обыкновению склонив голову, прислушивался, стараясь по возможности определить свое положение в незнакомом месте.

Для него этот светлый осенний день был темною ночью, только оживленною яркими звуками дня. Он слышал на дороге шуршание приближающейся кареты и веселые шутки встречавшей ее молодежи Около него лошади, звеня стальными наборами уздечек, тянули головы за плетень, к высокому бурьяну огорода... Где-то недалеко, вероятно над грядами, слышалась тихая песня, лениво и задумчиво веявшая по легкому ветру. Шелестели листья сада, где-то скрипел аист, слышалось хлопанье крыльев и крик как будто внезапно о чем-то вспомнившего петуха, легкий визг «журавля» над колодцем,— во всем этом сказывалась близость деревенского рабочего дня.

И действительно, они остановились у плетня крайнего сада... Из более отдаленных звуков господствующим был размеренный звон монастырского колокола, высокий и тонкий. По звуку ли этого колокола, по тому ли, как тянул ветер, или еще по каким-то, может быть, и ему самому неизвестным, признакам, Петр чувствовал, что где-то в той стороне, за монастырем, местность внезапно обрывается, быть может над берегом речки, за которой далеко раскинулась равнина с неопределенными, трудно уловимыми звуками тихой жизни. Звуки эти долетали до него отрывочно и слабо, давая ему слуховое ощущение дали, в которой мелькает что-то затянутое, неясное, как для нас мелькают очертания далей в вечернем тумане...

Ветер шевелил прядь волос, свесившуюся из-под его шляпы, и тянулся мимо его уха, как протяжный звон эоловой арфы. Какие-то смутные воспоминания бродили в его памяти; минуты из далекого детства, которые воображение выхватывало из забвения прошлого, оживали в виде веяний, прикосновений и звуков... Ему каза-

лось, что этот ветер, смешанный с дальним звоном и обрывками песни, говорит ему какую-то грустную старую сказку о прошлом этой земли, или о его собственном прошлом, или о его будущем, неопределенном и темном.

Через минуту подъехала коляска, все вышли и, переступив через перелаз в плетне, пошли в леваду. Здесь, в углу, заросшая травой и бурьяном, лежала широкая, почти вросшая в землю каменная плита. Зеленые листья репейника с пламенно-розовыми головками цветов, широкий лопух, высокий куколь на тонких стеблях выделялись из травы и тихо качались от ветра, и Петру был слышен их смутный шепот над заросшею могилой.

— Мы только недавно узнали о существовании этого памятника,— сказал молодой Ставрученко,— а между тем знаете ли, кто лежит под ним? Славный когда-то «лыцарь», старый ватажко Игнат Карый...

— Так вот ты где успокоился, старый разбойник? — сказал Максим задумчиво.— Как он попал сюда, в Колодню?

— В 17... году казаки с татарами осаждали этот монастырь, занятый польскими войсками... Вы знаете, татары были всегда опасными союзниками... Вероятно, осажденным удалось как-нибудь подкупить мирзу, и ночью татары кинулись на казаков одновременно с поляками. Здесь, около Колодни, произошла в темноте жестокая сеча. Кажется, что татары были разбиты и монастырь все-таки взят, но казаки потеряли в ночном бою своего атамана.

— В этой истории,— продолжал молодой человек задумчиво,— есть еще другое лицо, хоть мы напрасно искали здесь другой плиты. Судя по старой записи, которую мы нашли в монастыре, рядом с Карым похоронен молодой бандурист... слепой, сопровождавший атамана в походах...

— Слепой? в походах? — испуганно произнесла Анна Михайловна, которой сейчас же представился ее мальчик в страшной ночной сече.

— Да, слепой. По-видимому, это был славный на Запорожьи певец... так по крайней мере говорит о нем запись, излагающая на своеобразном польско-малорусско-церковном языке всю эту историю. Позвольте, я, кажется, помню ее на память: «А с ним славетный поэта ка-

зацкий, Юрко, нигды не оставлявший Караго и от щирого сердца оным любимый. Которого убивши сила поганьская и того Юрка посекла нечестно, обычаем своей поганьской веры не маючи зваги на калецтво и великий талент до складу песенного и до гры струннои, од якои даже и волцы на степу размягчиться могли б, но поганьцы не пошановали в ночном нападе. И ту положены рядом певец и рыцарь, коим по честным конце незаводная и вечная слава во веки аминь...»

— Плита довольно широкая,— сказал кто-то.— Может быть, они лежат здесь оба...

— Да, в самом деле, но надписи съедены мхами... Посмотрите, вот вверху булава и бунчук. А дальше все зелено от лишаев.

— Постойте,— сказал Петр, слушавший весь рассказ с захватывающим волнением.

Он подошел к плите, нагнулся над нею, и его тонкие пальцы впились в зеленый слой лишайников на поверхности плиты. Сквозь него он прощупывал твердые выступы камня.

Так он сидел с минуту, с поднятым лицом и сдвинутыми бровями. Потом он начал читать:

— «...Игнатий прозванием Карий... року божого... пострелен из сайдака стрелою татарскою...»

— Это и мы могли еще разобрать,— сказал студент.

Пальцы слепого, нервно напряженные и изогнутые в суставах, спускались все ниже.

— «Которого убивши...»

— «Сила поганьская...» — живо подхватил студент,— эти слова стояли в описании смерти Юрка... значит, правда: и он тут же под одной плитой...

— Да, — «сила поганьская», — прочитал Петр, — дальше все исчезло... Постойте, вот еще: «порубан шаблями татарскими»... кажется, еще какое-то слово... но нет, больше ничего не сохранилось.

Действительно, дальше всякая память о бандуристе терялась в широкой язве полуторастолетней плиты...

Несколько секунд стояло глубокое молчание, нарушаемое только шорохом листьев. Оно было прервано протяжным благоговейным вздохом. Это Остап, хозяин левады и собственник по праву давности последнего жилища старого атамана, подошел к господам и с великим

удивлением смотрел, как молодой человек с неподвижными глазами, устремленными кверху, разбирал ощупью слова, скрытые от зрячих сотнями годов, дождями и непогодами.

— Сыла господняя,— сказал он, глядя на Петра с благоговением.— Сыла божая открывае слипенькому, чего зрячии не бачуть очима.

— Понимаете ли теперь, панночка, почему мне вспомнился этот Юрко-бандурист? — спросил студент, когда старая коляска опять тихо двигалась по пыльной дороге, направляясь к монастырю.— Мы с братом удивлялись, как мог слепой сопровождать Карого с его летучими отрядами. Допустим, что в то время он был уже не кошевой, а простой ватажко. Известно, однако, что он всегда начальствовал отрядом конных казаков-охотников, а не простыми гайдамаками. Обыкновенно бандуристы были старцы нищие, ходившие от села к селу с сумой и песней... Только сегодня, при взгляде на вашего Петра, в моем воображении как-то сразу встала фигура слепого Юрка, с бандурой, вместо рушницы, за спиной и верхом на лошади...

— И, может быть, он участвовал в битвах... В походах во всяком случае и в опасностях также...— продолжал молодой человек задумчиво.— Какие бывали времена на нашей Украйне!

— Как это ужасно,— вздохнула Анна Михайловна.

— Как это было хорошо,— возразил молодой человек...

— Теперь ничего подобного не бывает,— резко сказал Петр, подъехавший тоже к экипажу. Подняв брови и насторожившись к топоту соседних лошадей, он заставил свою лошадь идти рядом с коляской... Его лицо было бледнее обыкновенного, выдавая глубокое внутреннее волнение...—Теперь все это уже исчезло,— повторил он.

— Что должно было исчезнуть — исчезло,— сказал Максим как-то холодно...— Они жили по-своему, вы ищите своего...

— Вам хорошо говорить,— ответил студент,— вы взяли свое у жизни...

— Ну, и жизнь взяла у меня мое,— усмехнулся старый гарибальдиец, глядя на свои костыли.

Потом, помолчав, он прибавил:

— Вздыхал и я когда-то о Сечи, об ее бурной поэзии и воле... Был даже у Садыка в Турции [1].

— И что же? — спросили молодые люди живо.

— Вылечился, когда увидел ваше «вольное казачество» на службе у турецкого деспотизма... Исторический маскарад и шарлатанство!.. Я понял, что история выкинула уже всю эту ветошь на задворки и что главное не в этих красивых формах, а в целях... Тогда-то я и отправился в Италию. Даже не зная языка этих людей, я был готов умереть за их стремления.

Максим говорил серьезно и с какою-то искренней важностью. В бурных спорах, которые происходили у отца Ставрученка с сыновьями, он обыкновенно не принимал участия и только посмеивался, благодушно улыбаясь на апелляции к нему молодежи, считавшей его своим союзником. Теперь, сам затронутый отголосками этой трогательной драмы, так внезапно ожившей для всех над старым мшистым камнем, он чувствовал, кроме того, что этот эпизод из прошлого странным образом коснулся в лице Петра близкого им всем настоящего.

На этот раз молодые люди не возражали,— может быть, под влиянием живого ощущения, пережитого за несколько минут в леваде Остапа,— могильная плита так ясно говорила о смерти прошлого,— а быть может, под влиянием импонирующей искренности старого ветерана...

— Что же остается нам? — спросил студент после минутного молчания.

— Та же вечная борьба.

— Где? В каких формах?

— Ищите,— ответил Максим кратко.

Раз оставив свой обычный слегка насмешливый тон, Максим, очевидно, был расположен говорить серьезно. А для серьезного разговора на эту тему теперь уже не оставалось времени... Коляска подъехала к воротам монастыря, и студент, наклонясь, придержал за повод лошадь Петра, на лице которого, как в открытой книге, виднелось глубокое волнение.

---

[1] Чайковский, украинец-романтик, известный под именем Садыка-паши, мечтал организовать казачество как самостоятельную политическую силу в Турции...

III

В монастыре обыкновенно смотрели старинную церковь и взбирались на колокольню, откуда открывался далекий вид. В ясную погоду старались увидеть белые пятнышки губернского города и излучины Днепра на горизонте.

Солнце уже склонялось, когда маленькое общество подошло к запертой двери колокольни, оставив Максима на крыльце одной из монашеских келий. Молодой тонкий послушник, в рясе и остроконечной шапке, стоял под сводом, держась одной рукой за замок запертой двери... Невдалеке, точно распуганная стая птиц, стояла кучка детей; было видно, что между молодым послушником и этой стайкой резвых ребят происходило недавно какое-то столкновение. По его несколько воинственной позе и по тому, как он держался за замок, можно было заключить, что дети хотели проникнуть на колокольню вслед за господами, а послушник отгонял их. Его лицо было сердито и бледно, только на щеках пятнами выделялся румянец.

Глаза молодого послушника были как-то странно неподвижны... Анна Михайловна первая заметила выражение этого лица и глаз и нервно схватила за руку Эвелину.

— Слепой,— прошептала девушка с легким испугом.

— Тише,— ответила мать,— и еще... Ты замечаешь?

— Да...

Трудно было не заметить в лице послушника странного сходства с Петром. Та же нервная бледность, те же чистые, но неподвижные зрачки, то же беспокойное движение бровей, настораживавшихся при каждом новом звуке и бегавших над глазами, точно щупальцы у испуганного насекомого... Его черты были грубее, вся фигура угловатее,— но тем резче выступало сходство. Когда он глухо закашлялся, схватившись руками за впалую грудь,— Анна Михайловна смотрела на него широко раскрытыми глазами, точно перед ней вдруг появился призрак...

Перестав кашлять, он отпер дверь и, остановясь на пороге, спросил несколько надтреснутым голосом:

— Ребят нет? Кышь, проклятые! — мотнулся он в

их сторону всем телом и потом, пропуская вперед молодых людей, сказал голосом, в котором слышалась какая-то вкрадчивость и жадность: — Звонарю пожертвуете сколько-нибудь?.. Идите осторожно,— темно...

Все общество стало подыматься по ступеням. Анна Михайловна, которая прежде колебалась перед неудобным и крутым подъемом, теперь с какою-то покорностью пошла за другими.

Слепой звонарь запер дверь... Свет исчез, и лишь через некоторое время Анна Михайловна, робко стоявшая внизу, пока молодежь, толкаясь, подымалась по извилинам лестницы,— могла разглядеть тусклую струйку сумеречного света, лившуюся из какого-то косого пролета в толстой каменной кладке. Против этого луча слабо светилось несколько пыльных, неправильной формы камней

— Дядько, дядюшка, пустить,— раздались из-за двери тонкие голоса детей.— Пустить, дядюшка, хороший!

Звонарь сердито кинулся к двери и неистово застучал кулаками по железной обшивке.

— Пошли, пошли, проклятые... Чтоб вас громом убило! — кричал он, хрипя и как-то захлебываясь от злости...

— Слепой черт,— ответили вдруг несколько звонких голосов, и за дверью раздался быстрый топот десятка босых ног...

Звонарь прислушался и перевел дух.

— Погибели на вас нет... на проклятых... чтоб вас всех передушила хвороба... Ох, господи! Господи ты, боже мой! Вскую мя оставил еси...— сказал он вдруг совершенно другим голосом, в котором слышалось отчаяние исстрадавшегося и глубоко измученного человека.

— Кто здесь?.. Зачем остался? — резко спросил он, наткнувшись на Анну Михайловну, застывшую у первых ступенек.

— Идите, идите. Ничего,— прибавил он мягче.— Постойте, держитесь за меня... Пожертвование с вашей стороны звонарю будет?—опять спросил он прежним неприятно вкрадчивым тоном.

Анна Михайловна вынула из кошелька и в темноте подала ему бумажку. Слепой быстро выхватил ее из про-

тянутой к нему руки и, под тусклым лучом, к которому они уже успели подняться, она видела, как он приложил бумажку к щеке и стал водить по ней пальцем. Странно освещенное и бледное лицо, так похожее на лицо ее сына, исказилось вдруг выражением наивной и жадной радости.

— Вот за это спасибо, вот спасибо. Столбовка настоящая... Я думал — вы насмех... посмеяться над слепеньким... Другие, бывает, смеются...

Все лицо бедной женщины было залито слезами. Она быстро отерла их и пошла кверху, где, точно падение воды за стеной, слышались гулкие шаги и смешанные голоса опередившей ее компании.

На одном из поворотов молодые люди остановились. Они поднялись уже довольно высоко, и в узкое окно, вместе с более свежим воздухом, проникла более чистая, хотя и рассеянная струйка света. Под ней, на стене, довольно гладкой в этом месте, роились какие-то надписи. Это были по большей части имена посетителей.

Обмениваясь веселыми замечаниями, молодые люди находили фамилии своих знакомых.

— А вот и сентенция,— заметил студент и прочитал с некоторым трудом: «Мнози суть начинающии, кончающии же вмале...» — Очевидно, дело идет об этом восхождении,— прибавил он шутливо.

— Понимай, как хочешь,— грубо ответил звонарь, поворачиваясь к нему ухом, и его брови заходили быстро и тревожно.— Тут еще стих есть, пониже. Вот бы тебе прочитать...

— Где стих? Нет никакого стиха.

— Ты вот знаешь, что нет, а я тебе говорю, что есть. От вас, зрячих, тоже сокрыто многое ..

Он спустился на две ступеньки вниз и, пошарив рукой в темноте, где уже терялись последние слабые отблески дневного луча, сказал:

— Вот тут. Хороший стих, да без фонаря не прочитаете...

Петр поднялся к нему и, проведя рукой по стене, легко разыскал суровый афоризм, врезанный в стену каким-то, может быть более столетия уже умершим, человеком:

Помни смертный час,
Помни трубный глас,
Помни с жизнию разлуку,
Помни вечную муку...

— Тоже сентенция,— попробовал пошутить студент Ставрученко, но шутка как-то не вышла.

— Не нравится,— ехидно сказал звонарь.— Конечно, ты еще человек молодой, а тоже... кто знает. Смертный час приходит, яко тать в нощи... Хороший стих,— прибавил он опять как-то по-другому...— «Помни смертный час, помни трубный глас...» Да, что-то вот там будет,— закончил он опять довольно злобно.

Еще несколько ступеней, и они все вышли на первую площадку колокольни. Здесь было уже довольно высоко, но отверстие в стене вело еще более неудобным проходом выше. С последней площадки вид открылся широкий и восхитительный. Солнце склонилось на запад к горизонту, по низине легла длинная тень, на востоке лежала тяжелая туча, даль терялась в вечерней дымке, и только кое-где косые лучи выхватывали у синих теней то белую стену мазаной хатки, то загоревшееся рубином оконце, то живую искорку на кресте дальней колокольни.

Все притихли. Высокий ветер, чистый и свободный от испарений земли, тянулся в пролеты, шевеля веревки, и, заходя в самые колокола, вызывал по временам протяжные отголоски. Они тихо шумели глубоким металлическим шумом, за которым ухо ловило что-то еще, точно отдаленную невнятную музыку или глубокие вздохи меди. От всей расстилавшейся внизу картины веяло тихим спокойствием и глубоким миром.

Но тишина, водворившаяся среди небольшого общества, имела еще другую причину. По какому-то общему побуждению, вероятно вытекавшему из ощущения высоты и своей беспомощности, оба слепые подошли к углам пролетов и стали, опершись на них обеими руками, повернув лица навстречу тихому вечернему ветру.

Теперь ни от кого уже не ускользнуло странное сходство. Звонарь был несколько старше; широкая ряса висела складками на тощем теле, черты лица были грубее и резче. При внимательном взгляде в них проступали и различия: звонарь был блондин, нос у него был несколь-

ко горбатый, губы тоньше, чем у Петра Над губами пробивались усы, и кудрявая бородка окаймляла подбородок. Но в жестах, в нервных складках губ, в постоянном движении бровей было то удивительное, как бы родственное сходство, вследствие которого многие горбуны тоже напоминают друг друга лицом, как братья

Лицо Петра было несколько спокойнее В нем виднелась привычная грусть, которая у звонаря усиливалась острою желчностью и порой озлоблением Впрочем, теперь и он, видимо, успокаивался. Ровное веяние ветра как бы разглаживало на его лице все морщины, разливая по нем тихий мир, лежавший на всей скрытой от незрячих взоров картине... Брови шевелились все тише и тише.

Но вот они опять дрогнули одновременно у обоих, как будто оба заслышали внизу какой-то звук из долины, не слышный никому другому.

— Звонят,— сказал Петр.

— Это у Егорья за пятнадцать верст,— пояснил звонарь.— У них всегда на полчаса раньше нашего вечерня... А ты слышишь? Я тоже слышу,— другие не слышат...

— Хорошо тут, — продолжал он мечтательно.— Особливо в праздник. Слышали вы, как я звоню?

В вопросе звучало наивное тщеславие.

— Приезжайте послушать. Отец Памфилий... Вы не знаете отца Памфилия? Он для меня нарочито эти два подголоска выписал.

Он отделился от стены и любовно погладил рукой два небольших колокола, еще не успевших потемнеть, как другие.

— Славные подголоски .. Так тебе и поют, так и поют... Особливо под Пасху.

Он взял в руки веревки и быстрыми движениями пальцев заставил задрожать оба колокола мелкою мелодическою дробью; прикосновения языков были так слабы и вместе так отчетливы, что перезвон был слышен всем, но звук наверное не распространялся дальше площадки колокольни.

— А тут тебе вот этот — бу-ух, бу-ух, бу-ух...

Теперь его лицо осветилось детскою радостью, в которой, однако, было что-то жалкое и больное.

— Колокола-то вот выписал,— сказал он со вздо-

хом,— а шубу новую не сошьет. Скупой! Простыл я на колокольне... Осенью всего хуже... Холодно...

Он остановился и, прислушавшись, сказал:

— Хромой вас кличет снизу. Ступайте, пора вам.

— Пойдем,— первая поднялась Эвелина, до тех пор неподвижно глядевшая на звонаря, точно завороженная.

Молодые люди двинулись к выходу, звонарь остался наверху. Петр, шагнувший было вслед за матерью, круто остановился.

— Идите,— сказал он ей повелительно.— Я сейчас.

Шаги стихли, только Эвелина, пропустившая вперед Анну Михайловну, осталась, прижавшись к стене и затаив дыхание.

Слепые считали себя одинокими на вышке. Несколько секунд они стояли, неловкие и неподвижные, к чему-то прислушиваясь.

— Кто здесь? — спросил затем звонарь.

— Я..

— Ты тоже слепой?

— Слепой. А ты давно ослеп? — спросил Петр.

— Родился таким,— ответил звонарь.— Вот другой есть у нас, Роман — тот семи лет ослеп... А ты ночь ото дня отличить можешь ли?

— Могу.

— И я могу. Чувствую, брезжит. Роман не может, а ему все-таки легче.

— Почему легче? — живо спросил Петр.

— Почему? Не знаешь почему? Он свет видал, свою матку помнит. Понял ты: заснет ночью, она к нему во сне и приходит... Только она старая теперь, а снится ему все молодая. . А тебе снится ли?

— Нет,— глухо ответил Петр.

— То-то нет. Это дело бывает, когда кто ослеп. А кто уж так родился!..

Петр стоял сумрачный и потемневший, точно на лицо его надвинулась туча. Брови звонаря тоже вдруг поднялись высоко над глазами, в которых виднелось так знакомое Эвелине выражение слепого страдания ..

— И то согрешаешь не однажды... Господи, создателю, божья матерь, пречистая!.. Дайте вы мне хоть во сне один раз свет-радость увидать...

Лицо его передернулось судорогой, и он сказал с прежним желчным выражением:

— Так нет, не дают... Приснится что-то, забрезжит, а встанешь, не помнишь ..

Он вдруг остановился и прислушался. Лицо его побледнело, и какое-то судорожное выражение исказило все черты.

— Чертенят впустили,— сказал он со злостию в голосе.

Действительно, снизу из узкого прохода, точно шум наводнения, неслись шаги и крики детей. На одно мгновение все стихло, вероятно толпа выбежала на среднюю площадку. и шум выливался наружу. Но затем темный проход загудел. как труба, и мимо Эвелины, перегоняя друг друга, пронеслась веселая гурьба детей. У верхней ступеньки они остановились на мгновение, но затем один за другим стали шмыгать мимо слепого звонаря, который с искаженным от злобы лицом совал наудачу сжатыми кулаками, стараясь попасть в кого-нибудь из бежавших

В проходе вынырнуло вдруг из темноты новое лицо. Это был, очевидно, Роман. Лицо его было широко, изрыто оспой и чрезвычайно добродушно. Закрытые веки скрывали впадины глаз, на губах играла добродушная улыбка. Пройдя мимо прижавшейся к стене девушки, он поднялся на площадку. Размахнувшаяся рука его товарища попала ему сбоку в шею.

— Брат! — окликнул он приятным, грудным голосом,— Егорий,— опять воюешь?

Они столкнулись и ощупали друг друга.

— Зачем бисенят впустив? — спросил Егорий по-малорусски, все еще со злостью в голосе.

— Нехай соби,— благодушно ответил Роман... — Пташки божии. Ось як ты их налякав. Де вы тут, бисенята?..

Дети сидели по углам у решеток, притаившись, и их глаза сверкали лукавством, а отчасти страхом.

Эвелина, неслышно ступая в темноте, сошла уже до половины первого прохода, когда за ней раздались уверенные шаги обоих слепых, а сверху донесся радостный визг и крики ребят, кинувшихся целою стаей на оставшегося с ними Романа.

Компания тихо выезжала из монастырских ворот, когда с колокольни раздался первый удар. Это Роман зазвонил к вечерне.

Солнце село, коляска катилась по потемневшим полям, провожаемая ровными меланхолическими ударами, замиравшими в синих сумерках вечера.

Все молчали всю дорогу до самого дома. Вечером долго не было видно Петра. Он сидел где-то в темном углу сада, не откликаясь на призывы даже Эвелины, и прошел ощупью в комнату, когда все легли...

IV

Попельские прожили еще несколько дней у Ставрученков. К Петру по временам возвращалось его недавнее настроение, он бывал оживлен и по-своему весел, пробовал играть на новых для него инструментах, коллекция которых у старшего из сыновей Ставрученка была довольно обширна и которые очень занимали Петра — каждый со своим особенным голосом, способным выражать особенные оттенки чувства. Но все же в нем была заметна какая-то омраченность, и минуты обычного состояния духа казались вспышками на общем все более темнеющем фоне.

Точно по безмолвному уговору, никто не возвращался к эпизоду в монастыре, и вся эта поездка как будто выпала у всех из памяти и забылась. Однако было заметно, что она запала глубоко в сердце слепого. Всякий раз, оставшись наедине или в минуты общего молчания, когда его не развлекали разговоры окружающих, Петр глубоко задумывался, и на лице его ложилось выражение какой-то горечи. Это было знакомое всем выражение, но теперь оно казалось более резким и... сильно напоминало слепого звонаря.

За фортепиано, в минуты наибольшей непосредственности, в его игру часто вплетался теперь мелкий перезвон колоколов и протяжные вздохи меди на высокой колокольне... И то, о чем никто не решался заговорить, ясно вставало у всех в воображении: мрачные переходы, тонкая фигура звонаря с чахоточным румянцем, его злые окрики и желчный ропот на судьбу... А затем оба слепца в одинаковых позах на вышке, с одинаковым вы-

ражением лиц, с одинаковыми движениями чутких бровей... То, что близкие до сих пор считали личной особенностью Петра, теперь являлось общей печатью темной стихии, простиравшей свою таинственную власть одинаково на всех своих жертв

— Послушай, Аня,— спросил Максим у сестры по возвращении домой.— Не знаешь ли ты, что случилось во время нашей поездки? Я вижу, что мальчик изменился именно с этого дня.

— Ах, это все из-за встречи со слепым,— ответила Анна Михайловна со вздохом.

Она недавно еще отослала в монастырь две теплых бараньи шубы и деньги с письмом к отцу Памфилию, прося его облегчить по возможности участь обоих слепцов. У нее вообще было доброе сердце, но сначала она забыла о Романе, и только Эвелина напомнила ей, что следовало позаботиться об обоих «Ах, да, да, конечно»,— ответила Анна Михайловна, но было видно, что ее мысли заняты одним. К ее жгучей жалости примешивалось отчасти суеверное чувство: ей казалось, что этой жертвой она умилостивит какую-то темную силу, уже надвигающуюся мрачною тенью над головой ее ребенка.

— С каким слепым? — переспросил Максим с удивлением.

— Да с этим... на колокольне...

Максим сердито стукнул костылем.

— Какое проклятье — быть безногим чурбаном! Ты забываешь, что я не лазаю по колокольням, а от баб, видно, не добьешься толку. Эвелина, попробуй хоть ты сказать разумно, что же такое было на колокольне?

— Там,— тихо ответила тоже побледневшая за эти дни девушка,— есть слепой звонарь... И он. .

Она остановилась. Анна Михайловна закрыла ладонями пылающее лицо, по которому текли слезы.

— И он очень похож на Петра.

— И вы мне ничего не сказали! Ну, что же дальше? Это еще недостаточная причина для трагедий, Аня,— прибавил он с мягким укором.

— Ах, это так ужасно,— ответила Анна Михайловна тихо.

— Что же ужасно? Что он похож на твоего сына?

Эвелина многозначительно посмотрела на старика, и он смолк. Через несколько минут Анна Михайловна вышла, а Эвелина осталась со своей всегдашней работой в руках.

— Ты сказала не все? — спросил Максим после минутного молчания.

— Да. Когда все сошли вниз, Петр остался. Он велел тете Ане (она так называла Попельскую с детства) уйти за всеми, а сам остался со слепым... И я... тоже осталась.

— Подслушивать? — сказал старый педагог почти машинально.

— Я не могла... уйти...— ответила Эвелина тихо.— Они разговаривали друг с другом, как...

— Как товарищи по несчастию?

— Да, как слепые... Потом Егор спросил у Петра, видит ли он во сне мать? Петр говорит: «Не вижу». И тот тоже не видит. А другой слепец, Роман, видит во сне свою мать молодою, хотя она уже старая...

— Так! Что же дальше?

Эвелина задумалась и потом, поднимая на старика свои синие глаза, в которых теперь виднелась борьба и страдание, сказала:

— Тот, Роман, добрый и спокойный. Лицо у него грустное, но не злое... Он родился зрячим... А другой... Он очень страдает,— вдруг свернула она.

— Говори, пожалуйста, прямо,— нетерпеливо перебил Максим,— другой озлоблен?..

— Да. Он хотел прибить детей и проклинал их. А Романа дети любят...

— Зол и похож на Петра... понимаю,— задумчиво сказал Максим.

Эвелина еще помолчала и затем, как будто эти слова стоили ей тяжелой внутренней борьбы, проговорила совсем тихо:

— Лицом оба не похожи... черты другие. Но в выражении... Мне казалось, что прежде у Петра бывало выражение немножко, как у Романа, а теперь все чаще виден тот, другой... и еще... Я боюсь, я думаю...

— Чего ты боишься? Поди сюда, моя умная крошка,— сказал Максим с необычной нежностью. И, когда она, ослабевая от этой ласки, подошла к нему со сле-

зами на глазах, он погладил ее шелковистые волосы своей большой рукой и сказал: — Что же ты думаешь? Скажи. Ты, я вижу, умеешь думать.

— Я думаю, что... он считает теперь, что... все слепорожденные злые... И он уверил себя, что он тоже .. непременно.

— Да, вот что... — проговорил Максим, вдруг отнимая руку...— Дай мне мою трубку, голубушка... Вон она там, на окне.

Через несколько минут над его головой взвилось синее облако дыма.

— Гм... да... плохо,— ворчал он про себя.— Я ошибся. Аня была права: можно грустить и страдать о том, чего не испытал ни разу. А теперь к инстинкту присоединилось сознание, и оба пойдут в одном направлении. Проклятый случай... А впрочем, шила, как говорится, в мешке не спрячешь... Все где-нибудь выставится..

Он совсем потонул в сизых облаках... В квадратной голове старика кипели какие-то мысли и новые решения

V

Пришла зима. Выпал глубокий снег и покрыл дороги, поля, деревни. Усадьба стояла вся белая, на деревьях лежали пушистые хлопья, точно сад опять распустился белыми листьями... В большом камине потрескивал огонь, каждый входящий со двора вносил с собою свежесть и запах мягкого снега...

Поэзия первого зимнего дня была по-своему доступна слепому. Просыпаясь утром, он ощущал всегда особенную бодрость и узнавал приход зимы по топанью людей, входящих в кухню, по скрипу дверей, по острым едва уловимым струйкам, разбегавшимся по всему дому, по скрипу шагов на дворе, по особенной «холодности» всех наружных звуков. И когда он выезжал с Иохимом по первопутку в поле, то слушал с наслаждением звонкий скрип саней и какие-то гулкие щелканья, которыми лес из-за речки обменивался с дорогой и полем.

На этот раз первый белый день повеял на него только большею грустью. Надев с утра высокие сапоги, он пошел, прокладывая рыхлый след по девственным еще дорожкам, к мельнице.

В саду было совершенно тихо. Смерзшаяся земля, покрытая пушистым мягким слоем, совершенно смолкла, не отдавая звуков: зато воздух стал как-то особенно чуток, отчетливо и полно перенося на далекие расстояния и крик вороны, и удар топора, и легкий треск обломавшейся ветки... По временам слышался странный звон, точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший как будто в огромном удалении. Это мальчишки кидали камни на деревенском пруду, покрывшемся к утру тонкой пленкой первого льда.

В усадьбе пруд тоже замерз, но речка у мельницы, отяжелевшая и темная, все еще сочилась в своих пушистых берегах и шумела на шлюзах.

Петр подошел к плотине и остановился, прислушиваясь Звон воды был другой — тяжелее и без мелодии. В нем как будто чувствовался холод помертвевших окрестностей...

В душе Петра тоже было холодно и сумрачно. Темное чувство, которое еще в тот счастливый вечер поднималось из глубины души каким-то опасением, неудовлетворенностью и вопросом, теперь разрослось и заняло в душе место, принадлежавшее ощущениям радости и счастья

Эвелины в усадьбе не было Яскульские собрались с осени к «благодетельнице», старой графине Потоцкой, которая непременно требовала, чтобы старики привезли также дочь. Эвелина сначала противилась, но потом уступила настояниям отца, к которым очень энергично присоединился и Максим.

Теперь Петр, стоя у мельницы, вспоминал свои прежние ощущения, старался восстановить их прежнюю полноту и цельность и спрашивал себя, чувствует ли он ее отсутствие. Он его чувствовал, но сознавал также, что и присутствие ее не дает ему счастия, а приносит особенное страдание, которое без нее несколько притупилось

Еще так недавно в его ушах звучали ее слова, вставали все подробности первого объяснения, он чувствовал под руками ее шелковистые волосы, слышал у своей груди удары ее сердца. И из всего этого складывался какой-то образ, наполнявший его радостью. Теперь что-то бесформенное, как те призраки, которые населяли его темное воображение, ударило в этот образ мертвящим дуновением, и он разлетелся. Он уже не мог соединить свои

воспоминания в ту гармоничную цельность чувства, которая переполняла его в первое время. Уж с самого начала на дне этого чувства лежало зернышко чего-то другого, и теперь это «другое» расстилалось над ним, как стелется грозовая туча по горизонту.

Звуки ее голоса угасли, и на месте ярких впечатлений счастливого вечера зияла пустота. А навстречу этой пустоте из самой глубины души слепого подымалось что-то с тяжелым усилием, чтобы ее заполнить.

Он хотел ее видеть!

Прежде он только чувствовал тупое душевное страдание, но оно откладывалось в душе неясно, тревожило смутно, как ноющая зубная боль, на которую мы еще не обращаем внимания.

Встреча с слепым звонарем придала этой боли остроту сознанного страдания...

Он ее полюбил и хотел ее видеть!

Так шли дни за днями в притихшей и занесенной снегом усадьбе.

По временам, когда мгновения счастья вставали перед ним, живые и яркие, Петр несколько оживлялся, и лицо его прояснялось. Но это бывало ненадолго, а со временем даже эти светлые минуты приняли какой-то беспокойный характер: казалось, слепой боялся, что они улетят и никогда уже не вернутся. Это делало его обращение неровным: минуты порывистой нежности и сильного нервного возбуждения сменялись днями подавленной беспросветной печали. В темной гостиной по вечерам рояль плакала и надрывалась глубокою и болезненною грустью, и каждый ее звук отзывался болью в сердце Анны Михайловны. Наконец худшие ее опасения сбылись: к юноше вернулись тревожные сны его детства.

Одним утром Анна Михайловна вошла в комнату сына. Он еще спал, но его сон был как-то странно встревожен: глаза полуоткрылись и тускло глядели из-под приподнятых век, лицо было бледно, и на нем виднелось выражение беспокойства.

Мать остановилась, окидывая сына внимательным взглядом, стараясь открыть причину странной тревоги. Но она видела только, что эта тревога все вырастает, и на лице спящего обозначается все яснее выражение напряженного усилия.

Вдруг ей почудилось над постелью какое-то едва уловимое движение. Яркий луч ослепительного зимнего солнца, ударявший в стену над самым изголовьем, будто дрогнул и слегка скользнул вниз. Еще и еще... светлая полоска тихо прокрадывалась к полуоткрытым глазам, и по мере ее приближения беспокойство спящего все возрастало.

Анна Михайловна стояла неподвижно, в состоянии, близком к кошмару, и не могла оторвать испуганного взгляда от огненной полосы, которая, казалось ей, легкими, но все же заметными толчками все ближе надвигается к лицу ее сына. И это лицо все больше бледнело, вытягивалось, застывало в выражении тяжелого усилия. Вот желтоватый отблеск заиграл в волосах, затеплился на лбу юноши. Мать вся подалась вперед, в инстинктивном стремлении защитить его, но ноги ее не двигались, точно в настоящем кошмаре. Между тем веки спящего совсем приподнялись, в неподвижных зрачках заискрились лучи, и голова заметно отделилась от подушки навстречу свету. Что-то вроде улыбки или плача пробежало судорожною вспышкой по губам, и все лицо опять застыло в неподвижном порыве.

Наконец мать победила оковавшую ее члены неподвижность и, подойдя к постели, положила руку на голову сына. Он вздрогнул и проснулся.

— Ты, мама? — спросил он.

— Да, это я.

Он приподнялся. Казалось, тяжелый туман застилал его сознание. Но через минуту он сказал:

— Я опять видел сон... Я теперь часто вижу сны, но... ничего не помню...

VI

Беспросветная грусть сменялась в настроении юноши раздражительною нервностью и вместе с тем возрастала замечательная тонкость его ощущений. Слух его чрезвычайно обострился; свет он ощущал всем своим организмом, и это было заметно даже ночью: он мог отличать лунные ночи от темных и нередко долго ходил по двору, когда все в доме спали, молчаливый и грустный, отдаваясь странному действию мечтательного и фантастического лунного света. При этом его бледное лицо всегда

поворачивалось за плывшим по синему небу огненным шаром, и глаза отражали искристый отблеск холодных лучей.

Когда же этот шар, все выраставший по мере приближения к земле, подергивался тяжелым красным туманом и тихо скрывался за снежным горизонтом, лицо слепого становилось спокойнее и мягче, и он уходил в свою комнату.

О чем он думал в эти долгие ночи, трудно сказать. В известном возрасте каждый, кто только изведал радости и муки вполне сознательного существования, переживает в большей или меньшей степени состояние душевного кризиса. Останавливаясь на рубеже деятельной жизни, человек старается определить свое место в природе, свое значение, свои отношения к окружающему миру. Это своего рода «мертвая точка», и благо тому, кого размах жизненной силы проведет через нее без крупной ломки. У Петра этот душевный кризис еще осложнялся; к вопросу: «зачем жить на свете?» — он прибавлял: «зачем жить именно слепому?» Наконец, в самую эту работу нерадостной мысли вдвигалось еще что-то постороннее, какое-то почти физическое давление неутоленной потребности, и это отражалось на складе его характера.

Перед рождеством Яскульские вернулись, и Эвелина, живая и радостная, со снегом в волосах и вся обвеянная свежестью и холодом, прибежала из посессорского хутора в усадьбу и кинулась обнимать Анну Михайловну, Петра и Максима. В первые минуты лицо Петра осветилось неожиданною радостию, но затем на нем появилось опять выражение какой-то упрямой грусти.

— Ты думаешь, я люблю тебя? — резко спросил он в тот же день, оставшись наедине с Эвелиной.

— Я в этом уверена,— ответила девушка.

— Ну, а я не знаю,— угрюмо возразил слепой.— Да, я не знаю. Прежде и я был уверен, что люблю тебя больше всего на свете, но теперь не знаю. Оставь меня, послушайся тех, кто зовет тебя к жизни, пока не поздно.

— Зачем ты мучишь меня? — вырвалась у нее тихая жалоба.

— Мучу? — переспросил юноша, и опять на его лице появилось выражение упрямого эгоизма.— Ну да, му-

чу. И буду мучить таким образом всю жизнь, и не могу не мучить. Я сам не знал этого, а теперь знаю. И я не виноват. Та самая рука, которая лишила меня зрения, когда я еще не родился, вложила в меня эту злобу.. Мы все такие, рожденные слепыми. Оставь меня... бросьте меня все, потому что я могу дать одно страдание взамен любви... Я хочу видеть — понимаешь? хочу видеть и не могу освободиться от этого желания. Если б я мог увидеть таким образом мать, отца, тебя и Максима, я был бы доволен... Я запомнил бы, унес бы это воспоминание в темноту всей остальной жизни...

И он с замечательным упорством возвращался к этой идее. Оставаясь наедине, он брал в руки различные предметы, ощупывал их с небывалою внимательностью и потом, отложив их в сторону, старался вдумываться в изученные формы. Точно так же вдумывался он в те различия ярких цветных поверхностей, которые, при напряженной чуткости нервной системы, он смутно улавливал посредством осязания. Но все это проникало в его сознание именно только как различия, в своих взаимных отношениях, но без определенного чувственного содержания. Теперь даже солнечный день он отличал от ночной темноты лишь потому, что действие яркого света, проникавшего к мозгу недоступными сознанию путями, только сильнее раздражало его мучительные порывы.

VII

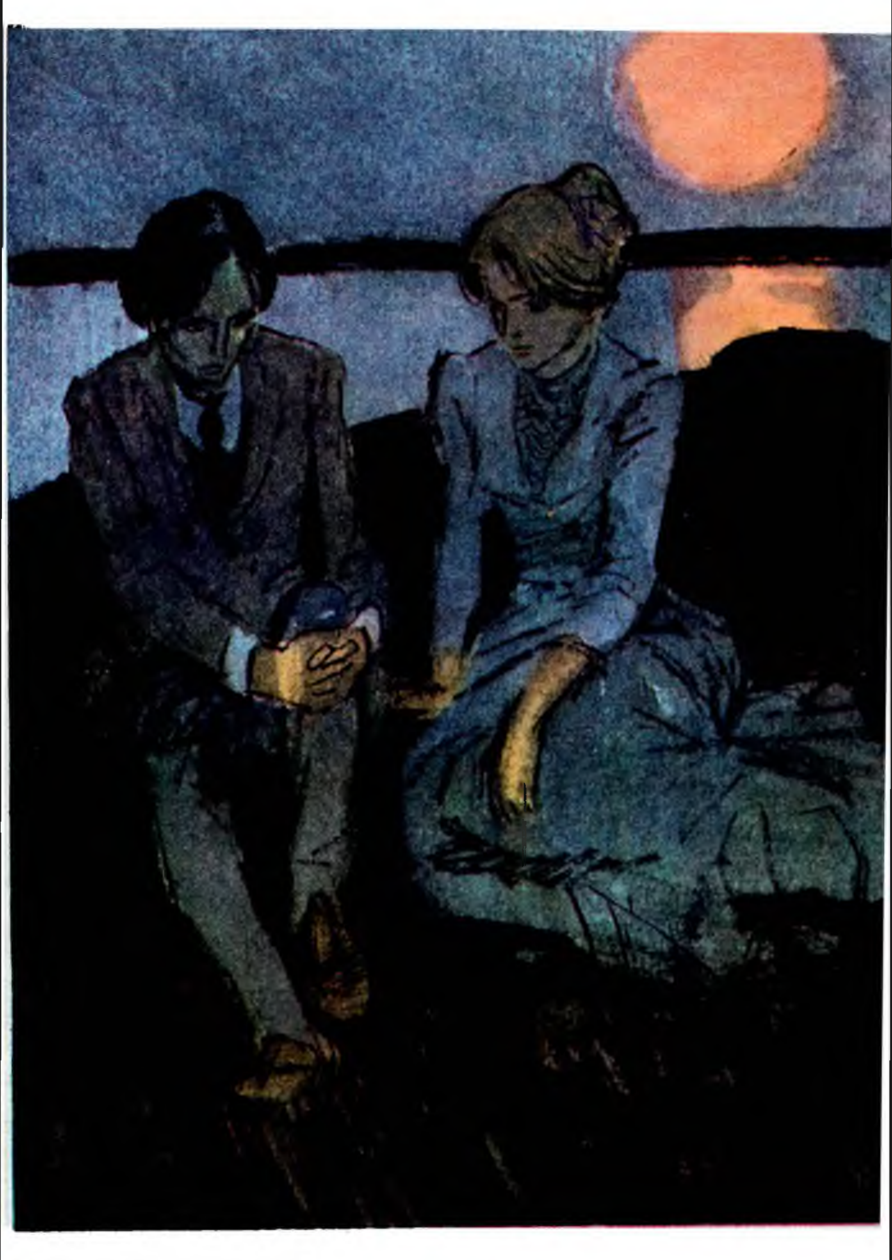
Однажды, войдя в гостиную, Максим застал там Эвелину и Петра. Девушка казалась смущенной. Лицо юноши было мрачно. Казалось, разыскивать новые причины страдания и мучить ими себя и других стало для него чем-то вроде потребности.

— Вот он спрашивает,— сказала Эвелина Максиму,— что может означать выражение «красный звон»? Я не могу ему объяснить.

— В чем дело? — спросил Максим коротко, обращаясь к Петру.

Тот пожал плечами.

— Ничего особенного. Но если у звуков есть цвета, и я их не вижу, то, значит, даже звуки недоступны мне во всей полноте.



«СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»



«СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»

— Пустяки и ребячество,— ответил Максим резко.— И ты сам хорошо знаешь, что это неправда. Звуки доступны тебе в большей полноте, чем нам.

— Но что же значит это выражение?.. Ведь должно же оно обозначать что-нибудь?

Максим задумался.

— Это простое сравнение,— сказал он.— Так как и звук, и свет, в сущности, сводятся к движению, то у них должно быть много общих свойств.

— Какие же тут разумеются свойства? — продолжал упрямо допрашивать слепой.— «Красный» звон... какой он именно?

Максим задумался.

Ему пришло в голову объяснение, сводящееся к относительным цифрам колебаний, но он знал, что юноше нужно не это. Притом же тот, кто первый употребил световой эпитет в применении к звуку, наверное не знал физики, а между тем уловил какое-то сходство. В чем же оно заключается?

В уме старика зародилось некоторое представление.

— Погоди,— сказал он.— Не знаю, впрочем, удастся ли мне объяснить тебе как следует.., Что такое красный звон, ты можешь узнать не хуже меня: ты слышал его не раз в городах, в большие праздники, только в нашем краю не принято это выражение...

— Да, да, погоди,— сказал Петр, быстро открывая пианино.

Он ударил своею умелой рукой по клавишам, подражая праздничному колокольному трезвону. Иллюзия была полная. Аккорд из нескольких невысоких тонов составлял как бы фон поглубже, а на нем выделялись, прыгая и колеблясь, высшие ноты, более подвижные и яркие. В общем это был именно тот высокий и возбужденно-радостный гул, который заполняет собою праздничный воздух.

— Да,— сказал Максим,— это очень похоже, и мы, с открытыми глазами, не сумели бы усвоить это лучше тебя. Вот, видишь ли... когда я смотрю на большую красную поверхность, она производит на мой глаз такое же беспокойное впечатление чего-то упруго-волнующегося. Кажется, будто эта краснота меняется: оставляя под собой более глубокий, темный фон, она кое-где выделя-

ется более светлыми, быстро всплывающими и также быстро упадающими взмахами, волнами, которые очень сильно действуют на глаз,— по крайней мере, на мой глаз.

— Это верно, верно! — живо сказала Эвелина.— Я чувствую то же самое и не могу долго смотреть на красную суконную скатерть...

— Так же, как иные не выносят праздничного трезвона. Пожалуй, что мое сравнение и верно, и мне даже приходит в голову дальнейшее сопоставление: существует также «малиновый» звон, как и малиновый цвет. Оба они очень близки к красному, но только глубже, ровнее и мягче. Когда колокольчик долго был в употреблении, то он, как говорят любители, вызванивается. В его звуке исчезают неровности, режущие ухо, и тогда-то звон этот зовут малиновым. Того же эффекта достигают умелым подбором нескольких подголосков.

Под руками Петра пианино зазвенело взмахами почтовых колокольчиков.

— Нет,— сказал Максим.— Я бы сказал, что это слишком красно...

— А, помню!

И инструмент зазвенел ровнее. Начавшись высоко, оживленно и ярко, звуки становились все глубже и мягче. Так звонит набор колокольцев под дугой русской тройки, удаляющейся по пыльной дороге в вечернюю безвестную даль, тихо, ровно, без громких взмахов, все тише и тише, пока последние ноты не замрут в молчании спокойных полей.

— Вот-вот! — сказал Максим.— Ты понял разницу. Когда-то,— ты был еще ребенком,— мать пыталась объяснить тебе звуками краски.

— Да, я помню... Зачем ты запретил нам тогда продолжать? Может быть, мне удалось бы понять

— Нет,— задумчиво ответил старик,— ничего бы не вышло. Впрочем, я думаю, что вообще на известной душевной глубине впечатления от цветов и от звуков откладываются уже, как однородные. Мы говорим: он видит все в розовом свете. Это значит, что человек настроен радостно. То же настроение может быть вызвано известным сочетанием звуков. Вообще звуки и цвета являются символами одинаковых душевных движений.

Старик закурил свою трубку и внимательно посмотрел на Петра. Слепой сидел неподвижно и, очевидно, жадно ловил слова Максима. «Продолжать ли?» — подумал старик, но через минуту начал как-то задумчиво, будто невольно отдаваясь странному направлению своих мыслей:

— Да, да! Странные мысли приходят мне в голову... Случайность это или нет, что кровь у нас красная. Видишь ли... когда в голове твоей рождается мысль, когда ты видишь свои сны, от которых, проснувшись, дрожишь и плачешь, когда человек весь вспыхивает от страсти,— это значит, что кровь бьет из сердца сильнее и приливает алыми ручьями к мозгу. Ну, и она у нас красная...

— Красная... горячая...— сказал юноша вдумчиво...

— Именно — красная и горячая. И вот, красный цвет, как и «красные» звуки, оставляют в нашей душе свет, возбуждение и представления о страсти, которую так и называют «горячею», кипучею, жаркою. Замечательно, что и художники считают красноватые тоны «горячими».

Затянувшись и окружив себя клубами дыма, Максим продолжал:

— Если ты взмахнешь рукой над своею головою, ты очертишь над ней полукруг. Теперь представь себе, что рука у тебя бесконечно длинна. Если бы ты мог тогда взмахнуть ею, то очертил бы полукруг в бесконечном отдалении... Так же далеко видим мы над собой полушаровой свод неба; оно ровно, бесконечно и сине .. Когда мы видим его таким, в душе является ощущение спокойствия и ясности. Когда же небо закроют тучи взволнованными и мутными очертаниями, тогда и наша душевная ясность возмущается неопределенным волнением. Ты ведь чувствуешь, когда приближается грозовая туча...

— Да, я чувствую, как будто что-то смущает душу...

— Это верно. Мы ждем, когда из-за туч проглянет опять эта глубокая синева. Гроза пройдет, а небо над нею останется все то же; мы это знаем и потому спокойно переживаем грозу. Так вот, небо сине... Море тоже сине, когда спокойно. У твоей матери синие глаза. У Эвелины тоже.

— Как небо...— сказал слепой с внезапно проснувшейся нежностью.

— Да. Голубые глаза считаются признаком ясной души. Теперь я скажу тебе о зеленом цвете. Земля сама по себе черна, черны или серы стволы деревьев весной; но как только теплые и светлые лучи разогреют темные поверхности, из них ползут кверху зеленая трава, зеленые листья. Для зелени нужны свет и тепло, но только не слишком много тепла и света. Оттого зелень так приятна для глаза. Зелень — это как будто тепло в смешении с сырою прохладой: она возбуждает представление о спокойном довольстве, здоровьи, но не о страсти и не о том, что люди называют счастьем... Понял ли ты?

— Н-нет... не ясно... но все же, пожалуйста, говори дальше.

— Ну, что же делать!.. Слушай дальше. Когда лето разгорается все жарче, зелень как будто изнемогает от избытка жизненной силы, листья в истоме опускаются книзу и, если солнечный зной не умеряется сырою прохладой дождя, зелень может совсем поблекнуть. Зато к осени среди усталой листвы наливается и алеет плод. Плод краснее на той стороне, где больше света; в нем как будто сосредоточена вся сила жизни, вся страсть растительной природы. Ты видишь, что красный цвет и здесь — цвет страсти, и он служит ее символом. Это цвет упоения, греха, ярости, гнева и мести. Народные массы во времена мятежей ищут выражения общего чувства в красном знамени, которое развевается над ними, как пламя... Но ведь ты опять не понимаешь?..

— Все равно, продолжай!

— Наступает поздняя осень. Плод отяжелел; он срывается и падает на землю... Он умирает, но в нем живет семя, а в этом семени живет в «возможности» и все будущее растение, с его будущею роскошной листвой и с его новым плодом. Семя падает на землю; а над землей низко подымается уже холодное солнце, бежит холодный ветер, несутся холодные тучи... Не только страсть, но и самая жизнь замирает тихо, незаметно... Земля все больше проступает из-под зелени своей чернотой, в небе господствуют холодные тоны... И вот наступает день, когда на эту смирившуюся и притихшую, будто овдовевшую землю падают миллионы снежинок, и вся она стано-

вится ровна, одноцветна и бела... Белый цвет — цвет холодного снега, цвет высочайших облаков, которые плывут в недосягаемом холоде поднебесных высот,— цвет величавых и бесплодных горных вершин... Это — эмблема бесстрастия и холодной, высокой святости, эмблема будущей бесплотной жизни. Что же касается черного цвета...

— Знаю,— перебил слепой.— Это — нет звуков, нет движений... ночь...

— Да, и потому это — эмблема печали и смерти...

Петр вздрогнул и сказал глухо:

— Ты сам сказал: смерти. А ведь для меня все черно... всегда и всюду черно!

— Неправда,— резко ответил Максим,— для тебя существуют звуки, тепло, движение... ты окружен любовью... Многие отдали бы свет очей за то, чем ты пренебрегаешь, как безумец... Но ты слишком эгоистично носишься со своим горем...

— Да! — воскликнул Петр страстно,— я ношусь с ним поневоле: куда же мне уйти от него, когда оно всюду со мной?

— Если бы ты мог понять, что на свете есть горе во сто раз больше твоего, такое горе, в сравнении с которым твоя жизнь, обеспеченная и окруженная участием, может быть названа блаженством,— тогда...

— Неправда, неправда! — гневно перебил слепой тем же тоном страстного возбуждения.— Я поменялся бы с последним нищим, потому что он счастливее меня. Да и слепых вовсе не нужно окружать заботой: это большая ошибка... Слепых нужно выводить на дорогу и оставлять там,— пусть просят милостыню. Если б я был просто нищим, я был бы менее несчастен. С утра я думал бы о том, чтобы достать обед, считал бы подаваемые копейки и боялся бы, что их мало. Потом радовался бы удачному сбору, потом старался бы собрать на ночлег. А если б это не удалось, я страдал бы от голода и холода... и все это не оставляло бы мне ни минуты и... и... от лишений я страдал бы менее, чем страдаю теперь...

— Ты думаешь? — спросил Максим холодно и посмотрел в сторону Эвелины. Во взгляде старика мелькнуло сожаление и участие. Девушка сидела серьезная и бледная.

— Уверен,— ответил Петр упрямо и жестко.— Я теперь часто завидую Егору, тому, что на колокольне. Часто, просыпаясь под утро, особенно, когда на дворе метель и вьюга, я вспоминаю Егора: вот он подымается на свою вышку...

— Ему холодно,— подсказал Максим

— Да, ему холодно, он дрожит и кашляет. И он проклинает Памфилия, который не заведет ему шубы. Потом он берет иззябшими руками веревки и звонит к заутрене. И забывает, что он слепой... Потому что тут было бы холодно и не слепому... А я не забываю, и мне...

— И тебе не за что проклинать!

— Да! мне не за что проклинать! Моя жизнь наполнена одной слепотой. Никто не виноват, но я несчастнее всякого нищего...

— Не стану спорить,— холодно сказал старик — Может быть, это и правда. Во всяком случае, если тебе и было бы хуже, то, может быть, сам ты был бы лучше.

Он еще раз бросил взгляд сожаления в сторону девушки и вышел из комнаты, стуча костылями.

Душевное состояние Петра после этого разговора еще обострилось, и он еще более погрузился в свою мучительную работу.

Иногда ему удавалось: он находил на мгновение те ощущения, о которых говорил Максим, и они присоединялись к его пространственным представлениям. Темная и грустная земля уходила куда-то вдаль: он мерил ее и не находил ей конца. А над нею было что-то другое... В воспоминании прокатывался гулкий гром, вставало представление о шири и небесном просторе. Потом гром смолкал, но что-то там, вверху, оставалось — что-то, рождавшее в душе ощущение величия и ясности. Порой это ощущение определялось: к нему присоединялся голос Эвелины и матери, «у которых глаза, как небо»; тогда возникающий образ, выплывший из далекой глубины воображения и слишком определившийся, вдруг исчезал, переходя в другую область.

Все эти темные представления мучили и не удовлетворяли. Они стоили больших усилий и были так неясны, что в общем он чувствовал лишь неудовлетворенность и тупую душевную боль, которая сопровождала все потуги

больной души, тщетно стремившейся восстановить полноту своих ощущений.

VIII

Подошла весна.

Верстах в шестидесяти от усадьбы Попельских в сторону, противоположную от Ставрученков, в небольшом городишке, была чудотворная католическая икона. Знатоки дела определили с полною точностью ее чудодейственную силу: всякий, кто приходил к иконе в день ее праздника пешком, пользовался «двадцатью днями отпущения», то есть все его беззакония, совершенные в течение двадцати дней, должны были идти на том свете насмарку. Поэтому каждый год, ранней весной, в известный день небольшой городок оживлялся и становился неузнаваем. Старая церковка принаряжалась к своему празднику первою зеленью и первыми весенними цветами, над городом стоял радостный звон колокола, грохотали «брички» панов, и богомольцы располагались густыми толпами по улицам, на площадях и даже далеко в поле. Тут были не одни католики. Слава N-ской иконы гремела далеко, и к ней приходили также недугующие и огорченные православные, преимущественно из городского класса.

В самый день праздника по обе стороны «каплицы» народ вытянулся по дороге несметною пестрою вереницей. Тому, кто посмотрел бы на это зрелище с вершины одного из холмов, окружавших местечко, могло бы показаться, что это гигантский зверь растянулся по дороге около часовни и лежит тут неподвижно, по временам только пошевеливая матовою чешуей разных цветов. По обеим сторонам занятой народом дороги в два ряда вытянулось целое полчище нищих, протягивавших руки за подаянием.

Максим на своих костылях и рядом с ним Петр об руку с Иохимом тихо двигались вдоль улицы, которая вела к выходу в поле.

Говор многоголосной толпы, выкрикивание евреев-факторов, стук экипажей,— весь этот грохот, катившийся какою-то гигантскою волной, остался сзади, сливаясь в одно беспрерывное, колыхавшееся, подобно волне, рокотание. Но и здесь, хотя толпа была реже, все же то и

дело слышался топот пешеходов, шуршание колес, людской говор. Целый обоз чумаков выезжал со стороны поля и, поскрипывая, грузно сворачивал в ближайший переулок.

Петр рассеянно прислушивался к этому живому шуму, послушно следуя за Максимом; он то и дело запахивал пальто, так как было холодно, и продолжал на ходу ворочать в голове свои тяжелые мысли.

Но вдруг, среди этой эгоистической сосредоточенности, что-то поразило его внимание так сильно, что он вздрогнул и внезапно остановился.

Последние ряды городских зданий кончились здесь, и широкая трактовая дорога входила в город среди заборов и пустырей. У самого выхода в поле благочестивые руки воздвигли когда-то каменный столб с иконой и фонарем, который, впрочем, скрипел только вверху от ветра, но никогда не зажигался. У самого подножия этого столба расположились кучкой слепые нищие, оттертые своими зрячими конкурентами с более выгодных мест. Они сидели с деревянными чашками в руках и по временам кто-нибудь затягивал жалобную песню:

— Под-дайте слипенським... ра-а-ди Христа...

День был холодный, нищие сидели здесь с утра, открытые свежему ветру, налетавшему с поля. Они не могли двигаться среди этой толпы, чтобы согреться, и в их голосах, тянувших по очереди унылую песню, слышалась безотчетная жалоба физического страдания и полной беспомощности. Первые ноты слышались еще довольно отчетливо, но затем из сдавленных грудей вырывался только жалобный ропот, замиравший тихою дрожью озноба. Тем не менее, даже последние, самые тихие звуки песни, почти терявшиеся среди уличного шума, достигая человеческого слуха, поражали всякого громадностью заключенного в них непосредственного страдания.

Петр остановился, и его лицо исказилось, точно какой-то слуховой призрак явился перед ним в виде этого страдальческого вопля.

— Что же ты испугался? — спросил Максим.— Это те самые счастливцы, которым ты недавно завидовал,— слепые нищие, которые просят здесь милостыню... Им немного холодно, конечно. Но ведь от этого, по-твоему, им только лучше.

— Уйдем! — сказал Петр, хватая его за руку.

— А, ты хочешь уйти! У тебя в душе не найдется другого побуждения при виде чужих страданий! Постой, я хочу поговорить с тобой серьезно и рад, что это будет именно здесь. Ты вот сердишься, что времена изменились, что теперь слепых не рубят в ночных сечах, как Юрка-бандуриста; ты досадуешь, что тебе некого проклинать, как Егору, а сам проклинаешь в душе своих близких за то, что они отняли у тебя счастливую долю этих слепых. Клянусь честью, ты, может быть, прав! Да, клянусь честью старого солдата, всякий человек имеет право располагать своей судьбой, а ты уже человек. Слушай же теперь, что я скажу тебе: если ты захочешь исправить нашу ошибку, если ты швырнешь судьбе в глаза все преимущества, которыми жизнь окружила тебя с колыбели, и захочешь испытать участь вот этих несчастных... я, Максим Яценко, обещаю тебе свое уважение, помощь и содействие... Слышишь ты меня, Петр Яценко? Я был немногим старше тебя, когда понес свою голову в огонь и сечу... Обо мне тоже плакала мать, как будет плакать о тебе. Но, черт возьми! я полагаю, что был в своем праве, как и ты теперь в своем!.. Раз в жизни к каждому человеку приходит судьба и говорит: выбирай! Итак, тебе стоит захотеть... Хведор Кандыба, ты здесь? — крикнул он по направлению к слепым.

Один голос отделился от скрипучего хора и ответил:

— Тут я... Это вы кличете, Максим Михайлович?

— Я! Приходи через неделю, куда я сказал.

— Приду, паночку.— И голос слепца опять примкнул к хору.

— Вот, ты увидишь человека,— сказал, сверкая глазами, Максим,— который вправе роптать на судьбу и на людей. Поучись у него переносить свою долю .. А ты...

— Пойдем, паничу,— сказал Иохим, кидая на старика сердитый взгляд.

— Нет, постой! — гневно крикнул Максим — Никто еще не прошел мимо слепых, не кинув им хоть пятака. Неужели ты убежишь, не сделав даже этого? Ты умеешь только кощунствовать со своею сытою завистью к чужому голоду!..

Петр поднял голову, точно от удара кнутом. Вынув из кармана свой кошелек, он пошел по направлению к

слепым. Нащупав палкою переднего, он разыскал рукой деревянную чашку с медью и бережно положил туда свои деньги. Несколько прохожих остановились и смотрели с удивлением на богато одетого и красивого панича, который ощупью подавал милостыню слепому, принимавшему ее также ощупью.

Между тем Максим круто повернулся и заковылял по улице. Его лицо было красно, глаза горели... С ним была, очевидно, одна из тех вспышек, которые были хорошо известны всем, знавшим его в молодости. И теперь это был уже не педагог, взвешивающий каждое слово, а страстный человек, давший волю гневному чувству. Только кинув искоса взгляд на Петра, старик как будто смягчился. Петр был бледен, как бумага, но брови его были сжаты, а лицо глубоко взволновано.

Холодный ветер взметал за ними пыль на улицах местечка. Сзади, среди слепых поднялся говор и ссоры из-за данных Петром денег...

IX

Было ли это следствием простуды, или разрешением долгого душевного кризиса, или, наконец, то и другое соединилось вместе, но только на другой день Петр лежал в своей комнате в нервной горячке. Он метался в постели с искаженным лицом, по временам к чему-то прислушиваясь, и куда-то порывался бежать. Старый доктор из местечка щупал пульс и говорил о холодном весеннем ветре; Максим хмурил брови и не глядел на сестру.

Болезнь была упорна. Когда наступил кризис, больной лежал несколько дней почти без движения. Наконец молодой организм победил.

Раз, светлым весенним утром, яркий луч прорвался в окно и упал к изголовью больного. Заметив это, Анна Михайловна обратилась к Эвелине:

— Задерни занавеску... Я так боюсь этого света...

Девушка поднялась, чтобы исполнить приказание, но неожиданно раздавшийся, в первый раз, голос больного остановил ее:

— Нет, ничего. Пожалуйста... оставьте так...

Обе женщины радостно склонились над ним.

— Ты слышишь?.. Я здесь!.. — сказала мать.

— Да! — ответил он и потом смолк, будто стараясь что-то припомнить.— Ах, да!..— заговорил он тихо и вдруг попытался подняться.— Тот... Федор приходил уже? — спросил он.

Эвелина переглянулась с Анной Михайловной, и та закрыла ему рот рукой.

— Тише, тише! Не говори; тебе вредно.

Он прижал руку матери к губам и покрыл ее поцелуями. На его глазах стояли слезы. Он долго плакал, и это его облегчило.

Несколько дней он был как-то кротко задумчив, и на лице его появлялось выражение тревоги всякий раз, когда мимо комнаты проходил Максим. Женщины заметили это и просили Максима держаться подальше. Но однажды Петр сам попросил позвать его и оставить их вдвоем.

Войдя в комнату, Максим взял его за руку и ласково погладил ее.

— Ну-ну, мой мальчик,— сказал он.— Я, кажется, должен попросить у тебя прощения...

— Я понимаю,— тихо сказал Петр, отвечая на пожатие.— Ты дал мне урок, и я тебе за него благодарен.

— К черту уроки! — ответил Максим с гримасой нетерпения.— Слишком долго оставаться педагогом — это ужасно оглупляет. Нет, этот раз я не думал ни о каких уроках, а просто очень рассердился на тебя и на себя...

— Значит, ты, действительно, хотел, чтобы?..

— Хотел, хотел!.. Кто знает, чего хочет человек, когда взбесится... Я хотел, чтобы ты почувствовал чужое горе и перестал так носиться со своим...

Оба замолчали...

— Эта песня,— через минуту сказал Петр,— я помнил ее даже во время бреда... А кто этот Федор, которого ты звал?

— Федор Кандыба, мой старый знакомый.

— Он тоже... родился слепым?

— Хуже: ему выжгло глаза на войне.

— И он ходит по свету и поет эту песню?

— Да, и кормит ею целый выводок сирот племянников. И еще находит для каждого веселое слово и шутку...

— Да? — задумчиво переспросил Петр.— Как хочешь, в этом есть какая-то тайна. И я хотел бы...

— Что ты хотел бы, мой мальчик?..

Через несколько минут послышались шаги, и Анна Михайловна вошла в комнату, тревожно вглядываясь в их лица, видимо взволнованные разговором, который оборвался с ее приходом.

Молодой организм, раз победив болезнь, быстро справлялся с ее остатками. Недели через две Петр был уже на ногах.

Он сильно изменился, изменились даже черты лица,— в них не было заметно прежних припадков острого внутреннего страдания. Резкое нравственное потрясение перешло теперь в тихую задумчивость и спокойную грусть.

Максим боялся, что это только временная перемена, вызванная тем, что нервная напряженность ослаблена болезнью. Однажды в сумерки, подойдя в первый раз после болезни к фортепиано, Петр стал по обыкновению фантазировать. Мелодии звучали грустные и ровные, как его настроение. Но вот, внезапно, среди звуков, полных тихой печали, прорвались первые ноты песни слепых. Мелодия сразу распалась... Петр быстро поднялся, его лицо было искажено, и на глазах стояли слезы. Видимо, он не мог еще справиться с сильным впечатлением жизненного диссонанса, явившегося ему в форме этой скрипучей и тяжкой жалобы.

В этот вечер Максим опять долго говорил с Петром наедине. После этого проходили недели, и настроение слепого оставалось все тем же. Казалось, слишком острое и эгоистическое сознание личного горя, вносившее в душу пассивность и угнетавшее врожденную энергию, теперь дрогнуло и уступило место чему-то другому. Он опять ставил себе цели, строил планы; жизнь зарождалась в нем, надломленная душа давала побеги, как захиревшее деревцо, на которое весна пахнула живительным дыханием... Было, между прочим, решено, что еще этим летом Петр поедет в Киев, чтобы с осени начать уроки у известного пианиста При этом оба они с Максимом настояли, что они поедут только вдвоем.

X

Теплою июльскою ночью бричка, запряженная парою лошадей, остановилась на ночлег в поле, у опушки леса. Утром, на самой заре, двое слепых прошли шляхом.

Один вертел рукоятку примитивного инструмента: деревянный валик кружился в отверстии пустого ящика и терся о туго натянутые струны, издававшие однотонное и печальное жужжание. Несколько гнусавый, но приятный старческий голос пел утреннюю молитву.

Проезжавшие дорогой хохлы с таранью видели, как слепцов подозвали к бричке, около которой, на разостланном ковре, сидели ночевавшие в степи господа. Когда через некоторое время обозчики остановились на водопой у криницы, то мимо них опять прошли слепцы, но на этот раз их уже было трое. Впереди, постукивая перед собою длинной палкой, шел старик с развевающимися седыми волосами и длинными белыми усами. Лоб его был покрыт старыми язвами, как будто от обжога; вместо глаз были только впадины. Через плечо у него была надета широкая тесьма, привязанная к поясу следующего. Второй был рослый детина, с желчным лицом, сильно изрытым оспой. Оба они шли привычным шагом, подняв незрячие лица кверху, как будто разыскивая там свою дорогу. Третий был совсем юноша, в новой крестьянской одежде, с бледным и как будто слегка испуганным лицом; его шаги были неуверенны, и по временам он останавливался, как будто прислушиваясь к чему-то назади и мешая движению товарищей.

Часам к десяти они ушли далеко. Лес остался синей полосой на горизонте. Кругом была степь, и впереди слышался звон разогреваемой солнцем проволоки на шоссе, пересекавшем пыльный шлях. Слепцы вышли на него и повернули вправо, когда сзади послышался топот лошадей и сухой стук кованых колес по щебню. Слепцы выстроились у края дороги. Опять зажужжало деревянное колесо по струнам, и старческий голос затянул:

— Под-дайте сли-пеньким...— К жужжанию колеса присоединился тихий перебор струн под пальцами юноши.

Монета зазвенела у самых ног старого Кандыбы. Стук колес смолк, видимо, проезжающие остановились, чтобы посмотреть, найдут ли слепые монету. Кандыба сразу нашел ее, и на лице появилось довольное выражение.

— Бог спасет,— сказал он по направлению к бричке, в сиденье которой виднелась квадратная фигура седого господина, и два костыля торчали сбоку.

Старик внимательно смотрел на юношу-слепца... Тот стоял бледный, но уже успокоившийся. При первых же звуках песни его руки нервно забегали по струнам, как будто покрывая их звоном ее резкие ноты... Бричка опять тронулась, но старик долго оглядывался назад.

Вскоре стук колес замолк в отдалении. Слепцы опять вытянулись в линию и пошли по шоссе...

— У тебя, Юрий, легкая рука,— сказал старик.— И играешь славно...

Через несколько минут средний слепец спросил:

— По обещанию идешь в Почаев?.. Для бога?

— Да,— тихо ответил юноша.

— Думаешь, прозришь?..— спросил тот опять с горькой улыбкой...

— Бывает,— мягко сказал старик.

— Давно хожу, а не встречал,— угрюмо возразил рябой, и они опять пошли молча. Солнце подымалось все выше, виднелась только белая линия шоссе, прямого как стрела, темные фигуры слепых и впереди черная точка проехавшего экипажа. Затем дорога разделилась. Бричка направилась к Киеву, слепцы опять свернули проселками на Почаев.

Вскоре из Киева пришло в усадьбу письмо от Максима. Он писал, что оба они здоровы и что все устраивается хорошо.

А в это время трое слепых двигались все дальше. Теперь все шли уже согласно. Впереди, все так же постукивая палкой, шел Кандыба, отлично знавший дороги и поспевавший в большие села к праздникам и базарам. Народ собирался на стройные звуки маленького оркестра, и в шапке Кандыбы то и дело звякали монеты.

Волнение и испуг на лице юноши давно исчезли, уступая место другому выражению. С каждым новым шагом навстречу ему лились новые звуки неведомого, широкого, необъятного мира, сменившего теперь ленивый и убаюкивающий шорох тихой усадьбы... Незрячие глаза расширялись, ширилась грудь, слух еще обострялся; он узнавал своих спутников, добродушного Кандыбу и желчного Кузьму, долго брел за скрипучими возами чумаков, ночевал в степи у огней, слушал гомон ярмарок и базаров, узнавал горе, слепое и зрячее, от которого не раз больно сжималось его сердце... И странное дело —

теперь он находил в своей душе место для всех этих ощущений. Он совершенно одолел песню слепых, и день за днем под гул этого великого моря все более стихали на дне души личные порывания к невозможному... Чуткая память ловила всякую новую песню и мелодию, а когда дорогой он начинал перебирать свои струны, то даже на лице желчного Кузьмы появлялось спокойное умиление. По мере приближения к Почаеву банда слепых все росла.

Позднею осенью, по дороге, занесенной снегами, к великому удивлению всех в усадьбе, панич неожиданно вернулся с двумя слепцами в нищенской одежде. Кругом говорили, что он ходил в Почаев по обету, чтобы вымолить у почаевской богоматери исцеление.

Впрочем, глаза его оставались по-прежнему чистыми и по-прежнему незрячими. Но душа, несомненно, исцелилась. Как будто страшный кошмар навсегда исчез из усадьбы... Когда Максим, продолжавший писать из Киева, наконец, вернулся тоже, Анна Михайловна встретила его фразой: «Я никогда, никогда не прощу тебе этого». Но лицо ее противоречило суровым словам...

Долгими вечерами Петр рассказывал о своих странствиях, и в сумерки фортепиано звучало новыми мелодиями, каких никто не слышал у него раньше... Поездка в Киев была отложена на год, вся семья жила надеждами и планами Петра...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

В ту же осень Эвелина объявила старикам Яскульским свое неизменное решение выйти за слепого «из усадьбы». Старушка мать заплакала, а отец, помолившись перед иконами, объявил, что, по его мнению, именно такова воля божия относительно данного случая.

Сыграли свадьбу. Для Петра началось молодое тихое счастье, но сквозь это счастье все же пробивалась какая-то тревога: в самые светлые минуты он улыбался

так, что сквозь эту улыбку виднелось грустное сомнение, как будто он не считал этого счастья законным и прочным. Когда же ему сообщили, что, быть может, он станет отцом, он встретил это сообщение с выражением испуга.

Тем не менее настоящая его жизнь, проходившая в серьезной работе над собой, в тревожных думах о жене и будущем ребенке, не позволяла ему сосредоточиваться на прежних бесплодных потугах. По временам также, среди этих забот, в его душе поднимались воспоминания о жалобном вопле слепых. Тогда он отправлялся в село, где на краю стояла теперь новая изба Федора Кандыбы и его рябого племянника. Федор брал свою кобзу, или они долго разговаривали, и мысли Петра принимали спокойное направление, а его планы опять крепли.

Теперь он стал менее чувствителен к внешним световым побуждениям, а прежняя внутренняя работа улеглась. Тревожные органические силы уснули: он не будил их сознательным стремлением воли — слить в одно целое разнородные ощущения. На месте этих бесплодных потуг стояли живые воспоминания и надежды. Но, кто знает,— быть может, душевное затишье только способствовало бессознательной органической работе, и эти смутные, разрозненные ощущения тем успешнее прокладывали в его мозгу пути по направлению друг к другу. Так, во сне мозг часто свободно творит идеи и образы, которых ему никогда бы не создать при участии воли.

II

В той самой комнате, где некогда родился Петр, стояла тишина, среди которой раздавался только всхлипывающий плач ребенка. Со времени его рождения прошло уже несколько дней, и Эвелина быстро поправлялась. Но зато Петр все эти дни казался подавленным сознанием какого-то близкого несчастия.

Приехал доктор. Взяв ребенка на руки, он перенес и уложил его поближе к окну. Быстро отдернув занавеску, он пропустил в комнату луч яркого света и наклонился над мальчиком с своими инструментами. Петр сидел тут же с опущенной головой, все такой же подавленный и безучастный. Казалось, он не придавал действиям доктора ни малейшего значения, предвидя вперед результаты.

— Он, наверное, слеп,— твердил он.— Ему не следовало бы родиться.

Молодой доктор не отвечал и молча продолжал свои наблюдения. Наконец он положил офтальмоскоп, и в комнате раздался его уверенный, спокойный голос:

— Зрачок сокращается. Ребенок видит несомненно.

Петр вздрогнул и быстро стал на ноги. Это движение показывало, что он слышал слова доктора, но, судя по выражению его лица, он как будто не понял их значения. Опершись дрожащею рукой на подоконник, он застыл на месте с бледным, приподнятым кверху лицом и неподвижными чертами.

До этой минуты он находился в состоянии странного возбуждения. Он будто не чувствовал себя, но вместе с тем все фибры в нем жили и трепетали от ожидания.

Он сознавал темноту, которая его окружала. Он ее выделил, чувствовал ее вне себя, во всей ее необъятности. Она надвигалась на него, он охватывал ее воображением, как будто меряясь с нею. Он вставал ей навстречу, желая защитить своего ребенка от этого необъятного, колеблющегося океана непроницаемой тьмы.

И пока доктор в молчании делал свои приготовления, он все находился в этом состоянии. Он боялся и прежде, но прежде в его душе жили еще признаки надежды. Теперь страх, томительный и ужасный, достиг крайнего напряжения, овладев возбужденными до последней степени нервами, а надежда замерла, скрывшись где-то в глубоких тайниках его сердца. И вдруг эти два слова: «ребенок видит!» — перевернули его настроение. Страх мгновенно схлынул, надежда также мгновенно превратилась в уверенность, осветив чутко приподнятый душевный строй слепого. Это был внезапный переворот, настоящий удар, ворвавшийся в темную душу поражающим, ярким, как молния, лучом. Два слова доктора будто прожгли в его мозгу огненную дорогу... Будто искра вспыхнула где-то внутри и осветила последние тайники его организма... Все в нем дрогнуло, и сам он задрожал, как дрожит туго натянутая струна под внезапным ударом.

И вслед за этой молнией перед его потухшими еще до рождения глазами вдруг зажглись странные призра-

ки. Были ли это лучи или звуки, он не отдавал себе отчета. Это были звуки, которые оживали, принимали формы и двигались лучами. Они сияли, как купол небесного свода, они катились, как яркое солнце по небу, они волновались, как волнуется шепот и шелест зеленой степи, они качались, как ветви задумчивых буков.

Это было только первое мгновение, и только смешанные ощущения этого мгновения остались у него в памяти. Все остальное он впоследствии забыл. Он только упорно утверждал, что в эти несколько мгновений он видел.

Что именно он видел, и как видел, и видел ли действительно,— оставалось совершенно неизвестным. Многие говорили ему, что это невозможно, но он стоял на своем, уверяя, что видел небо и землю, мать, жену и Максима.

В течение нескольких секунд он стоял с приподнятым кверху и просветлевшим лицом. Он был так странен, что все невольно обратились к нему, и кругом все смолкло. Всем казалось, что человек, стоявший среди комнаты, был не тот, которого они так хорошо знали, а какой-то другой, незнакомый. А тот прежний исчез, окруженный внезапно опустившеюся на него тайной.

И он был с этою тайной наедине несколько кратких мгновений... Впоследствии от них осталось только чувство какого-то удовлетворения и странная уверенность, что тогда он видел.

Могло ли это быть на самом деле?

Могло ли быть, чтобы смутные и неясные световые ощущения, пробивавшиеся к темному мозгу неизвестными путями в те минуты, когда слепой весь трепетал и напрягался навстречу солнечному дню,— теперь, в минуту внезапного экстаза, всплыли в мозгу, как проявляющийся туманный негатив?..

И перед незрячими глазами встало синее небо и яркое солнце, и прозрачная река с холмиком, на котором он пережил так много и так часто плакал еще ребенком... И потом и мельница, и звездные ночи, в которые он так мучился, и молчаливая, грустная луна... И пыльный шлях, и линия шоссе, и обозы с сверкающими шинами колес, и пестрая толпа, среди которой он сам пел песню слепых...

Или в его мозгу зароились фантастическими призраками неведомые горы, и легли вдаль неведомые равнины, и чудные призрачные деревья качались над гладью неведомых рек, и прозрачное солнце заливало эту картину ярким светом,— солнце, на которое смотрели бесчисленные поколения его предков?

Или все это роилось бесформенными ощущениями в той глубине темного мозга, о которой говорил Максим, и где лучи и звуки откладываются одинаково весельем или грустью, радостью или тоской?..

И он только вспоминал впоследствии стройный аккорд, прозвучавший на мгновение в его душе,— аккорд, в котором сплелись в одно целое все впечатления его жизни, ощущения природы и живая любовь.

Кто знает?

Он помнил только, как на него спустилась эта тайна и как она его оставила. В это последнее мгновение образы-звуки сплелись и смешались, звеня и колеблясь, дрожа и смолкая, как дрожит и смолкает упругая струна: сначала выше и громче, потом все тише, чуть слышно... казалось, что-то скатывается по гигантскому радиусу в беспросветную тьму...

Вот оно скатилось и смолкло.

Тьма и молчание... Какие-то смутные призраки пытаются еще возродиться из глубокого мрака, но они не имеют уже ни формы, ни тона, ни цвета... Только где-то далеко внизу зазвенели переливы гаммы, пестрыми рядами прорезали тьму и тоже скатились в пространство.

Тогда вдруг внешние звуки достигли его слуха в своей обычной форме. Он будто проснулся, но все еще стоял, озаренный и радостный, сжимая руки матери и Максима.

— Что это с тобой? — спросила мать встревоженным голосом.

— Ничего... мне кажется, что я... видел вас всех. Я ведь... не сплю?

— А теперь? — взволнованно спросила она.— Помнишь ли ты, будешь ли помнить?

Слепой глубоко вздохнул.

— Нет,— ответил он с усилием.— Но это ничего, потому что... Я отдал все это... ему... ребенку и... и всем...

Он пошатнулся и потерял сознание. Его лицо побледнело, но на нем все еще блуждал отблеск радостного удовлетворения.

ЭПИЛОГ

Прошло три года.

Многочисленная публика собралась в Киеве, во время «Контрактов» [1], слушать оригинального музыканта. Он был слеп, но молва передавала чудеса об его музыкальном таланте и о его личной судьбе. Говорили, будто в детстве он был похищен из зажиточной семьи бандой слепцов, с которыми бродил, пока известный профессор не обратил внимания на его замечательный музыкальный талант. Другие передавали, что он сам ушел из семьи к нищим из каких-то романтических побуждений. Как бы то ни было, контрактовая зала была набита битком, и сбор (имевший неизвестное публике благотворительное назначение) был полный.

В зале настала глубокая тишина, когда на эстраде появился молодой человек с красивыми большими глазами и бледным лицом. Никто не признал бы его слепым, если б эти глаза не были так неподвижны и если б его не вела молодая белокурая дама, как говорили, жена музыканта.

— Не мудрено, что он производит такое потрясающее впечатление,— говорил в толпе какой-то зоил своему соседу.— У него замечательно драматическая наружность.

Действительно, и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и неподвижные глаза, и вся его фигура предрасполагали к чему-то особенному, непривычному.

Южно-русская публика вообще любит и ценит свои родные мелодии, но здесь даже разношерстная «контрактовая» толпа была сразу захвачена глубокой искренностью выражения. Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источниками народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкою струею, то подни-

[1] Напомним, что «Контрактами» называют киевскую ярмарку.

маясь торжественным гимном, то разливаясь задушевным грустным напевом. Казалось по временам: то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве, на кургане, навевая смутные грезы о минувшем.

Когда он смолк, гром рукоплесканий охваченной восторгом толпы наполнил громадную залу. Слепой сидел с опущенною головой, удивленно прислушиваясь к этому грохоту. Но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам. Многолюдная зала мгновенно притихла.

В эту минуту вошел Максим. Он внимательно оглядел эту толпу, охваченную одним чувством, направившую на слепого жадные, горящие взгляды.

Старик слушал и ждал. Он больше, чем кто-нибудь другой в этой толпе, понимал живую драму этих звуков. Ему казалось, что эта могучая импровизация, так свободно льющаяся из души музыканта, вдруг оборвется, как прежде, тревожным, болезненным вопросом, который откроет новую рану в душе его слепого питомца. Но звуки росли, крепли, полнели, становились все более и более властными, захватывали сердце объединенной и замиравшей толпы.

И чем больше прислушивался Максим, тем яснее звучал для него в игре слепого знакомый мотив.

Да, это она, шумная улица. Светлая, гремучая, полная жизни волна катится, дробясь, сверкая и рассыпаясь тысячью звуков. Она то поднимается, возрастает, то падает опять к отдаленному, но неумолчному рокоту, оставаясь все время спокойной, красиво-бесстрастной, холодной и безучастной.

И вдруг сердце Максима упало. Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон.

Вырвался, прозвенел и замер. И опять живой рокот, все ярче и сильнее, сверкающий и подвижный, счастливый и светлый.

Это уже не одни стоны личного горя, не одно слепое страдание. На глазах старика появились слезы. Слезы были и на глазах его соседей.

«Он прозрел, да, это правда — он прозрел»,— думал Максим.

Среди яркой и оживленной мелодии, счастливой и свободной, как степной ветер, и, как он, беззаботной,

среди пестрого и широкого гула жизни, среди то грустного, то величавого напева народной песни все чаще, все настойчивее и сильнее прорывалась какая-то за душу хватающая нота.

«Так, так, мой мальчик,— мысленно ободрял Максим,— настигай их среди веселья и счастия...»

Через минуту над заколдованной толпой в огромной зале, властная и захватывающая, стояла уже одна только песня слепых...

— Подайте слипеньким... р-ради Христа.

Но это уже была не просьба о милостыне и не жалкий вопль, заглушаемый шумом улицы. В ней было все то, что было и прежде, когда, под его влиянием, лицо Петра искажалось и он бежал от фортепиано, не в силах бороться с ее разъедающей болью. Теперь он одолел ее в своей душе и побеждал души этой толпы глубиной и ужасом жизненной правды... Это была тьма на фоне яркого света, напоминание о горе среди полноты счастливой жизни...

Казалось, будто удар разразился над толпою, и каждое сердце дрожало, как будто он касался его своими быстро бегающими руками. Он давно уже смолк, но толпа хранила гробовое молчание.

Максим опустил голову и думал:

«Да, он прозрел... На место слепого и неутолимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных...»

И старый солдат все ниже опускал голову. Вот и он сделал свое дело, и он недаром прожил на свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой...

Так дебютировал слепой музыкант.

1886—1898

Ночью

Очерк

I

Было около полуночи. В комнате слышалось глубокое дыхание спящих детей.

В углу комнаты, на полу, стоял медный таз. На дне его было немного воды и стояла сальная свеча в подсвечнике. Свеча сильно нагорела, фитиль покрылся темною шапкой и тихо потрескивал. Кроме того, на стене стучал маятник, а на полу, в освещенном кружке около таза, разместились несколько тараканов. Сдавшись на задние лапки и подняв голову кверху, они смотрели на огонь и шевелили усами.

На дворе бушевала непогода.

Дождь стучал по крыше, трепал листья в саду, плескался на дворе в лужах. По временам он стихал и уносился вдаль, в темную глубину ночи, но после этого прилетал к дому с новой силой, бушевал еще больше, сильнее обливал крышу, хлестал по ставням, и порой казалось даже, что он струится и плещет уже в самой комнате... Тогда в ней водворялось какое-то беспокойство: маятник как будто смолкал, свеча готовилась погаснуть, с потолка сползали тени, тараканы тревожно водили усами и, видимо, собирались бежать.

Но бурные порывы непогоды продолжались недолго. Казалось, дождь решил про себя никогда уже не прекращаться, и когда ветер оставлял его в покое, он прини-

мался гудеть широко и ровно — и на дворе, и в саду, и в переулке, и в пустыре по полям... Гул этот, просачиваясь сквозь запертые ставни, стоял в комнате то ровным жужжанием, то тихими всплесками.

Тогда маятник принимался опять отчеканивать свои удары с резким упрямством, свеча тихо кряхтела, тараканы успокаивались, хотя, по-видимому, упрямство дождя наводило на них грустное раздумье.

Все это слышал и глядел на все это из-под своего одеяла один из двух братьев-погодков, которые спали в освещенной комнате. Старшего звали Васей, младшего — Марком. В семействе был обычай давать шутливые прозвища. У Васи была очень большая голова, которою он в раннем детстве постоянно стукался об пол, поэтому его прозвали Голованом. Марк был некрасив и смотрел несколько исподлобья, отчего получил название Мордика.

Мордик сладко спал, а Голован уже с полминуты прислушивался к шуму дождя.

Он был большой фантазер и часто думал о том, что происходит на свете, когда все спят: и он, и Марк, и девочки, и старая нянька,— и, значит, некому смотреть... Неужели комната остается все такая же, и маятник продолжает стучать, хотя его никто не слушает, и свеча продолжает светить, хотя светить некому, и тараканы только бессмысленно сидят на полу, уставившись на огонь?.. Не раз уже просыпаясь с этой мыслью, он осторожно выглядывал из-под одеяла... На этот раз он сам не заметил, когда проснулся, и ему показалось, что, наконец-то, он застигнет комнату врасплох. Вот уже с полминуты он смотрит на нее, не шевелясь, полуприщуренным глазом, а в ней все продолжается какая-то особенная, таинственная жизнь, которая прячется обыкновенно, когда на нее смотрят.

Все в ней живо, удивительно, необычно и страшно... Дождь мечется и злится снаружи, отбиваясь от ветра, маятник спорит с шумом дождя, свеча уныло кряхтит, тараканы хранят разумный вид, как будто сейчас только разговаривали между собой и решили единогласно, что положение свечи действительно жалкое, а дождь буянит совершенно напрасно. Кроме того, Вася сознавал, что все они вместе — вся комната со всеми предме-

тами — смотрят недоброжелательно на детей, которые спят, ничего не подозревая, в своих постелях.

Однако было и еще что-то самое странное, что Голован никак не мог уловить. Когда же он раскрыл совсем глаза и шевельнулся,— все сразу исчезло.

Маятник застучал тише и без особенного выражения, свеча просто трещала, а не кряхтела, комната спохватилась и приняла обычный, будничный вид.

А между тем он все же чувствовал, что что-то такое странно... в нем самом, или в комнате, или, может, от этого шума. Нет, это простой дождь — шумит вовсе не громко, точно бормочет кто-то вяло и неразборчиво. Что-то струится и каплет, точно кто плачет под стеной, и чьи-то вздохи проносятся по деревьям сада... А в саду теперь темно меж деревьев, и в беседку ни один человек не решился бы пойти в полночь, да еще в дождь. Марк хвастался раз, что пошел бы, если б ему позволили... Но и то, конечно, не в такую ненастную, бурную ночь...

По спине у Васи пробежали мурашки, он припал к подушке и завернулся с головой в одеяло.

Тогда ему показалось, что где-то в стене, или за стеной, или под полом происходит странное движение и говор. Слышались чьи-то голоса и шум чьих-то шагов.

Что это такое? Он высунул голову, чтобы яснее слышать, но тогда звуки опять исчезли. Ему казалось, что он должен бы знать, что это такое, и тогда он понял бы и то, отчего ему кажется странно. Но он забыл и не может вспомнить, потому что во сне ему снилось совсем другое.

Тогда им стала овладевать тревога.

— А знаешь, Маркуша, что я скажу тебе? — сказал он вкрадчиво, обращаясь к спящему брату.

Но Марк ответил только продолжительным храпом.

II

В детской существовали некоторые традиции. Каждую ночь около часу оба мальчика просыпались и сходились у таза со свечой. Это было нечто вроде ночного клуба, который иногда посещался и девочками. Последнее слу-

чалось не часто: для этого девочкам недостаточно было проснуться вовремя,— нужно было еще обмануть бдительность старой няньки, спавшей с ними в соседней темной комнате. Если это удавалось, то старшая, иногда при помощи братьев, вынимала из постельки самую младшую, Шурочку, и обе они, жмурясь и протирая глаза, появлялись в дверях и бежали на огонь свечи. Тогда тараканы совсем удалялись от таза и только издали сердито уставлялись своими усищами на детвору, которая, как и они, выползала из углов и отвоевывала у них место.

Тогда начинались долгие и очень занимательные разговоры. Никогда детям не говорилось так дружно и хорошо: казалось, тихий ночной час придавал беседе особую прелесть мечты и фантастической неопределенности, а общая забота о том, чтобы не разбудить няньку, сплачивала мальчиков и девочек в тесный кружок ночных заговорщиков.

Впрочем, девочки говорили очень мало: они прихватывали с собой одеяла, простыни, платья и напяливали все это на себя как попало. Старшая помогала младшей, а та беспрекословно повиновалась. Чем эта костюмировка бывала нелепее, тем больше доставляла наслаждения. В особенности если удавалось прихватить нянькины башмаки и ее красный, с большими цветами, головной платок, тогда обе девочки замирали в молчаливом самосозерцании. Протянув ножонки в огромных башмаках, не шевеля головой в фантастическом уборе, Шура сидела солидно и молча, а старшая, Маша, делала какие-то гримасы. Она воображала себя большою дамой, а мальчики в одних рубашонках казались ей кавалерами во фраках.

Старая нянька много воевала с этою привычкой, но окончательно победить ее не могла. Путем многих столкновений между обеими сторонами установилось нечто вроде компромисса. Никто не имел права будить других. Но, проснувшись самостоятельно, мальчики могли сходиться у таза, лишь бы вести себя тихо. С девочками история была сложнее. Заслышав малейший шорох в их кроватках, нянька, как-то даже не давая себе труда окончательно проснуться, схватывала беглянку и укладывала обратно. Тогда дело считалось проигранным и вто-

ричная попытка — нечестной. Пойманная вскоре засыпала.

Но если беглянке удавалось уже сойти на пол и добежать до порога, тогда няньке приходилось махнуть рукой. Когда она пускалась в погоню, подымался страшный рев, мальчики вскакивали и бежали на защиту, крича, что Маня уже вошла в их комнату, что нянька почему-то «не имеет права» и т. д. Происходил страшный кавардак, и обе воюющие стороны подвергались опасности высшего вмешательства. Беда, если шум достигал до слуха отца. Но если даже одна мать замечала возню в детской, она на следующее утро призывала детей и няньку.

— Что у вас там было опять? — спрашивала она с выражением неудовольствия, которое огорчало всех даже больше отцовского гнева.— Никогда больше не смейте собираться у свечки! — говорила она детям и тотчас же, обратясь к няньке, прибавляла: — И вечно ты... старая.

Эти последние слова почему-то совершенно уничтожали в глазах детей смысл первого запрещения.

— Ну, что взяла, с-с-старая?! — тихо, но с чрезвычайною язвительностью дразнили они ее, возвращаясь гурьбой в детскую. Нянька сердито возражала:

— Вечно мне за вас достанется, за баловников.

— А ты зачем поймала ее в нашей комнате?

— Неправда, я ее схватила в темной, а она вырвалась.

— Ах, неправда! Вот уже неправда! — горячо протестовала Маша.— Вовсе я была уже за порогом.

Няньке приходилось сдаться, тем более что спросонок она, по совести, не могла утверждать точно, где именно схватила беглянку. Вообще разбирательство возвращало весь вопрос на почву компромисса, который опять укреплялся и который дети исполняли вообще довольно честно.

III

Теперь Вася хитрил: он показывал вид, что не будит Марка, а считает его проснувшимся.

— Знаешь, что я скажу тебе?

Но ответом был лишь вздох и сонное бормотанье. Старуха тоже бормотала в соседней комнате. Дождь все лил, хотя немного тише. Теперь яснее слышались струйки, падавшие с крыши и с водосточных труб.

Глаза Голована стали невольно обращаться к темной комнате. Он всегда удивлялся, как это девочки не боятся спать в темноте, в которой ему всегда чудились странные фигуры. Некоторые из этих фигур были ему давно знакомы и теперь начинали уже роиться, хотя еще не были видны. Казалось, пока только еще шевелится сама темнота, переполненная начинающими определяться призраками.

Тихое всхрапывание няньки вспугивало их, они вздрагивали, смешивались и исчезали, но тотчас же возникали опять, каждый раз с большею настойчивостью.

Это было очень мучительно, и Головану становилось даже легче, когда, наконец, они появлялись яснее...

Прежде других появился, как и всегда, высокий щеголеватый господин, весь в зеленом, с ослепительно белыми воротничками и манжетами. Лица у него не было, и это-то казалось особенно страшно. Кроме того, он не имел выпуклостей, а как-то странно отграничивался от темноты, как будто темная пустота просто окрасилась в зеленый цвет. Иногда же Васе казалось, что господин вырезан из зеленого и белого картона, что не мешало ему прохаживаться очень чопорно и с большою важностью «фигурять», как выражались дети, которым Вася днем передразнивал его походку.

В первые мгновения зеленый господин появлялся в глубине комнаты, чуть видный. Он проходил по круговой линии, точно его кто передвигал на пружине, скрывался в левом углу и мгновенно опять появлялся у правой стороны, чтоб опять пройти по кругу, но уже ближе и яснее. Тогда-то Вася начинал его бояться. Сначала он старался не видеть зеленого господина, потом с язвительною иронией уверял себя, что господин вырезан из картона. Но когда он подходил каждый раз все ближе, Васе становилось все страшнее: а что, если у него окажется лицо и он взглянет прямо? Тогда уже придется окончательно отказаться от предположений о картоне...

Вместе с тем, около зеленого господина начинало шевелиться еще что-то маленькое и беспокойное. Оно уже вовсе не имело никакой формы и казалось просто комком темноты, которая копошилась и производила разные движения, смешные на вид, но, в сущности, страшные. Вася подозревал тут враждебную хитрость: сначала кажется смешным, чтобы привлечь внимание, а потом вдруг и у этого окажется лицо,— что тогда?

Окликнув еще раз Мордика и опять не получив ответа, Голован решил, что если он будет все лежать и смотреть в темноту, то ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно было отряхнуться от душевного застоя, из которого возникал кошмар, поэтому он встал и подошел к свечке. Тараканы, торопливо семеня ножками, перебежали на другую сторону таза.

Это заняло Голована на время, потом он стал прислушиваться к шуму дождя.

Дождь заметно потерял силу. Шепот его то стихал, то опять повышался, точно сонное дыхание. Зато подымался ветер, пробегал по вершинам деревьев, и тогда слышался резкий шелест. Вася представлял, как деревья клонятся среди ночной темноты и лепечут листвой; но потом он говорил себе, что это вовсе не деревья и не ветер, а гигантский лист бумаги кто-то ворочает на дворе, отчего и слышен шелест. Ему очень нравилось, что тотчас же выходило именно так, и даже самый звук менялся, и, вместо шороха влажной листвы, слышалось сухое шуршание бумаги. Потом он опять менял предположение: это среди ночи кто-то сыплет зерно из громадного мешка в гигантскую бочку. И тоже выходило. Когда ветер стихал, Голован говорил себе: «Пошел за новым мешком, сейчас принесет». И действительно, тотчас же опять слышалось ясно, как зерно сыплется, шуршит, падает на дно и бьется о стенки.

Хотя от этих произвольно изменяемых предположений ощущение, что есть что-то странное в доме, не прошло, но зато Головану удалось забыть о зеленом господине. Весь его кругозор теперь ограничивался освещенною частью пола, тазом, свечкой и тараканами, дремавшими напротив. Это однообразие наводило на него дремоту. От пламени свечки потянулись лучами к его глазу золотые нити; свеча стала расплываться.

IV

Но в эту минуту он вдруг почувствовал, что теперь он не один в комнате. Он вздрогнул, обернулся и увидел, что Марк стоит на своей кровати, опершись о стенку, и смотрит перед собой таким взглядом, точно он несовсем еще проснулся. Но когда Вася радостно обратился к нему, он тотчас вспомнил, что днем они поссорились из-за колоды карт. Поэтому он быстро лег в кровать и уткнулся в подушку. Васю это огорчило.

— Ты разве не пойдешь к свечке? — спросил он упавшим голосом.

— Не пойду! — решительно ответил Марк.

— Отчего?

— Ага, отчего? А карты помнишь?..

— Ну, выходи, завтра отдам.

— Врешь?

— Право, отдам. И еще дам трубу, играть до обеда.

— Ей-богу?

— Ну, ей-богу.

— Скажи три раза.

— Оставь.

— Нет, скажи три раза, а то сейчас засну.

В душе Васи подымалась глухая досада: разве мало одной клятвы? Но Марк был задира и иногда любил поломаться, а теперь вдобавок вымещал вчерашнюю досаду, сознавая, чтоГолован в его руках и исполнит его бесцельное требование. Действительно, покраснев от стыда, Вася скороговоркой произнес трижды: «Ей-богу, дам карты».

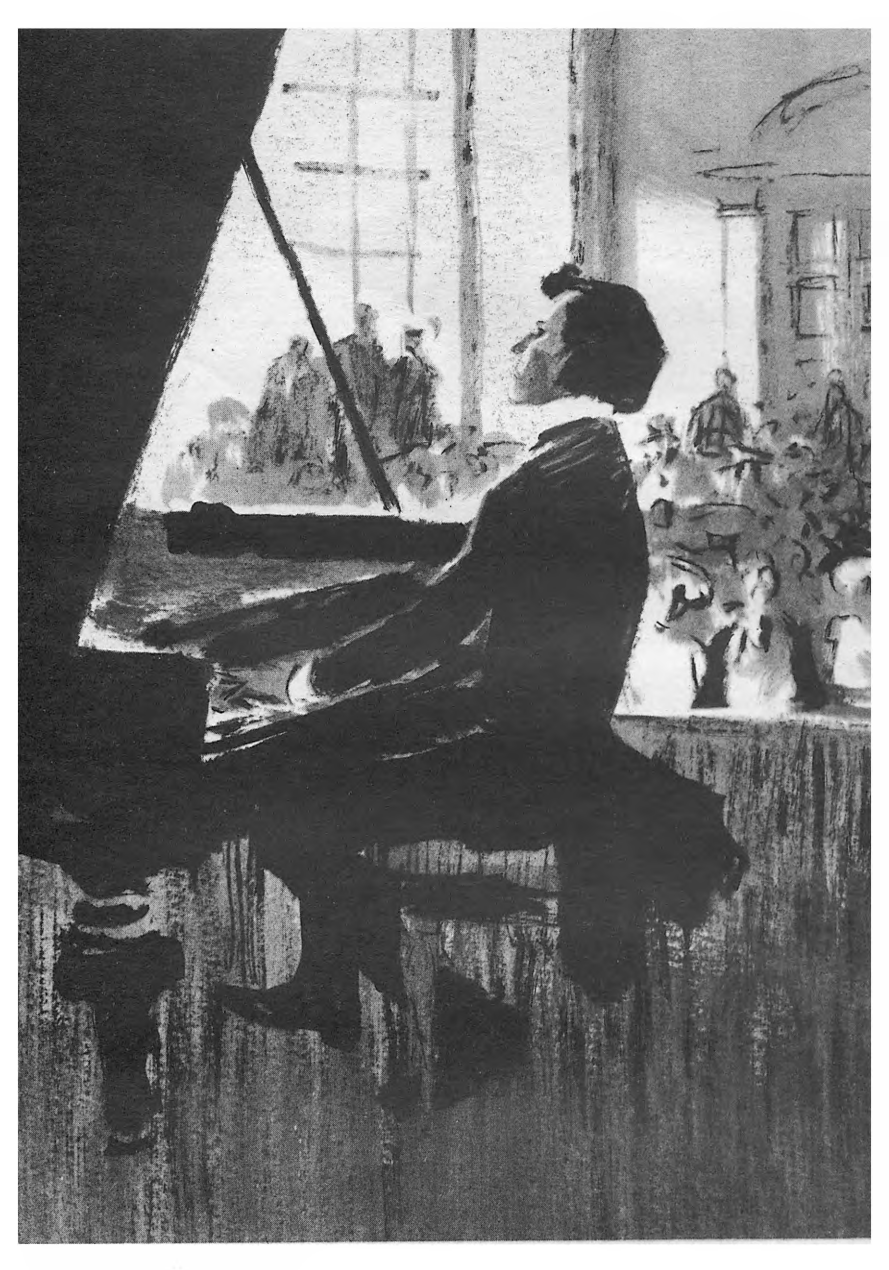
Тогда Мордик вылез из кровати и подошел к свечке, к большой радости брата.

Обыкновенно Вася просыпался первым, и промежуток одиночества казался ему ужасно долгим. Пока он старался не глядеть никуда по сторонам и ни о чем не думать, кроме свечи, тараканов и таза,— ему казалось, будто кто-то склоняется над ним, кто-то ходит сзади, кто-то глядит на него и дышит. Воображение чутко настраивалось, и он чувствовал себя совершенно одиноким в освещенном пространстве, точно это была вершина горы, а кругом раскинулась темная и враждебная бездна.

Зато, когда неробкий и положительный Марк подходил к свету, призраки тотчас же исчезали, и воображение направлялось в другую сторону: теперь в нем являлись другие образы, более спокойные и доставлявшие Васе величайшее наслаждение. По большей части это были рассказы из семейных преданий, которые Голован схватывал из отрывочных воспоминаний матери и отца в каком-нибудь беглом разговоре с гостями, в зале. Он ловил эти отрывки с бессознательною жадностью, и в ночные часы, у свечки, когда напуганное призраками воображение несколько успокаивалось, странное вдохновение охватывало юного сказочника: обрывки семейных преданий соединялись в стройное целое непонятным для него самого образом. Как это выходило, он не знал. Он не знал также, откуда брались некоторые подробности, которых никто ему не рассказывал, но только он был уверен, что все это истинная правда. Он говорил легко и свободно о том, что было с отцом и матерью, «когда нас еще не было», а порой — что было и с ним самим, когда его еще не было. Мать и отец в этих рассказах, правда, и самому Васе и его слушателям казались не совсем такими, как теперь. Они были те же, но немножко иные. Ведь, в сущности, все должно было быть немножко иное, «когда нас не было». Трудно, например, представить себе, что мама когда-то была такая же маленькая, как Шура, и играла куклами, а папа — было время — вовсе не ездил в должность, а скакал верхом на палке, в бумажном колпаке. Это было так странно и удивительно, что девочки хохотали, а самая младшая хлопала даже в ладоши, рискуя разбудить няньку. После этого ничто уже не казалось удивительным, и Голован свободно распоряжался событиями этого мира, с которыми дети свыкались, как свыкаешься, глядя в цветные стеклышки, с тем, что небо кажется красным, и деревья тоже, и красный кучер погоняет красную лошадь, причем красные колеса подымают красную пыль по дороге... У мамы был тогда большой козел, который всех убивал насмерть рогами, а мама водила его на ленточке, как собачонку. И когда папа задумал жениться на маме, то маме было еще только четырнадцать лет, и козел чуть не убил папу насмерть. Но папа все-таки украл маму из окна и женился. А потом, когда Вася был уже на све-

те, маму хотели у папы отнять, отдать в монастырь и чтоб они опять были не женаты, а Васи тогда опять не было бы, потому что у неженатых никогда не бывает детей. И все это он помнит. Ему кажется также, что он помнит, как папа украдывал маму из окна. Он в это время привстал в кроватке. Отец раз назвал его за этот рассказ дураком. Когда же он рассказал, какая была кроватка, и где она стояла, и какая была комната, то отец назвал его дураком вторично, потому что его тогда не было на свете, а в кроватке, которую он описывает, спала сама мама, когда еще была маленькой девочкой, и комната была та, где мама жила девочкой, а отец женился на ней в другом городе. И, должно быть, мама ему рассказывала о своей комнате, а он теперь врет, что сам ее видел. Все выходило как будто и так, и отец оказывался прав; но Вася с горечью думал про себя, что взрослые всегда оказываются правы, а в сущности это не так: стоило ему зажмурить глаза, и перед ним являлась какая-то комната, и окно, и папа несет из окна маму. При этом луна светила как-то странно, потому что и луна была, конечно, немножко иная, как и люди.

Все это и многое другое оживало ночью, и каждый раз, всматриваясь в эти картины, Вася открывал в них все новые подробности. Каждый раз новооткрытая мелочь срасталась с прежними так крепко, что при следующем рассказе ее уже нельзя было отделить, и Васе казалось, что он все это непременно видел и помнит. Это обстоятельство подавало иногда повод к недоразумениям: Марк, скептический и положительный, напоминал порой, что раньше Вася рассказывал иначе, и начинал утверждать, что все это враки и «не может быть». Вася страдал и старался смягчить Марка мягкостью и заискиванием; но иногда это не действовало, и Мордик, со свойственными ему упрямством и жестокостью, начинал отрицать все. Во-первых, он утверждал, что он все-таки был бы, если бы даже папу с мамой сделали опять неженатыми. Он все-таки был бы себе, да и только, знать бы ничего не хотел... Мало ли что!.. Потом он говорил, что Вася не видал, как папа украдывал маму через окно, потому что Васи тогда не было; папа с мамой были еще не женаты, а сам же Вася говорит, что у неженатых не бывает детей. Потом он шел еще дальше и подвер-



«СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»



«НОЧЬЮ»

гал сомнению самый факт «украдывания». Женятся всегда днем и выходят прямо в двери; он видел, как на соседнем дворе женился лакей. Он сошел с крыльца и сел на извозчика, а горничная, которая тоже с ним женилась, села в барскую коляску.

— Ну врешь... ну вот и врешь! — горячо вступалась за Васю Маша.— Я сама слышала, папа говорил в гостиной, что мама — краденая и что ее хотели отнять.

— Нет, не краденая.... нет, не краденая! — упрямо твердил Мордик.

— Значит, по-твоему, папа солгал, скажи: солгал? — наступала горячо Маша.

— Папа смеялся, а вы, дураки, верите!.. Что, взяла?.. И козла не было,— все это одни выдумки и враки и не может быть...

— Нет, не враки, нет не «не может быть», а ты — противный спорщик, гадкий Мордик!..

— Враки, враки, враки!..— твердил Марк с холодным озлоблением.

— Не враки, не враки, не враки!..— старалась переспорить его Маша, а маленькая Шура, всегдашняя сторонница сестры, начинала плакать.

Шум будил няньку... Но если даже этого не случалось, беседа все же была совершенно испорчена. Дети в эту минуту ненавидели Мордика, как и тогда, когда они с трудом возводили карточные домики, а он упрямо стрелял в них каждый раз из угла бумажными шариками.

Фантастические домики Голована тоже рушились от скептического прикосновения, и дети расходились от свечки в кислом и охлажденном настроении. Вася огорчался до слез, тем более, что он понимал, в сущности, что Мордик, пожалуй, прав. Но только дело-то не в этом. И Вася тоже прав, и он вовсе не лгун. И потом: как же не было козла, когда козел был наверное, и мама сама говорила?..

V

Подойдя теперь к свече, Марк первым делом изловчился и щелкнул одного из тараканов так ловко, что тот несколько раз перевернулся в воздухе и, как шальной, побежал в угол.

Марк держался смело и свободно Не особенно красивые черты производили впечатление уверенности и некоторой положительности. Вася был любимцем матери, Марк — отца, который любил его за положительность и храбрость. Он не боялся темной комнаты, не боялся холодной воды, кидался в реку так же свободно, как и взбирался на полок жарко натопленной бани Между тем воображение у Васи настраивалось уже заранее; заранее он пожимался от холода, и от этого, казалось, самая кожа делалась у него чувствительнее; он дрожал от холода там, где Марку было только прохладно, и обжигался тогда, когда Марк утверждал, стоя во весь рост на полке, что ему «ничего не жарко». Впрочем, исключая случаи, вроде вышеприведенного, братья были очень дружны и понимали друг друга с полуслова, а иногда и без слов.

— Ну, что, видел опять? — спросил Мордик.

— Зеленого? — видел.

— Врешь, я думаю.

— Ей-богу, видел.

— Ну?

— Ничего не лгу! Видел, больше ничего... Без лица.

— Из бумаги?

— Как будто... не надо говорить.

— Вот глупости! Я не боюсь. Чего же бояться, если он из картона? Ну, ты, зеленый, выходи! — храбрился он, повернувшись к дверям. Однако вид черной темноты подействовал и на него; он отвернулся и добавил уже тише: — Я бы его разодрал, больше ничего.

Вася поспешил переменить разговор.

— А тебе кажется странно? — спросил он.

Мордик подумал.

— В самом деле, кажется. А тебе?

— И мне кажется. Отчего бы это?

— Оттого, что... на дворе ветер,— сказал Мордик, прислушиваясь к шелесту листьев.

— И дождь шел большой. И теперь еще идет, но поменьше. Но это не оттого. А кажется тебе,— живо прибавил он,— что это шелестят листом бумаги... о-о-огромным?

Мордик прислушался и сказал:

— Нет, не кажется.

— А кажется тебе, что это сыплют зерном в бочку?

Мордик опять послушал.

— Вовсе не кажется, потому что это ветер.

— А мне иногда кажется. Но, все-таки, сегодня странно не от этого.

— А отчего?

— Не знаю. Знал, да забыл. Теперь не знаю.

— И я не знаю.

Оба помолчали.

В это время на другой половине дома, отделенной длинным коридором, скрипнула быстро отворенная дверь. Ей отозвалась в детской оконная рама, пламя свечи колыхнулось, и дверь опять захлопнулась.

— Слышал? — спросил Вася.

— Да, слышал... Постой-ка.

Действительно, в несколько мгновений, пока дверь открывалась и закрывалась, с другой половины донеслись каким-то комком смешанные звуки. Очевидно, там не спали и, пожалуй, не ложились всю ночь. Чей-то голос требовал воды, кто-то даже голосил и плакал, кто-то стонал... При последнем звуке у мальчиков сердца забились тревожно.

— Знаешь, что это там? — живо спросил Вася.

— Знаю. У мамы скоро родится девочка.

— А может мальчик.

— Н-ну... может и мальчик.

Мордик помнил два случая рождения, и оба раза это были девочки. Потому ему и теперь казалось, что должна родиться непременно девочка. Впрочем, так как он помнил рождение девочек, а своего и Васина не помнил, то порой ему приходила в голову неосновательная идея, что рождались только девочки, потому было время, когда их вовсе не было. А они, мальчики, никогда не родились и всегда были. Он не особенно верил сам в эту теорию, но она возвышала его в собственном мнении и давала преимущество перед девочками, которые тоже хотели бы «всегда быть», но должны были смириться перед недавностью факта рождения Шуры.

— Вот отчего и кажется странно...— сказал опять Вася.

— Вре-ешь...— протянул было Мордик, но потом согласился: — а пожалуй, твоя правда.

— Конечно, от этого. Видишь, там никто не ложился. И потом ведь это всегда бывает странно ..

Оба задумались.

— Вдруг не было девочки, вдруг есть...— сказал Голован.

— Да,— повторил и Мордик,— вдруг не было, вдруг есть... Странно: откуда берутся?.. Постой, я знаю,—поторопился он с открытием: — подкидывают!

Объяснение было просто, но неудовлетворительно.

— Нет,— сказал Голован.

— Отчего это нет?

— Оттого что... оттого... вот отчего нет: потому что откуда же тот человек возьмет, который подкинет?

— Он у другого.

— А другой?

— Еще у кого-нибудь.

— А еще кто-нибудь где возьмет?

— Н-не знаю... Няня говорит: меня под лопухом нашли. Пустяки, я думаю.

— Конечно, глупости. Кто туда положит ребенка? И насчет золотой нитки... будто на золотой нитке спускают,— тоже глупости.

— Уж эта старая скажет!.. Ну, а как по-твоему: откуда?

— Конечно, с того света.

Мордик задумался. Мысль показалась ему очень простой и ясной... Понятно: на этот свет попадают с того света.

— Ну, а как?

— Может быть, приносят ангелы.

— Ангелов, может, еще и нет.

— Ну, уж это ты не говори. Это грех. Уж это все знают, что есть.

— А дядя Михаил...

— Мало ли что. Когда люди видели...

— Кто видел?

— Многие видели. Я тоже видел... во сне...

— Какой он?

— Белый-белый. Летел от сада Выговских, все с дерева на дерево, а потом перелетел через огород, через площадь. А я смотрю, где он сядет. Сел на крышу на

лавчонке Мошка и стал трепыхать крыльями. Потом снялся и полетел далеко-далеко.

— Хорошо летает?

— Отлично. Я потом говорю Мошку: я видел во сне, что на твоей крыше сидел ангел.

— А Мошко что?

— А Мошко говорит: ай-вай, какая важность! У меня каждый шабаш бывают в доме ангелы, а черти насядут на крышу, все равно как галки на старую тополю...

— Хвастает.

— Н-нет, едва ли. У евреев многое бывает. А помнишь Юдка?

VI

Юдка был огромный жид, с громадною бородой и страшными полупомешанными глазами. Он разносил по домам лучшие сорта муки и продавал ее в розницу. Отмерив муку гарнцами, он потом прикидывал еще по щепотке—«для деток, для кухарки, для няньки, для кошки, для мышки». При этом его борода тряслась, а глаза вращались в орбитах. Как только его громадная фигура с мешком на согнутой спине являлась в воротах, детьми овладевало ощущение ужаса и любопытства. Они дрожали перед Юдкой, но не могли себе отказать в удовольствии посмотреть, как Юдка будет прикидывать «на кошку, на мышку». Он ходил каждую неделю и каждый раз производил на детей чрезвычайно сильное впечатление.

Как-то однажды Юдка вдруг исчез и не являлся несколько недель. И мать, и дети сильно недоумевали и думали, что старый жид умер. Оказалось другое, а именно: в судный день Юдку схватил жидовский черт, известный в народе под именем Хапуна. На кухне рассказывали историю со всеми подробностями. В судный день евреи собираются к вечеру в синагогу, оставляя «патынки» (туфли) у входа. Потом зажигают множество свечей, закрывают глаза и начинают жалобно кричать от страха. В это время Хапун на них налетает, как коршун, и хватает одного. Потом, когда выходят из синагоги, все разбирают свои патынки, но одна пара всегда остается. В этот раз остались громадные патынки ста-

рого Юдки, а потому все узнали, что Юдку схватил Хапун.

Потом Юдка вдруг опять появился, но он хромал и казался разбитым, а дети его стали бояться еще больше. Оказалось, что Юдку спас его приятель, мельник из Кодни. Мельник этот вышел вечером на свою греблю и стоял спокойно, почесывая брюхо и слушая, как вода шумит в лотоках и бугай бухает в очеретáх. А вечер был ясный. Вдруг видит: летит «какое-то» по небу. Присмотрелся, а это Хапун тащит огромного жида. «Ну,—думает мельник,— другого такого крупного жида не найти. Не иначе только Хапун моего покупателя, старого Юдку, на этот раз сцапал». Конечно, если бы не то, что Юдка всегда брал у мельника муку, никогда мельник не стал бы вмешиваться в это дело. Но тут он-таки пожалел старого знакомого. Поэтому, затопав ногами, он крикнул вдруг во весь голос: «Кинь, это мое!» Хапун выпустил ношу и взвился кверху, трепыхая крыльями, как молодой шуляк, по которому выстрелили из ружья (голос у коднинского мельника-таки мое почтение!). А бедный жид со всего размаху шлепнулся на греблю и сильно расшибся.

Юдка был налицо, и все видели, что он действительно хромал после этого происшествия. Поэтому и Мордик не стал спорить: действительно, у евреев многое бывает. Кроме того, напоминание об Юдке и вообще рассеяло в нем зачатки скептического упрямства.

— Да, так вот тогда Мошко много мне рассказывал... и то, как родятся дети.

— Ну?

— Он говорит, у бога есть два ангела: один вынимает из людей душу, а другой приносит новые души с того света. Вот когда надо у кого-нибудь родиться ребенку, та женщина делается больна.

— Отчего?

— А оттого, что бог посылает обоих ангелов: марш оба на землю к таким-то людям и ждите моего приказа. Если на тех людей бог не сердится, то говорит: положите ребенка около матери и ступайте оба назад. Тогда мать опять выздоравливает. А иногда говорит: возьми ты, смерть, душу у матери. И тогда мать умирает. А иногда говорит: возьми и мать, и ребенка,— тогда оба умирают.

— А знаешь что,— добавил Голован,— может, это и правда, потому что всегда боятся, когда надо ребенку родиться, и мама недавно говорила: а может, я умру.

— А тетя Катя и умерла.

— Ну, вот видишь.

— Должно быть, этот ангел страшный?

— Нет, зачем... я думаю, не очень страшный. Ведь он не по своей воле. Думаешь, ему очень приятно, когда через него все плачут? Да что ж ему делать? Бог велит,— он должен слушаться. Он ведь не от себя.

— А заметил ты, после того как Катя умерла, какие у Генриха глаза стали?

— Темные.

— Нет, не темные,— большие.

— Большие и темные. И никогда он с нами так не шалит, как бывало.

— И все ссорится и спорит с Михаилом.

— Я знаю, отчего он сердится. Я слышал, как они сильно ссорились. Михаил говорил: когда человек умрет, то из него сделается порошок, и человека нет вовсе. А Генрих говорит, что человек уходит на тот свет и смотрит оттуда, и жалеет...

— Так что? за что ж тут сердиться?

— Э! видишь: если из человека делается порошок, то, значит, и из Кати тоже. А он этого не хочет... Он ее любит.

— Как же любит, когда ее нету?..

— Любит...

Оба помолчали. Так как ни одному из них не приходило в голову снять со свечи, то она нагорела так сильно, что фитиль стал словно гриб. Придавленное пламя тянулось кверху языками, точно ветки дерева с обстриженною верхушкой; от этого освещенное пространство стало еще ограниченнее. Не было видно ни стен, ни потолка, ни окон. Темнота шатром нависла над мальчиками, и шатер этот вздрагивал и колебался. А плеск дождевых капель и шорох деревьев теперь, казалось, проникли в самую комнату и раздавались в ее темноте. И оба мальчика чувствовали, что такой странной ночи не было еще никогда.

Теперь оба уже уяснили себе содержание этого ощущения странности. Нездоровье матери и ее предчувст-

вие, тревожная нежность отца, воспоминание о смерти тети Кати, потом это необычайное движение, говор и топот шагов на той половине, и чей-то плач, и чьи-то стоны — все это было сведено к одному и получило форму. Несмотря на сомнительный авторитет лавочника Мошка, даже скептический Марк не находил возражений против теории, только что развитой Голованом. Новая жизнь готовилась войти в их дом, а идущая с ней об руку смерть простерла над домом свои темные крылья; вместе с слабым стоном матери, ее веяние пахнуло в детские души состраданием и ужасом.

— Слушай! — тихо сказал Марк.

— Что? — еще тише спросил Вася.

Марк наклонился к нему, как будто боясь, чтобы звук его слов не проник туда, за темный купол над их головами.

— Слушай... ведь если это правда, то, значит, оба они ..

— Да... где-нибудь тут...— Оба почувствовали внезапную дрожь.

— Разбудим девочек.

— И няньку... ступай разбуди.

— Я... боюсь.

— И... и я тоже,— признался бесстрашный Марк.

Оба брата инстинктивно подвинулись друг к другу и свечке. Темнота, до сих пор нависавшая сверху, теперь поглотила и печку, и стену, и кровати, и соседнюю комнату с девочками и нянькой, и даже самое воспоминание о них отодвинулось куда-то далеко. А шорох и шепот окончательно вошли со двора, и кто-то тихо говорил над головами двух братьев что-то непонятное, но очень важное.

Так прошло несколько минут. Может быть, прошло бы и больше, если бы Марку не пришло в голову снять нагар со свечки. Но как только он сделал это, пламя сразу выровнялось, купол над головами быстро раздвинулся, открывая потолок, стены, знакомую старую печку с задымленным отдушником, кровати с измятыми подушками и брошенными на пол одеялами и дверь в соседнюю спальню девочек. Вместе с тем шорох ушел из комнаты и, вместо важного голоса, слышался плеск разрозненных струек на дворе.

— Пойду разбужу,— сказал Мордик, подымаясь и направляясь в комнату девочек — Нянька, нянька, вставай! — тормошил он старуху.

Нянька быстро села на своей постели, с выпученными, удивленными глазами.

— А что? Разве уже? — спросила она испуганно.— Ах я, старая, проспала!

Она поправила на голове кичку, из-под которой выбились седые космы, и, быстро надев башмаки, накинула на плечи свитку.

— Кыш у меня!.. Сидите от-тут смирно, я скоро приду.

И старуха торопливо вышла в коридор. Вскоре ее шаги смолкли, и Марк смотрел на брата в печальном разочаровании.

— Ушла!.. Вот дура! — сказал он.

— Да, лучше было не будить. Как же теперь мы одни?

— Разбудим девочек.

Но девочки, разбуженные возней, проснулись сами.

Слышно было, как старшая помогает младшей выбраться из кроватки, и вскоре обе они появились в дверях, держась за руки.

— Здравствуйте, судари, вот и мы! — сказала Маша весело и немного жеманясь. Заметив, что няньки нет, она говорила радостно и громко.

— Тише, дура! — оборвал ее Марк.— У мамы родится новая девочка, а ты тут кричишь.

— Тише, все! — сказал старший, к чему-то прислушиваясь. Девочки смирно уселись около свечи и тоже смолкли.

VII

Дождь, очевидно, совсем перестал. Прежний непрерывный шум разорвался, и из-за него яснее выступили дальние звуки: колыхание древесных верхушек, лай сонной собаки и еще какой-то тихий гул, который, начавшись где-то очень далеко, на самом краю света, теперь понемногу вырастал и подкатывался все ближе.

— Кто-то едет,— сказал Мордик.

— Далеко, в городе...

Среди сна и тишины ночи, нарушаемой только плеском воды из водосточных труб да шелестом ветра, этот

одинокий звук колес невольно приковывал внимание. Кто едет, куда, в эту странную ночь?.. Вася задумался. Ему представилась в отдалении катящаяся по темным и пустым улицам маленькая коляска, непременно маленькая, с маленькими коваными колесиками, потому что и этот мелодичный рокот казался маленьким и тихим, хотя долетал ясно. Маленькие лошадки быстро отбивают дробь копытами по мостовой, и маленький кучер заносит руку с кнутом. Кто же это едет в поздний час по улицам спящего города?

Колеса рокотали, катились ближе, быстрее... Потом шум сразу оборвался, и послышалось только тихое тарахтение по мокрой немощеной дороге; то лязг обода о камешек, то скрип деревянного кузова прорывались время от времени и каждый раз все ближе.

— Полем едет... к нам,— сказал Мордик.

Дом стоял на краю города, рядом с широким пустырем, заросшим бурьянами и травой. Кто же это мог ехать к ним ночью, да еще в такую ночь, когда все так странно и у них должен родиться ребеночек? И сразу этот стук подъезжавшего экипажа присоединился ко всему, что было необычно, что творилось у них только в одну эту ночь...

Затаив дыхание, дети слушали, как отворились ворота, как колеса шуршат по двору и подъезжают к крыльцу. После этого суетня усилилась, участилось хлопанье дверей и движенье на той половине.

— Это привезли ребеночка? — спросила Маня.

— Молчи!..

Вася прислушался, и в его воображении рисовалась странная картина: ангелы вылезли из коляски. Они бережно несут ребеночка, отдают его маме и поздравляют: все слава богу, все слава богу! Берите его себе, все будут живы...

Но только странно: в доме все так тихо, и никто не радуется. Суета смолкла, двери перестали хлопать. Кто-то осторожно подошел в коридоре к ближайшей двери, где жила старая тетка, никогда не выходившая из своей комнаты, и Вася слышал разговор:

— Слава богу, приехал! Теперь все будет хорошо.

— Ох, барыня, погодите радоваться! Сама-то в обмороке... Боже мой, как трудно...

Потом дверь скрипнула, и все стихло. Еще через минуту в детскую вбежала нянька. Космы седых волос окончательно выбились из-под головного платка, по сморщенному лицу текли слезы. Не обращая внимания на детей, она пошарила в сундуке, потом забралась к себе на постель, и, когда она опять выбежала, дети увидели в спальной красноватый отблеск. Перед иконой тихо разгоралась «страшная свеча», «громница»..

Девочки ничего не понимали и только смотрели перед собой широко открытыми глазами. Братья смотрели друг на друга и ждали: кто их них заплачет первый. Тогда детская сразу переполнилась бы неудержимым ревом... Но было слишком страшно... На дворе кто-то гудел протяжно и сердито, и дети уже не узнавали в этом гудении голос ветра, пролетавшего над садом.

Но вдруг дальняя дверь опять отворилась, и чей-то странно спокойный, уверенный голос сказал громко:

— Отлично, отлично! Поздравляю! — и долгий облегченный вздох, какого никогда в жизни не приводилось слышать детям, тихо пронесся по всему дому и угас...

Васе вдруг стало как-то радостно, хотя в голове путалось еще больше... Он не знал, что значит этот странный голос, и ему казалось, что он засыпает. Напряжение этой ночи брало свое, Шура дремала сидя, и дети не замечали, как идет время...

— А я знаю, кто приехал,— сказал вдруг Марк, не поддавшийся дремоте, но слова замерли у него на устах. Дверь опять отворилась, но теперь никаких звуков не было слышно, кроме детского плача. Плакал маленький ребеночек каким-то особенным, тонким, захлебывающимся голосом, но упрямо и громко...

Это было так неожиданно, и плач слышался так ясно, что даже маленькая Шура очнулась, подняла голову и сказала:

— Де́тинька... па́цит.

Впрочем, ее это, по-видимому, нисколько не удивило. Зато все остальные повскакали с мест. Маша захлопала в ладоши, а Марк кинулся к дверям.

— Пойдем туда!

Вася пошел за ним, но у порога остановился.

— А заругают?

— Ну, один раз ничего...—успокоил Марк. Он хотел сказать, что именно этот раз, в эту ночь, все позволительно.— А вы, девочки, оставайтесь...

Но Маша думала иначе:

— Вот какой умный! Оставайся сам, если хочешь... Пойдем, Шурочка, пойдем, милая! — и она торопливо подняла Шуру.

— Пускай идут,— поддерживал Вася, понимавший хорошо, что он и сам ни за что бы не остался.

Когда они открыли дверь в коридор, на них пахнуло теплым и влажным ветром. Сверх ожидания, коридор оказался освещенным: в самом конце у входной двери кто-то забыл сальную свечу в подсвечнике. Она вся оплыла, ветер колыхал ее пламя, летучие тени бегали по всему коридору, то мелькая по стенам, то скрываясь в углах, а черное отверстие печки, находившееся посредине, тоже как будто шевелилось, перебегая с места на место. Вообще и коридор в эту ночь стал совсем иной, необычный. В полуоткрытую дверь виднелась часть синего ночного неба, и черные верхушки сада качались и шумели. Когда дети подошли к концу коридора, ветер обвеял их голые ноги.

Дверь «на ту половину» была недалеко от входа, направо. Марк шел впереди и первый, поднявшись на цыпочки, тихо открыл эту дверь. Дети гуськом шмыгнули в первую комнату.

Знакомые прежде, комнаты имели теперь совсем другой вид. Прежде всего дети обратили внимание на дверь маминой спальни. Там было тихо, слабый свет чуть-чуть брезжил и позволял видеть фигуру отца, нежно склонившегося к изголовью кровати... Темная фигура незнакомой женщины порой проходила неясною тенью по спальне.

Марк дернул Васю за рукав.

— Видишь теперь, кто это приехал?

— Кто?

— Смотри: дядя Генрих и... Михаил.

Вася отвел глаза от дальней двери и взглянул в среднюю комнату, отделявшую переднюю от спальной. Это была прежде гостиная, но теперь в ней все было переставлено по-иному. Дядя Генрих сидел задумчиво на стуле, под висячей лампой, и на его бледном лице выде-

лялись одни глаза, которые, казалось детям, стали еще больше. Михаил без сюртука, с засученными рукавами вытирал полотенцем руки.

— Что теперь делать? — спросил растерянно Вася. Во всех практических начинаниях он предоставлял первенство Марку.

— Не знаю,— ответил тот, отодвигаясь в тень. Дети последовали за ним. Присутствие Генриха и Михаила их озадачило. Генрих прежде был весельчак, играл с детьми, щекотал их и вертел в воздухе. Около двух лет назад у него родилась Шура, а жена умерла. С тех пор он уехал в другой город и редко навещал их, а когда приезжал, то дети замечали, что он сильно переменился. Он был с ними по-прежнему ласков, но они чувствовали себя с ним не по-прежнему: что-то смущало их, и им не было с ним весело. Теперь он глубоко задумался, и в глазах его было особенно много печали.

Михаил был гораздо моложе брата. У него были голубые глаза, белокурые волосы в мелких кудрях и очень белое, правильное, веселое лицо. Вася знал его еще гимназистом, с красным воротником и медными пуговицами, но это, все-таки, было давно. Потом он появлялся из Киева в синем студенческом мундире и при шпаге. Старшие говорили тогда между собой, что он становится совсем взрослый, влюбился в барышню, сделал раз «операцию» и уже не верит в бога. Все студенты перестают верить в бога, потому что режут трупы и ничего уже не боятся. Но когда приходит старость, то опять верят и просят у бога прощения. А иногда и не просят прощения, но тогда и бывает им плохо, как доктору Войцеховскому... Такие всегда умирают скоропостижно, и у них лопается живот, как у Войцеховского...

Михаил никогда не обращал на детей внимания, и детям всегда казалось, что он презирает их по двум причинам: во-первых, за то, что они еще не выросли, а во-вторых — за то, что сам он вырос еще недавно и что у него еще почти не было усов. Впрочем, когда теперь он подошел к лампе и надел совсем новый мундир, дети удивились, как он переменился: у него были порядочные усики и даже бородка, и он стал на самом деле взрослый. Лицо у него было довольное и даже гордое. Глаза блестели, а губы улыбались, хотя он старался

сохранить важный вид... Надев мундир, он-таки не вытерпел и, крутя папиросу, сказал Генриху:

— Ну, что скажешь, Геня, каково я справился?.. А случай трудный, и этот старый осел, Рудницкий, наверное отправил бы на тот свет или мать, или ребенка, а может быть, и обоих вместе...

Генрих отвел глаза от стены и ответил:

— Молодец, Миша!.. Да, мы приехали с тобой вовремя. Может быть, если бы два года назад... у моей Кати...

Но тут голос его стал глуше... Он отвернулся.

— А все-таки,— сказал он,— рождение и смерть... так близко... рядом... Да, это великая тайна!..

Михаил пожал плечами.

— Эту тайну мы, брат, проследили чуть не до первичной клеточки...

Дети недоумевали и не знали, на что решиться. Во-первых, все оказалось слишком будничным, во-вторых, они поняли, что и в эту ночь им может достаться за смелый набег, как и всегда; а даже выговор в присутствии Михаила был бы им в высшей степени неприятен. Неизвестно, как разрешилось бы их двусмысленное положение, если бы не вмешался неожиданный случай.

Входная дверь скрипнула, приотворилась, и кто-то заглянул в щелку. Дети подумали, что это няня, наконец, хватилась их и пришла искать. Но щель раздвинулась шире, и в ней показалась незнакомая голова с мокрыми волосами и бородой. Голова робко оглянулась, и затем какой-то чужой мужик тихонько вошел в переднюю. Он был одет в белой свитке, за поясом торчал кнут, а на ногах были громадные сапожищи. Дети прижались к стене у сундука.

Мужик потоптался на месте и слегка кашлянул, но будто нарочно так тихо, что его никто не услыхал в спальной. Все его движения обличали крайнюю робость, и дверь он оставил полуоткрытой, как будто обеспечивая себе отступление. Кашлянув еще раз и еще тише, он стал почесывать затылок. Глаза у него были голубые, бородка русая, а выражение чрезвычайной робости и почти отчаяния внушало детям невольную симпатию к пришельцу.

Отчасти тревожный шепот детей, отчасти привычка к полутьме передней указали незнакомому пришельцу

его соседей Он, видимо, не удивился, и в его лице появилось выражение доверчивой радости. Тихонько, на цыпочках, хотя очень неуклюже, он подошел к сундуку.

— А что мне... коней распрягать прикажут? — спросил он с видом такого почти детского доверия к их «приказу», что дети окончательно ободрились.

— А это вы привезли маленького ребеночка? — спросила Маша.

— Э! какого ребеночка? Я привез пана с паничом... А что мне, не знаете ли, коней распрягать или как?

— Не знаем мы,— сказал Мордик.

— А ты вот что: ты, паничку, поди в ту комнату, да и спытай у панича, у Михаила, что он скажет тебе?

— Сходи сам.

— Да я, видите ли, боюсь... Мне того, мне не того... А вы бы сходили-таки, вам-таки лучше сходить. Не бог знает, что с вами сделают.

— А с тобой?

— Э, какой же ты, хлопчику, беспонятный. Иди-бо, иди...

Он выдвинул Марка из угла и двинул к дверям. Марк предпочел бы лучше провалиться сквозь землю, чем предстать теперь перед всеми — и в особенности перед Михаилом — в одной рубашке и так неожиданно. Но рука незнакомца твердо направляла его вперед.

— Что это, откуда-то дует...— послышался тихий голос матери. Тогда Михаил повернулся на стуле, и Марк понял, что участь его решена. Поэтому он со злобой отмахнул руку незнакомца и храбро выступил перед удивленными зрителями.

— Он говорит, вот этот...— заговорил Марк громко и с очевидным желанием свалить на мужика целиком вину своего неожиданного появления,— узнай, говорит, что, мне лошадей распрягать или не надо?..

— Кто? где? — спрашивал отец, повернувшийся на говор.

— Там вот, мужик.

Но мужик в это время предательски отодвинулся к выходной двери и, наполовину скрывшись за ней, политично ожидал конца сцены. Маша, увидев этот маневр, пришла в негодование.

— А ты зачем прячешься? Вот видишь какой: вытолкнул Маркушу, а сам спрятался!..

Это вмешательство выдало всех. Михаил взял с комода свечку, поднял ее над головой и осветил детей.

— Эге,— сказал он,— тут их целый выводок. И дурень Хведько с ними. Хведько, это ты там, что ли?

— А никто, только я. Я бо спрашиваю, чи распрягать мне коней?

— Дурень, запирай двери! — крикнул Михаил.— Да не уходи пока! Погоди там в передней.

Мужик с большой неохотой повиновался.

— Ну, теперь расправа: как вы сюда попали, пострелята? Ты зачем их привел, Хведько?

— А какой их бес приводил... Я вошел спытать, чи распрягать мне коней. Гляжу, а их там напхано целый угол. Вот что! А мне что? Вот и маленькая панночка говорит: «Ты ребеночка привез»... Какого ребенка, чудное дело...

Все засмеялись.

— Ну, теперь вы говорите: как сюда попали?

Оба мальчика угрюмо потупились... Они ждали чего-то необычайного, а вместо того попали на допрос, да еще к Михаилу.

— Мы услышали, что ребеночек плачет,— ответила одна Маша.

— Ну, так что?

— Нам любопытно,— угрюмо ответил Марк,— откуда такое?

— Ого, ого! — сказал на это Генрих, который, между тем, взял на руки свою Шуру.— Вот что называется вопрос! Спросите у него,— кивнул он на Михаила,— он все знает.

Михаил поправил свои очки с видом пренебрежения.

— Под лопухом нашли,— сказал он, отряхивая свои кудри.

Пренебрежение Михаила задело Марка за живое.

— Глупости,— сказал он с раздражением — Мы знаем, что это не может быть. На дворе дождик, она бы простудилась.

— Ну вот, одна гипотеза отвергнута,— засмеялся Генрих,— подавай, Миша, другую...

— Спустили прямо с неба на ниточке.

— Рассказывайте...— возразил Марк, входя все в больший азарт.— Видно, сами не знаете. А мы вот знаем!

— Любопытно. Верно, от старой дуры, няньки?

— Нет, не от няньки.

— А от кого?

— От... от жида Мошка.

— Еще лучше! А что вам сказал мудрец Мошко?

— Расскажи, Вася,— обратился Марк к Головану.

— Нет, рассказывай сам.— Вася был очень сконфужен и чувствовал себя совершенно уничтоженным насмешливым тоном Михаиловых вопросов. Марк же не так легко подчинялся чужому настроению.

— И расскажу, что ж такое? — задорно сказал он, выступая вперед.— У бога два ангела...

И он бойко изложил теорию Мошка, изукрашенную Васиной фантазией. По мере того как он рассказывал, его бодрость все возрастала, потому что он заметил, как возрастало всеобщее внимание. Даже мать позвала отца и попросила сказать, чтобы Марк говорил громче. Генрих перестал ласкать Шуру и уставился на Марка своими большими глазами; отец усмехнулся и ласково кивал головой. Даже Михаил, хотя и покачивал правою ногой, заложенною за левую, с видом пренебрежения, но сам, видимо, был заинтересован.

— Что же, это все... правда? — спросил Марк, кончив рассказ.

— Все правда, мальчик, все это правда! — сказал серьезно Генрих.

Тогда Михаил, еще за минуту перед тем утверждавший, что ребят находят под лопухом, нетерпеливо повернулся на стуле.

— Не верь, Марк! Все это — глупости, глупые Мошкины сказки... Охота,— повернулся он к Генриху,— забивать детскую голову пустяками!

— А ты сейчас не забивал ее лопухом?

— Это не так вредно: это — очевидный абсурд, от которого им отделаться легче.

— Ну, расскажи им ты, если можешь...

— Ты знаешь, что я мог бы рассказать...

— Что?

Михаил звонко засмеялся.

— Физиологию... разумеется, в популярном изложении... Надеюсь, это была бы правда.

— Напрасно надеешься...

— То есть?

— Ты знаешь немногое, а думаешь, что знаешь все... А они чувствуют тайну и стараются облечь ее в образы... По-моему, они ближе к истине.

Михаил нетерпеливо вскочил со стула.

— А! Я сказал бы тебе, Геня!.. Ну, да теперь не время. А только вот тебе лучшая мерка: попробуйте вы все, с вашею... или, вернее, с Мошкиной теорией сделать то, что, как ты сейчас видел, мы делаем с физиологией... Вы будете умиляться, молиться и ждать ангелов, а больная умрет...

— Ну, умирают и с физиологией, я знаю это по близкому опыту...— сказал Генрих глухо.

— Частный факт, и физиология плохая...

— Этот частный факт для меня — пойми ты — общее всех твоих обобщений. Погоди, ты поймешь когда-нибудь, что̀ значит смерть любимого человека, и частный ли это факт.

— Истина выше личного чувства! — сказал Михаил и смолк. Он понял, что с Генрихом нельзя теперь продолжать этот разговор.

VIII

В комнате стало тихо. Дети недоумевали. Они не поняли ни слова из того, что говорилось, но ощутили одно: это спорность их теории. Они были смущены и нерадостны.

В это время Хведько, о котором все забыли, высунул опять голову из-за косяка двери.

— А что, мне распрягать коней, чи нет? — произнес он с глубокою тоской в голосе.

Это вмешательство показалось всем очень кстати.

Михаил весело засмеялся.

— Ага! — сказал он,— вот еще один мудрец. Попробуем сейчас маленькую индукцию. Как ты думаешь, Хведор, куда мы с тобой ехали?

— Да я ж думаю никуда, только сюда.

Он внимательно, не отрывая выпученных глаз, смотрел на Михаила, как будто боялся его шутливых расспросов.

— Ну?

— А что ну?

— Ну, приехали мы сюда или нет?

— Э, вы бо все смеетесь. Чего бы я спрашивал, когда оно само видно?

— Так зачем же лошадям стоять на дожде, дурню?

— От и я так думал,— обрадовался Хведько.— Оно хоть дождя уже нет, а таки лошадям стоять не для чего. Пойду распрягать. Так и говорили бы сразу...

И он поторопился уйти с видимым облегчением.

— Ну, и вы тоже... марш обратно! — сказал отец.

— А... а деточку? — сказала Маша печально.

Виновница всей кутерьмы находилась в спальне. Мать тихо сказала что-то, и вскоре бабка вынесла ее на руках в хорошеньком белом свивальнике.

Среди кучи белья виднелась маленькая головка. Глаза смотрели прямо, на лице было то странно сознательное выражение, которое порой делает лица детей почти старческими. Девочка зевала и потягивалась.

— Гордячка какая! — неизвестно почему решила про нее Маша, поднимаясь на цыпочки.

Если б мама была здорова, она, наверное, вспомнила бы, что детям нужно принести платье. Но теперь никто не обратил внимания на то, что они вышли, как и вошли, в одних рубашонках, Шура осталась на руках отца.

Выйдя в коридор, Маша тотчас же побежала в детскую, но мальчики замешкались. Марк увидел в наружную дверь, что около конюшни стоит бричка, а Хведько распряг уже лошадей и ведет их под навес. Это его заинтересовало, и он юркнул на крыльцо; Вася пошел за ним.

Хведько привязал лошадей, потом его белая свита замелькала около брички, и он вынес оттуда громадный чемодан. Втащив его на крыльцо и поставив на верхней ступеньке, он, по-своему, с наивною фамильярностью обратился к Марку:

— А то, видно, у вас родилось тут что-то?

— Не что-то, а девочка!

— Вот и я говорю. А о чем это паничи спорились?

— А это, видишь ты... Мы говорим: у бога два ангела...

— Ну-ну, не два,— много... Мало ли их у бога... богато...

— Правда? А Михаил говорит: глупости!

— Но!.. Молодой панич иной раз скажет, так будет над чем посмеяться! — И он сам засмеялся.

Дети почувствовали к нему полное доверие.

— А правда, что детей приносят ангелы?

— Оно... того... так надо сказать, что детей приносят бабы...таки не кто другой... А душу ангелы приносят. Вот уж это так ваша правда. Вот что, хлопчики: душу... Ну, а мне, хлопчики мои, надо сундук нести, вот что. А то я бы тут вам все это отлично рассказал...

И Хведько взвалил себе на плечи тяжелый чемодан.

Мальчики очень жалели об этой необходимости. Там, в кабинете, их теория, успешно выдержавшая в детской их собственную критику, как-то помутилась. Они чувствовали недоумение и растерянность. Здесь же короткая беседа с Хведьком опять восстановила ее в прежнем порядке и стройности.

И оба они посмотрели на небо в одно время.

Только теперь они обратили внимание, что и на дворе тоже все странно. Первая странность состояла, конечно, в том, что они стоят на крыльце босые и неодетые, в такую пору, и что их обдувает прохладный и сырой ветер. Кроме того, на дворе, там и сям, странно светились лужи, каким-то особенным, загадочным отблеском ночного неба, а сад все колыхался, точно он еще не мог окончательно успокоиться после волнений ночи. Небо светлело, но тем резче выделялись на нем крупные, тяжелые и будто взъерошенные облака. Точно кто-то пролетел по небу, все раскидал, все перерыл, и теперь так трудно привести все в порядок до наступления утра. А между тем всюду заметна была торопливость. Одно тонкое облако, вытянувшееся до самой середины неба громадным столбом, быстро наклонялось, столб ломался и закрывал одни звезды, между тем как из-за него бойко выглядывали другие. Какие-то раскиданные по небу лохмотья стягивались к одному месту, в сплошную тучу, которая все оседала книзу; и по мере того как туча спадала, становилось светлее, и можно было разглядеть,

как осина в саду то и дело меняется от ветра, взмахивая своими, белыми снизу, листьями.

И детям чудился в светлеющем небе неуловимый полет светлого ангела, между тем как другой распростер темные крылья там далеко, под низкими тучами. Обоим мальчикам хотелось встретить тут восход солнца,— это так любопытно,— и они простояли бы еще долго, если бы нянька, наконец, не спохватилась. Ворча, в каком-то исступлении, она неслась по коридору с совершенно несвойственною старым ногам быстротой. Однако она не добежала до крыльца, а остановилась в трех шагах от дверей, отстранившись к стенке, так что осталось узкое место для прохода детей.

— А кыш, а кыш! — кричала она.— Ах, проклятые гультяи, куда забрались, нет на вас холеры великой!.. А кыш!..

Мальчики охотно не пошли бы опасным проходом, но они понимали, что их поступок выходил совершенно из рамок всякого компромисса и что нянька имеет право на возмездие. Оставалось только надеяться на свою ловкость.

Голован был любимец няньки, и хотя бежал первым, но получил удар снисходительный. Зато шлепок, отпущенный Марку, отдался по всему коридору. Тем не менее, отбежав на середину коридора, он остановился и сказал довольно равнодушно:

— Думаешь, очень больно? Ничего не больно, только громко.

Через полчаса все в доме успокоилось, хотя спали далеко не все.

Отец думал о том, что прибавились еще расходы, а жалованья и так не хватает. Мать думала о том же. Она велела поднести к себе девочку, смотрела на нее и плакала, потому что она не знала, можно ли ей радоваться новой жизни при таких маленьких средствах. Михаил начинал дремать и в дремоте думал о жизни, что она хороша. А Генрих не спал, смотрел в темноту и думал о смерти: что же она такое?

Только дети спали безмятежно и крепко.

1888

Судный день

(«Иом-Кипур») [1]

Малорусская сказка

Огонь погас, а месяц всходит.
В лесу пасется волколак.

Шевченко.

I

Вот что: выйди ты, человече, в ясную ночь из своей хаты, а еще лучше за село, на пригорочек, и посмотри на небо и на землю. Посмотри, как по небу ходит ясный месяц, как мигают и искрятся звезды, как встают от земли легкие тучи и бредут куда-то одна за другой, будто запоздалые странники ночною дорогой... А лес стоит заколдованный и слушает, какие чары встают в нем с полуночи, а сонная речка бежит, и журчит, и бормочет что-то

[1] Через десять дней после еврейского нового года, который празднуется раннею осенью, наступает у евреев праздник Иом-Кипур (очищения). Местное христианское население называет этот день «судным днем». Существует поверье, что в этот день еврейский черт, Хапун, уносит из синагоги одного еврея. К этому поверью подали повод, вероятно, чрезвычайно трогательные и исполненные особенной выразительности обряды, сопровождающие празднование Иом-Кипура и совершающиеся в маленьких городишках Западного края на виду у христианского населения.

надбережным яворам... И скажи ты мне после этого, чего только, каких чудес не может случиться вон в этой божьей хатке, что люди называют белым светом?

Все может случиться. Вот с знакомым моим, ново-каменским мельником, тоже раз приключилась история... Если вам еще никто не рассказывал, так я, пожалуй, расскажу, только уж вы не требуйте, чтобы я побожился, что это все правда. Ни за что не побожусь, потому что хоть слыхал я ее от самого мельника, а все-таки и до сих пор не знаю: было это на самом деле или не было...

Ну, да уж было или не было, а рассказывать надо как было.

Раз вечером, после вечерней службы в Новой-Каменке,— а мельница от села верстах этак в полуторах, не более,— мельник вернулся к себе что-то не очень в духе. А отчего бы ему быть не в духе, этого он и сам толком не сказал бы. В церкви все шло как следует, и наш мельник, горлан не из последних, читал на клиросе так громко да так быстро, что и привычные люди удивлялись. «Вот как чешет, вражий сын,— говорили добрые люди с великим решпектом,— хоть бы тебе одно слово понять можно было. Чистое колесо: вертится-катится, и знаешь, что есть в нем спицы, а поди-ка, угляди хоть одну. Так вот и он читает: речь, как кованое колесо, по камню гремит, а слова никак не ухватишь».

А мельник слушал, что люди промеж себя говорят, и радовался. Умел-таки потрудиться для господа бога; языком как иной здоровенный парубок цепом на току молотил, так что даже в горле к концу пересохло и очи на лоб полезли.

После службы батюшка к себе мельника позвал, чаем напоил, да и графинчик с травником на стол поставили полный, а со стола убрали пустой. После этого месяц стоял уже высоко над полями и заглядывал в маленькую, но быструю речку Каменку, когда мельник вышел из поповского дома и пошел по селу, к себе на мельницу.

Из сельских людей кто уже спал, кто сидел при свете каганцов в хатах за вечерей, а были и такие, которых теплая да ясная осенняя ночь выманила на улицу. И сидели себе старые люди на призьбах (завалинках), а молодые под тынами, в густой тени от хат да от вишневых садов, так что и разглядеть было невозможно, и только

тихий говор людской слышался там и сям, а то и сдержанный смех или иной раз — неосторожный поцелуй какой-нибудь молодой пары... Эй, мало ли что делается порой в густой тени под вишнями вот в такую ясную да теплую ночь!

Но хоть мельнику не было видно людей, а люди хорошо видели мельника, потому что он шел самою серединой улицы по месяцу. И потому кое-где ему говорили:

— Добрый вечер, господин мельник. А не от батюшки ли вы это идете? Не у него ли загостились так долго?

Все знали, что больше не от кого ему и идти, но мельнику это было приятно, и он отвечал не без гордости и не задерживая шагу:

— Ага, загостился-таки немного! — и шел себе дальше прегордою поступью.

А иные сидели тихонько под навесами и только ждали, чтобы он прошел поскорее и не заметил бы, что они тут. Но не такой был человек мельник, чтобы пройти мимо или позабыть тех людей, которые ему должны за муку или за помол или просто взяли у него денег за проценты. Ничего, что их плохо было видно в тени и что они молчали, будто воды набрали в рот,— мельник все-таки останавливался и говорил сам:

— А, здоровеньки были! Тут вы? Молчите или не молчите, это как себе хотите, а мне должок припасайте, потому что срок завтра, утром раненько. А я ждать не стану, вот что!

И после этого опять шел дальше по улице, и его тень бежала с ним рядом, да такая черная-пречерная, что мельник, человек книжный и всегда готовый при случае пошевелить мозгами, думал про себя:

«Вот какая черная тень, даже удивительно!.. На человеке надета свитка белее муки, а тень от нее чернее сажи...»

Тут поравнялся он с шинком жида Янкеля, что стоял на горке, недалеко уже от выезда. Шабаш уже кончился с закатом солнца, но все-таки в шинке хозяина не было, а сидел жидовский наймит Харько, который всегда заменял Янкеля и его бáхорей по шабашам и в праздники. Он зажигал им свечи и принимал своими руками деньги от людей, потому что жиды — это уж всему свету известно — строго наблюдают свою веру: ни за что в

праздник ни свечей не зажгут, ни денег в руки не возьмут: грех! Все это за них и делал наймит Харько, из отставных солдат, а Янкель, или Янкелиха, а то и бахори только следили зоркими очами, чтобы как-нибудь пятак или там двадцатка вместо выручки не попала каким-нибудь способом в карман к Харьку. «Хитрый народ, ой и хитрый же! — подумал про себя мельник.— Умеют и богу своему угодить и грошей не упустят. Да и разумный народ, это тоже надо сказать,— где нашим!»

Он остановился у входа в шинок, на площадке, крепко утоптанной множеством людских ног, что толклись тут и в базар, и в простые дни, всю неделю,— и спросил:

— Янкель! Эй, Янкель! Дома ты, или, может, тебя нету?

— Нету, не видите, что ли? — отвечал наймит из-за прилавка

— А где?

— Где — в городе, вот где,— отвечал наймит.— Вы разве не знаете, какой у них день?

— Какой?

— Иом-Кипур!

«Вот объяснил, так объяснил!» — подумал про себя мельник. А надо вам сказать, наймит этот человек был письменный и гордый Любил задирать нос кверху, а особливо перед мельником. На клиросе читал, пожалуй, не хуже мельника, только что голос имел с трещиной и забирал в нос. Поэтому в «Часослове» еще мог с Филиппом Гладким тягаться, а уж в «Апостоле» никаким способом. Зато в чем другом ни за что, бывало, не уступит. Мельник скажет одно слово, а он ему навстречу другое. Мельник скажет иной раз: «не знаю», а наймит тотчас: «а я так знаю». Неприятный человек... Вот и теперь загнул такое слово, что мельник даже под шапкою ногтями заскреб, а он радуется.

— Да вы, может, и теперь не догадались, какой это день?

— А что мне и знать всякий жидовский праздник!— ответил мельник с досадой.— Разве я у них служу или что?

— Всякий? То-то вот и есть, что не всякий! Сегодня у них такой праздник, что только раз в год и случается.

Да еще я вам скажу: такого другого праздника на всем свете ни у одного народа не бывает.

— Ну, вы скажете!

— Про Хапуна, я думаю, и вы слыхали.

— А?

Мельник только свистнул,— как же это он в самом деле не догадался? — и заглянул в окно жидовской хаты. Там, на полу, были разостланы сено и трава, в двойных и тройных светильниках горели тонкие сальные свечки-мока̀нки и слышалось жужжание как будто от нескольких здоровенных, в рост человека, пчел. То молодая, недавно взятая еще Янкелем, вторая жена и несколько жиденят, закрыв глаза и чмокая губами, жужжали какие-то молитвы, в которых слова схватить было невозможно. Однако же было что-то такое в этом молении удивительное: казалось, кто-то другой сидит внутри жидов, сидит и плачет, и причитает, вспоминает и просит. А кого и о чем? — кто их знает! Только как будто бы уже не о шинке и не о деньгах...

У мельника стало от той жидовской молитвы что-то сумно на душе,— и жутко, и жалко. Он переглянулся с наймитом, которому тоже слышно было жужжание из-за корчемной двери, и сказал:

— Молятся!.. Так, говоришь, Янкель поехал в город?

— Поехал.

— И что ему за охота? Ну, как его-то как раз Хапун и цапнет?

— То-то и оно! — ответил наймит.— Кабы так на меня, то даром что я воевал со всяким басурманским народом и имею медаль,— а ни за какие бы, кажется, карбованцы не поехал. Сидел бы себе в хате,— небось, из хаты не выхватит.

— А почему? Если уж кого схватить, то схватит и в хате. Почему в хате нельзя?

— Почему? Если вам нужно выбрать шапку или хотя рукавицы, вы куда за ними пойдете?

— Да никуда, как в лавку.

— А почему в лавку?

— Потому что в лавке шапок видимо-невидимо.

— Вот то-то и оно. Посмотрели бы вы теперь в синагоге: там тоже жидов видимо-невидимо! Толкутся, плачут, кричат так, что по всему городу слышно, от заставы

и до заставы. А где толкун мошкары толчется, туда, известно, и птица летит. Дурак бы был и Хапун, если бы стал вместо того по лесам да по селам рыскать и высматривать. Ему только один день в год и дается, а он бы его так весь и пролетал понапрасну. Еще в которой деревне есть жид, а в которой, может, и не найдется.

— Ну, таких мало.

— Хоть мало, а все-таки... притом, из многолюдства и выбирать много лучше.

Оба замолчали... Мельник подумал, что опять его наймит зашиб хитрыми словами, и ему стало опять неприятно. А из окон все неслись жужжание, и плач, и причитание жидов.

— Да это еще правда ли? — заговорил мельник, которому захотелось подразнить наймита.— Может, так люди брешут! Один дурень сбрехнет, а другой и поверит.

Наймиту эти слова не понравились.

— Разве это я сам выдумал,— сказал он,— или мой отец, или сват... Когда это известно всему крещеному народу?

— А вы ж сами это видели? — задорно спросил мельник.

Когда он входил в азарт, то говаривал иногда, что не хочет знать самого черта, пока его ему не покажут вот так, как на ладони. А теперь он как раз был в самом азарте.

— А вы ж,— говорит,— сами видели? А когда не видали, то и не говорите, что оно есть, вот что!

Наймит спустил маленько голосу и даже что-то закашлялся. Ну, да не такой — волк его заешь! — и он человек был, чтобы совсем сдаться.

— Лгать не стану,— говорит,— сам никогда не видал. Ну, а вы, господин мельник, когда-нибудь Киев видели?

— Нет, не видел, тоже лгать не буду.

— А он-таки есть, хоть вы его и не видали.

Тут уж мельник на такое ясное слово совсем вылупил глаза.

«Вот что правда, то правда,— подумал он,— таки Киев есть, хоть я его не видал... Видно, надо верить,

когда добрые люди говорят».— Ну, хорошо .. От кого ж вы это слышали?

— Ба? от кого? А вы от кого про Киев слыхали?

— Тю-тю! Ну и язык у вас!.. Чистая бритва, чтоб ему отсохнуть!

— Нечего моему языку отсыхать .. Если все говорят, то, значит, правда Не была бы правда, то все не говорили бы, а говорили бы одни только брехуны...

— Тьфу! Да остановись ты хоть на одну минуту! Я ж уже и сам вижу, что не в тот переулок завернул... А только я б хотел знать, откуда она взялась, такая людская намолвка...

— А оттуда и взялась, что это каждый год бывает. Что бывает, о том и люди говорят, а чего не бывает, о том и говорить не стоит...

— А, вот человек какой! Скажи мне, наконец, что ж такое бывает, вот что!

— Эге-ге, так, видно, вы и этого не знаете, что бывает в судный день?..

— Знал, то б и не спрашивал. Слышу давно,— люди болтают, вот как и ты: Хапун, Хапун, а в какой разум это говорится, и не знаю.

— Так бы сразу и говорили, что не знаете... Если хочете знать, так я и расскажу, потому что я побывал-таки на свете, не то что вы. Я и в городе живал не по одному году, и у жидов не первый раз служу.

— А не грех тебе? — усомнился мельник.

— Другому кому грех, а солдату все можно! Нам такая и бумага выдается.

— Разве что бумага...

После этого уже солдат рассказал мельнику дружелюбно всю правду про Хапуна и про то, как он в этот день ежегодно хватает по одному жиду.

Хапун, надо и вам сказать, когда вы не знаете, есть особенный такой жидовский черт. Он, скажем, во всем остальном похож и на нашего черта, такой же черный и с такими же рогами, и крылья у него, как у здоровенного нетопыря; только носит пейсы да ермолку и силу имеет над одними жидами. Повстречайся ему наш брат, христианин, хоть о самую полночь, где-нибудь в пустыре или хоть над самым омутом, он только убежит, как пуг-

ливая собака. А над жидами дается ему воля: каждый год выбирает себе по одному и уносит....

Для этого-то вот выбора и назначается *иом-кипур*, судный день. Жиды задолго уже до того дня молятся, плачут, рвут на себе одежду и даже головы зачем-то обсыпают золой из печки. Перед вечером все моются в речке или на ставах[1], а как зайдет солнце,— идут бедняги в свою школу[2], и уж какой оттуда крик слышится, так и не приведи бог: все орут в голос, а глаза от страха закрывают... А уже в это время, как только небо погаснет и станет на нем вечерняя звезда, Хапун вылетает из своего места и вьется над «школой», и в окна бьет крылом, и высматривает себе добычу. Но вот когда уже настоящий страх нападает на жидов, так это в самую полночь. Они нарочно зажигают все свечи, чтобы не было так жутко, падают все на пол и начинают кричать, как будто их кто режет. И когда они так лежат и надрываются, Хапун, как большой ворон, влетает в горницу; все слышат, как от его крыльев холод идет по сердцам, а тот, которого он высмотрел ранее, чувствует, как в его спину впиваются чертовы когти. А! рассказывать об этом и то даже мороз по-за шкурой пройдет, а каково-то бедному жиду!.. Само собою,— кричит во все горло. Ну, да кто тут услышит, когда и все тоже галдят, как сумасшедшие? А может, кто из соседей и слышит, так что ж тут делать,— рад, что не ему выпала злая доля!..

Наймит Харько сам слыхал не один раз, как после того в местечке разносился звук трубы, да такой звонкий, жалобный и протяжный... Это служка из школы на прощание трубит вдогонку своему бедному брату, между тем как другие надевают в передней «патынки» (потому что в школу входят в одних чулках) и тихо расходятся по домам.

Видел также Харько, как они останавливались кучками против месяца и бормотали что-то, и подымались на цыпочки, глядя в ночное небо... А в это время, когда уже все до одного разойдутся, на полу в передней комнате сиротливо стоит себе пара «патынков» и ждет своего хозяина... Э! сколько бы ни ждала, никогда не

---

[1] Став — пруд.

[2] Простой народ в Юго-западном крае школами.

дождется, потому что в этот час над полями и лесами, над горами, ярами и долинами Хапун тащит хозяина патынков по воздуху, взмахивая крыльями и хоронясь от христианского глаза. Рад, проклятый, когда ночь выпадет облачная да темная. А ежели тихая да ясная, как вот сегодня, что месяц светит изо всех сил, то, пожалуй, напрасно чертяка и труды принимал...

— А почему? — спросил мельник

— А потому, что вот видите вы: стоит любому, даже и не хитрому, крещеному человеку, хоть бы и вам, например, крикнуть чертяке: «Кинь! Это мое!» — он тотчас же и выпустит жида. Затрепыхает крылами, закричит жалобно, как подстреленный шуляк [1], и полетит себе дальше, оставшись на весь год без поживы. А жид упадет на землю. Хорошо, если не высоко падать или угодит в болото, на мягкое место. А то все равно, пропадет без всякой пользы... Ни себе, ни черту.

— Вот так штука! — сказал мельник в раздумье и со страхом поглядел на небо, с которого месяц действительно светил изо всей мочи Небо было чисто, и только между луною и лесом, что чернелся вдали за речкой, проворно летело небольшое облачко, как темная пушинка. Облако, как облако, но вот что показалось мельнику немного странно: кажись, и ветру нет, и лист на кустах стоит — не шелохнется, как заколдованный, а облако летит, как птица, и прямо к городу.

— А поглядите-ка, что я вам покажу,— сказал мельник наймиту.

Тот вышел из шинка и, опершись спиной о косяк, сказал хладнокровно:

— Ну, так что ж? Нашли, что показывать: облак, так и облак! Бог с ним. .

— Да вы поглядите-ка еще,— ветер есть?

— Та-та-та-а... Вот оно что! — догадался наймит.— Прямо в город мандрует...

И оба почесали затылки, задравши головы кверху.

А из окон по-прежнему неслось жужжание, виднелись желтые вытянутые лица, шапки на затылке, закрытые глаза, неподвижные губы... Жиденята плакали,

---

[1] Коршун.

надрывались, и опять мельнику показалось, что кто-то другой внутри их плачет и молит о чем-то давно утраченном и наполовину уже позабытом...

— А! пора и домой,— очнулся мельник.— А я было хотел гроши Янкелю отдать...

— Можно. Я принимаю за них,— сказал на это наймит, глядя в сторону.

Но мельник притворился, что не слыхал этих слов. Деньги были не такие маленькие, чтобы вот так, просто, отдать какому-нибудь пройди-свету, отставному солдату.

— Прощайте-ка,— сказал поэтому мельник

— Прощайте и вы! А деньги я-таки принял бы.

— Не беспокойте себя: отдам и самому.

— Это как себе хотите. А взять и я взял бы, беспокойство небольшое. Ну, пора уж и шинок запирать Видно, кроме вас, никакая собака уже не завернет сегодня.

Наймит опять почесал себе о косяк спину, посвистал как-то не совсем приятно вслед мельнику и стал запирать двери, на которых были намалеваны белою краской кварта, рюмка и жестяной крючок (шкалик). А мельник спустился с пригорочка и пошел вдоль улицы, в своей белой свитке, а за ним опять побежала по земле черная-пречерная тень.

Но теперь мельник раздумывал уже не о своей тени, а совсем-таки о другом...

II

Мельник прошел не более десяти сажен, как в садочке по-за тыном что-то зашуршало и зашумело, будто вспорхнули две большие птицы. Но это были не птицы, а какой-то парубок с девкой, испуганные тем, что мельник сразу вышел из темноты. Впрочем, парубок, видно, был не из страшливых: отойдя еще подальше в тень, так что едва белели под вишнями две фигуры, он крепкою рукой придержал всполохнувшуюся девушку и опять повел тихие речи. А пройдя еще немного, мельник услышал что-то такое, что даже остановился от большой досады...

— А ты,— не знаю, как тебя,— подождал бы хоть целоваться,— сказал он — А то чмокаешь на все село,— сказал он, подойдя к самому тыну.

— А тебе, собачий сын, надо в чужие двери нос совать? — ответил парубок из тени.— Так вот погоди, я и тебя поцелую дрючком по ногам. Будешь вперед знать, как людям делать помеху.

— Ну-ну! — сказал мельник, отходя.— Подумаешь, важную работу делает... Да и подлый же какой-то парубок, как чмокает, даже человеку стало как будто завидно. Распустился народ!

Он постоял, подумал, почесал в голове и потом, привернувши к сторонке, занес ногу через тын и пошел огородом к вдовиной избушке, что стояла немного поодаль, край села, под высокою тополей... Хатка была малюсенькая да еще сгорбилась и похилилась к земле. Оконце было такое крохотное, что его, пожалуй, трудно было и разглядеть, будь ночь сколько-нибудь потемнее. Но теперь хатка вся так и горела от месячного света, солома на ней казалась золотая, а стена серебряная, и оконце чернело на стене, как прищуренный глаз. Огня в окне не было. Должно быть, у старухи с дочкой нечем было вечерять, незачем было и светить. Мельник постоял, потом тихонько стукнул два раза в оконце и отошел к сторонке.

Недолго еще и постоял, как две полные девичьи руки крепко обвились вокруг его шеи, а меж усов так даже загорелось что-то, как приникли к мельниковым устам горячие девичьи губы. Э, что тут рассказывать! Если вас кто так целовал, то вы и сами знаете, а если никогда с вами ничего такого не было, то не стоит вам и говорить.

— Филиппко мой, милый, желанный! — говорила, ласкаясь, девушка,— пришел-таки... А я уж ждала-заждалась, думала, иссохну без тебя, как та былинка без воды...

«Э, не иссохла-таки, слава тебе, господи! — подумал про себя мельник, прижимая рукой не очень-то худощавый стан девушки.— Слава богу, еще ничего».

— Когда же рушники готовить будем? — заговорила девушка, все еще держа руки на плечах Филиппа и обдавая его горячим взглядом черных очей.— Ведь уж скоро филипповки.

Эта речь пришлась мельнику не так по вкусу, как девичьи поцелуи. «Видишь ты, куда гнет,— подумал он

про себя.— Эх, Филипп, Филипп, задаст она тебе теперь потасовку». Но, все-таки, набравшись храбрости и отведя свои глаза в сторону, он промолвил:

— Э, какая ты, Галя, ла̀сая. Сейчас тебе и рушники. Как же это можно, когда я теперь сам мельник и скоро, может, стану первый богатырь (богач) на селе, а ты — бедная вдовина дочка?

Девку шатнуло от того слова, будто ее ужалила змея. Она отскочила от Филиппа и схватилась рукою за сердце.

— А я думала... ох, бедная ж моя голова!.. Так чего ж это ты, подлый человек, стучал в оконце?

— Эге! — ответил мельник,— чего стучал... А что же мне и не стучать, если твоя мать должна мне деньги? А ты выскочила да прямо целоваться. Что ж мне... Я тоже умею целоваться не хуже людей.

И он опять протянул к ней руку, но только что его рука коснулась девичьего стана, как стан этот вздрогнул, будто девку ужалила гадюка.

— Геть! — крикнула она так сердито, что мельник попятился назад.— Я тебе не бумажка рублевая, что ты меня хватаешь, будто свою. Вот подойди еще, я тебя так огрею, что ты после того забудешь ласова̀ть на три года.

Мельник растерялся.

— Вот какая гордячка! А что я, прости господи, жид, что ли, тебе дался, что ты вот так паскудно лаешься?

— А то не жид, что ли? За полтину уже рубль нарастил, да еще тебе мало: ко мне полез за процентами. Геть! — говорю тебе,— постылый!

— Ну, девка! — сказал мельник, опасливо закрывая лицо ладонью, как бы в самом деле не засветила кулаком.— Я вижу, с тобой умному человеку и говорить нельзя. Ступай, посылай сюда мать!

Но старуха уже и без того вышла из хаты и низко кланялась мельнику. Тому это больше понравилось, чем разговор с дочкой. Он подбоченился, и его черная тень на стене так задрала голову, что мельник и сам уже подумал, как это у нее не свалится шапка.

— А знаешь ты, старая, зачем я это пришел? — говорит мельник старухе.

— Ох, как мне, бедной, не знать! Видно, ты пришел за моими деньгами...

— Хе! не за твоими, старая,— засмеялся мельник,— а за своими собственными. Я ж не разбойник какой, чтобы по ночам за чужими деньгами в чужой дом приходить.

— Вот же таки за чужими и пошел,— задорно сказала Галя, взявшись в боки и наступая на мельника,— не за своими же!

— Фу, скаже́нная[1] девка! — сказал тут мельник, отступивши еще шага на два.— Ей-богу, такой скаженной девки во всем селе не сыщется. Да не то что в селе, а во всей губернии. Ну, подумай ты, какое слово сказала! Да не будь вот тут одна твоя мать, что, пожалуй, и не пойдет в свидетели, так я бы тебя в суд потянул за бесчестье! Эй, одумайся ты хоть немного, девка!

— А что мне одуматься, когда это чистая правда?

— Какая ж это правда, когда старая у меня брала, да и не выплатила?

— Брешешь, брешешь, как рудая собака! Когда был еще подсыпкой[2] да со мной женихался, хотел в дом идти и не говорил, что назад потребуешь. А как дядько помер да сам ты стал мельником, так весь долг уже перебрал, и еще тебе мало?

— А мука?

— Ну, что мука?.. За муку сколько следовало?

— По копе[3], вот сколько! Дешевле никто не отдаст, хоть куда хочешь поезжай, хоть себя отдай в придачу.

— А с нас ты сколько уже перебрал?

— Тю-тю, куда махнула! Язык у тебя тоже... не хуже Харька. Да и я ж тебе на то отвечу: а проценты? Ну, что взяла?

Но Галя уже ничего не ответила. С девками оно часто так бывает: говорит-говорит, лопочет-лопочет, как мельница на всех поставах, да вдруг и станет... Подумаешь, воды не хватило... Так где! Как раз полились рекой горькие слезы и отошла в сторону, все утирая глаза широким рукавом белой сорочки.

---

[1] Сумасшедшая.

[2] Подсыпка — работник на мельнице, засыпающий зерно на жернова.

[3] Копа — в малороссийском счете значит шестьдесят. Копа грошей — тридцать копеек.

— От так! — сказал мельник, чуть-чуть растерявшись, а все-таки довольный.— Чего б это я кидался на людей. Не лаялась бы, так нечего бы и плакать.

— Молчи, молчи, молчи ты, постылая тварюка!

— Молчи же и ты, когда так!

— Молчи уже, молчи, моя доню,— прибавила старая мать, тяжко вздохнувши. Старуха боялась, видно, рассердить мельника. Видно, у старухи нечем было заплатить в этот срок.

— Не стану молчать, мамо, не стану, не стану! — ответила девушка, точно в мельнице опять пошли ворочаться все колеса.— Вот же не стану молчать, а коли хотите вы знать, то еще и очи ему выцарапаю, чтобы не смел на меня славу напрасно наводить, да в окна стучать, да целоваться!.. Зачем стучал, говори, а то как хвачу за чуприну, то не погляжу, что ты мельник и богатырь. Небось, прежде не гордился, сам женихался да ласковыми словами сыпал. А теперь уж нос задрал, что и шапка на макушке не удержится!

— Ой, доню, молчи уже, моя смирная сиротинка! — сокрушенно вздохнув, опять промолвила старуха.— А вы, пан мельник, не взыщите на глупой девке. Молодой разум с молодым сердцем — что молодое пиво на хмелю: и мутно, и бурлит. А устоится, так станет людям на усладу.

— А мне что? — сказал мельник.— Мне от нее ни горечи, ни услады не нужно, потому что я вам не ровня. Мне мои деньги подай, старая, то я на вашу хату и глядеть не стану.

— Ох, нет же у нас! Подожди еще, заработаем с дочкой вдвоем, то и отдам. Ох, горе мое, Филиппушка, и с тобою, и с нею. Ты ж сам знаешь, я тебя, как сына, любила, не думала, не гадала, что ты с меня, старой, те долги поверстаешь, да еще с процентами... Хоть бы дочку, что ли, замуж отдать, и женихи есть добрые,— так вот не идет же ни за кого, хоть ты что хочешь. С тех пор, как ты с нею женихался, будто заворожил девку. Лучше, говорит, меня в сырую землю живую закопайте. Дурная и я была, что позволяла вам до зари вот тут простаивать... Ой, лихо мне!..

— А как же мне быть? — сказал мельник.— Ты, старая, этих дел не понимаешь: у богатого человека рас-

ход большой. Вот я жиду должен, так отдаю,— отдавайте и вы мне.

— Подожди еще хоть с месяц.

Мельник поскреб в голове и подумал. Маленько-таки разжалобила его старуха, да и Га́лина узорная сорочка недалеко белела.

— А я, смотри, за это еще десять грошей накину,— сказал он.— Лучше отдала бы.

— Что ж делать! Видно моя доля такая,— вздохнула старуха.

— Ну, значит, так оно и будет. Я не жид, я-таки добрый себе человяга. Другой бы, уж я верно знаю, накинул бы двадцатку, а я накину десять грошиков и подожду еще до филипповок. Да смотри, тогда уже стану жаловаться в правлении.

И он, не поклонившись, повернулся и пошел себе за околицу, даже не оглядываясь на избушку, у которой долго еще белела узорная сорочка,— белела на черной тени под вишеньем, как белесая звездочка,— и нельзя было мельнику видеть, как плакали черные очи, как тянулись к нему белые руки, как вздыхала девичья грудь.

— Не плачь, доню, не плачь, ясочко,— говорила старая При́ся.— Не плачь, видно такая божия воля.

— Ох, мамо, мамо, хоть бы дала ты мне очи ему выцарапать! Может, мне стало бы легче...

III

После этого мысли мельника стали как-то еще скучнее.

«Вот что-то все не так идет на этом свете,— думал он про себя.— Как-то человеку все бывает неприятно, а отчего — и не придумаешь... Вот теперь девка прогнала... Жидом назвала, эге-ге!.. Кабы я был жид да имел такие деньги, да торговлю... да разве так стал бы я жить, как теперь? Нет, не так! Теперь что и за жизнь моя: работай на мельнице сам, ночь не доспи, днем не доешь; гляди за водой, чтоб не утекла, гляди за камнем, гляди за валом, гляди на валу за шестернями, гляди на шестернях за пальцами, чтобы не повыскочили да чтобы забирали ровно... Э, гляди еще и за проклятым работником-подсыпкой. Разве можно положиться на наймита? Толь-

ко уйди на минуту, сейчас и он, подлый человек, куда-нибудь к девкам утреплется... А, собачья жизнь мельника, просто-таки собачья! Правда, с тех пор как дядько — царствие ему небесное! — убухался с пьяных глаз в омут, стал я сам хозяином и деньжонки-таки стали заглядывать в мои карманы... Так опять что в них? За рублем каким-нибудь ходишь, ругают тебя и за глаза, да и в глаза не стыдятся, а много ли прибытку? — пустяки! Никогда крещеному человеку не перепадет столько, как жиду. Вот когда бы еще жида унесла нелегкая из села, тогда, пожалуй, можно бы и развернуться. Ни к кому не пошли бы, как ко мне, и за копейкой, когда надо на подати, и за товаром. Ге! можно бы и шиночек, пожалуй, открыть... А на мельнице или бы кого посадил, или хоть продал бы. Ну ее! Как-то все человек еще не человек, пока работает. То ли дело, когда от грошика грошик сам родится. Этого только дурак не понимает... Заведи себе пару свиней; глядишь — свинья зверь плодущий — через год уж чуть не стадо! Так вот и деньги: пускаешь их по глупым людям, будто на пастбище, только не зевай да умей опять согнать по времени: от гроша родится десять грошей, от карбованца — десять карбованцев...»

Тут мельник вышел уже на самый гребень дороги, откуда начинался пологий спуск к реке. Впереди уже слышно было,— так, чуть-чуть, когда подыхивал ночной ветерок,— как сонная вода звенит в лото́ках. А сзади, оглянувшись еще раз, мельник увидел спящее в садах село и под высокими тополями маленькую вдовину хатку... Он остановился и подумал немного, почесываясь в голове.

— Э, дурак я был бы! — сказал он, наконец, пускаясь в дальнейший путь — Пожалуй, не выдумай дядько в ту ночь, напившись наливочки, залезть в омут, теперь меня бы уж окрутили с Галею, а она вот мне и неровня. Эх, и сладко же, правда, целуется эта девка — у-у как сладко!.. Вот и говорю, что как-то все не так делается на этом свете. Если б к этакому личику да хорошее приданое... ну, хоть такое, как кодненский Макогоненко дает за своею Мотрей... Э, что уж тут и говорить!..

Он кинул из-под горы последний взгляд назад, когда на селе раздался вдруг удар колокола. Что-то как будто

упало с колокольни, что виднелась среди села, на горочке, и полетело, звеня и колыхаясь, над полями.

«Эге, это уже, видно, становится на свете полночь»,— подумал он про себя и, зевнув во всю глотку, стал быстро спускаться под гору, думая опять о своем стаде. Ему так и виделись его карбованцы, как они, точно живые, ходят по разным рукам, в разных делах и все пасутся себе, и все плодятся. Он даже засмеялся, представивши, как разные дурни думают, что стараются для себя. А придет срок, и он, хозяин стада, опять сгонит его в свой кованый сундук вместе с приплодом.

И все это были мысли приятные. Только воспоминание о жиде опять испортило эти приятные мысли. Мельнику стало скучно, что жид захватил себе все пастбища и его бедным карбованцам нечем кормиться, негде плодиться, точно стаду баранов на выгоне, где уже побывали жидовские козы... Тут уж, известно, не раскормишься.

«Э, чтоб его чертяка забрал, проклятого! — подумал мельник, и ему показалось, что вот это самое и есть то, отчего ему так скучно... Вот это самое только и есть плохое на свете. Проклятые жиды мешают крещеному человеку собирать свой доход.

Тут, в половине горы, где тихий и будто сонный шум воды в лотòках слышался уже без перерывов,— мельник вдруг остановился как вкопанный и ударил себя ладонью по лбу.

— Ба, вот была бы штука!.. Право, хорошая штука была бы, ей-богу! Ведь нынче как раз судный день. Что, если б жидовскому черту полюбился как раз наш шинкарь Янкель?.. Да где! Не выйдет. Мало ли там, в городе, жидов? К тому же еще Янкель — жидище грузный, старый да костистый, как ерш. Что в нем толку? Нет, не такой он, мельник, счастливый человек, чтобы Хапун выбрал себе из тысячи как раз ихнего Янкеля.

На минуту в голове мельника, как беспокойные муравьи, закопошились другие мысли:

«Эх, Филипп, Филипп! Нехорошо и думать такое крещеному человеку, что ты себе теперь думаешь. Опомнись! Ведь у Янкеля останутся дети, будет кому долг отдать... А второе-таки и грешно,— Янкель тебе худого не делал. Может, другим и есть за что поругать старого шин-

каря, так ведь с других-то и ты сам не прочь взять лихву...»

Но на эти неприятные мысли, что стали было покусывать его совесть, как собачонки, мельник выпустил другие, еще посердитее:

«Все-таки жидюга, так жидюга, не ровня же крещеному человеку. Если я и беру лихву,— ну и беру, этого нельзя сказать, что не беру,— так ведь лучше же, я думаю, отдать процент своему брату, крещеному, чем некрещеному жиду».

В эту минуту и ударило в последний раз на колокольне.

Должно быть, звонарь Иван Кадило заснул себе под церковью и дергал веревку спросонок,— так долго вызванивал полночь. Зато в последний раз, обрадовавшись концу, он бухнул так здорово, что мельник даже вздрогнул, когда звон загудел из-за горы, над его головой, и понесся через речку, над лесом, в далекие поля, по которым вьется дорога к городу...

«Вот теперь уже все спят на свете,— подумал про себя мельник, и что-то его ухватило за сердце.— Все спят себе, кому где надо, только жиды толкутся и плачут в своей школе, да я стою вот тут, как неприкаянная душа, над омутом и думаю нехорошее...»

И показалось ему в тот час все как-то странно... «Слышу,— говорит,— что это звон затихает в поле, а самому кажется, будто кто невидимка бежит по шляху и стонет... Вижу, что лес за речкой стоит весь в росе и светится роса от месяца, а сам думаю: как же это его в летнюю ночь задернуло морозным инеем? А как вспомнил еще, что в омуте дядько утоп,— а я немало-таки радовался тому случаю,— так и совсем оробел. Не знаю — на мельницу идти, не знаю — тут уж стоять...»

— Гаврило! Эй, Гаврило! — крикнул он тут подсыпке-работнику.— Так и есть, на мельнице пусто, а он, лодырь, опять помандровал на село, к девкам.

Вышел Филипп на светлое место, на середину плотины. Слышит: вода просасывается в шлюзах, а ему кажется, что это кто-то крадется из омута и карабкается на колеса...

«Э, лучше пойду-таки спать»,— подумал он про себя... Только прежде еще раз оглянулся.

Месяц давно перебрался уже через самую верхушку неба и смотрелся на воду... Мельнику показалось удивительно, как это хватает в его маленькой речке столько глубины — и для месяца, и для синего неба со всеми звездами, и для того маленького темного облачка, которое, однако, несется легко и быстро, как пушинка, по направлению из города.

Но так как глаза его уже слипались, то удивлялся он недолго и, отворив отмычкой наружную дверь и запершись опять изнутри задвижкой, чтобы слышать, как вернется гуляка-подсыпка,— отправился к себе на постель...

IV

«Эге-ге, встань, Филипп!.. Вот так штука! — вдруг подумал он, подымаясь в темноте с постели, точно его кто стукнул молотком по темени.— Да я ж и забыл: ведь это возвращается из города то самое облачко, которое недавно покатилось туда, да еще мы с жидовским наймитом дивились, что оно летит себе без ветру. Да и теперь ветер, кажись, невелик и не с той стороны. Погоди! История, кажется, тут не простая...»

Сильно клонило мельника ко сну. Но... Вот он вышел босиком на плотину и стал на самой середине, почесывая себе брюхо и спину (на мельнице-таки было не без блох!). В спину ему подувал с запруженной реки ветерок, а спереди прямехонько на него катилось облачко. Только теперь оно было уже не такое легкое, летело не так ровно и свободно, а будто слегка колыхалось и припадало, как подстреленная птица. Когда же оно налетело на луну, то мельник уже ясно понял, что это за история, потому что на светлом месяце так и вырезались черные крылья, а под ними еще что-то и какая-то скрюченная людская фигура, с длинною, трясущеюся бородою...

«Э-эй! Вот тебе и штука,— подумал мельник.— Несет одного. Что ж теперь делать? Если крикнуть: «Кинь, это мое!» — так ведь, пожалуй, бедный жид расшибется или утонет. Высоко!»

Но тут он увидел, что дело меняется: черт со своею ношей закружился в воздухе и стал опускаться все ниже. «Видно, пожадничал да захватил себе ношу не под силу,— подумал мельник.— Ну, теперь, пожалуй, можно

бы и выручить жида,— все-таки живая душа, не сравняешь с нечистым. Ну-ко, благословясь, крикну поздоровее!»

Но вместо этого, сам не знает уж как, он изо всех ног побежал с плотины и спрятался под густыми яворами, что мочили свои зеленые ветви, как русалки, в темной воде мельничного затора. Тут, под деревьями, было темно, как в бочке, и мельник был уверен, что никто его не увидит. А у него в это время уж и зуб не попадал на зуб, а руки и ноги тряслись так, как мельничный рукав во время работы. Однако брала-таки охота посмотреть, что будет дальше.

Черт со своею ношей то совсем припадал к земле, то опять подымался выше леса, но было видно, что ему никак не справиться. Раза два он коснулся даже воды, и от жида пошли по воде круги, но тотчас же чертяка взмахивал крыльями и взмывал со своею добычей, как чайка, выдернувшая из воды крупную рыбу. Наконец, закатившись двумя или тремя широкими кругами в воздухе, черт бессильно шлепнулся на самую середину плотины и растянулся, как неживой... Полузамученный, обмерший жид упал тут же рядом.

А надо вам сказать, что наш мельник уже давно узнал, кого это приволок из города жидовский Хапун. А узнавши,— обрадовался и повеселел: «А слава ж тебе, господи,— сказал он про себя,— таки это не кто иной, только наш ново-каменский шинкарь! Ну, что-то будет дальше, а только кажется мне так, что в это дело мне мешаться не следует, потому что две собаки грызутся, третьей приставать незачем... Опять же моя хата с краю, я ничего не знаю... А если б меня тут не было!.. Не обязан же я жида караулить...»

И еще про себя думал: «Ну, Филиппушка, теперь твое время настанет в Новой-Каменке!..»

V

Долгое время оба — и бедный жид, и чертяка — лежали на плотине совсем без движения. Луна уже стала краснеть, закатываться и повисла над лесом, как будто ожидала только, что-то будет дальше. На селе крикнул было хриплый петух и тявкнула раза два какая-то соба-

ка, которой, верно, приснился дурной сон. Но ни другие петухи, ни другие собаки не отозвались,— видно, до свету еще было порядочно далеко.

Мельник издрог и стал уже подумывать, что это все ему приснилось, тем более что на плотине совсем потемнело и нельзя было разобрать, что там такое чернеет на середине. Но когда долетел из села одинокий крик петуха, в кучке что-то зашевелилось. Янкель поднял голову в ермолке, потом огляделся, привстал и тихонько, по-журавлиному, приподнимая худые ноги в одних чулках, попытался улепетнуть.

— Эй, эй! придержи его, а то ведь уйдет,— чуть было не крикнул испугавшийся мельник, но увидел, что черт уже прихватил шинкаря за длинную фалду.

— Погоди,— сказал он,— еще рано... Смотри ты, какой прыткий! Я не успел еще отдохнуть, а ты уже собрался дальше. Тебе-то хорошо, а каково мне тащить тебя, такого здоровенного! Чуть не издох.

— Ну,— сказал жид, стараясь выдернуть фалду,— отдыхайте себе на здоровье, а я до своей корчмы и пешком дойду.

Черт даже привстал.

— Что такое? Что, я тебе в балагулы[1], что ли, нанялся, возить тебя с шабаша домой, собачий сын? Ты еще шутишь...

— Какóво могут быть шутки,— ответил хитрый Янкель, прикидываясь, будто он совсем не понимает, чего от него нужно черту.— Я вам очень благодарен за то, что вы меня доставили досюдова, а отсюдова я дойду сам. Это даже вовсе не далекое расстояние. Зачем вам себя беспокоить?

Черт аж подскочил от злости. Он как-то затрепыхался на одном месте, как курица, когда ей отрежут голову, и сразу подшиб Янкеля крылом, а сам опять принялся дышать, как кузнечный мех.

---

[1] Балагула — известный в Западном крае специально еврейский экипаж, нечто вроде еврейского дилижанса; длинная телега, забранная холщовым верхом, запряженная парой лошадей, она бывает битком набита евреями и их рухлядью (бебехами). Балагулой же называется и возница.

«Вот так! — подумал про себя мельник.— Хоть оно, может быть, и грешно хвалить черта, а этого я, все-таки, похвалю,— этот, видно, своего не упустит».

Янкель, присев, стал очень громко кричать. Тут уже и черт не мог ничего поделать: известно, что пока у жида душа держится, до тех пор ему никаким способом не зажмешь глотку,— все будет голосить. «Да что толку? — подумал мельник, оглядываясь на пустую мельницу.— Подсыпка теперь гуляет себе с девками, а то и лежит где-нибудь пьяный под тыном».

В ответ на жалобный плач бедного Янкеля только сонная лягушка квакнула на болоте да бугай прокинулся в очерете и бухнул раза два, точно в пустую бочку: бу-у, бу-у!.. Месяц, как будто убедившись, что дело с жидом покончено, опустился окончательно за лес, и на мельницу, на плотину, на реку пала темнота, а над омутом закурился белый туман.

Черт беспечно затрепыхал крыльями, потом опять лег, заложив руки за голову, и засмеялся.

— Кричи, сколько хочешь. На мельнице пусто.

— А вы почем знаете? — огрызнулся еврей и продолжал голосить, обращаясь уже прямо к мельнику: — Пан мельник, ой, пан мельник! Серебряный, золотой, бриллиантовый! Пожалуйста, выйдите сюда на одну, самую коротенькую секунду и скажите только три слова, три самых маленьких слова. Я бы вам за это подарил половину долга.

«Весь будет мой!» — сказало что-то в голове у мельника.

Жид перестал кричать, понурив голову, и горько-прегорько заплакал.

Прошло еще сколько-то времени. Месяц совсем ушел уже с неба, и последние отблески угасли на самых высоких деревьях. Все на земле и на небе, казалось, заснуло самым крепким сном, нигде не слышно было ни одного звука, только еврей тихо плакал, приговаривая:

— Ой, моя Сура, ой, мои детки, мои бедные детки! .

Черт немного отдышался и сел, все еще сгорбившись, на гати. Над гатью, хоть было темно, мельник ясно увидел пару рогов, как у молодого телка̀, которые так и вырезались на белом тумане, что подымался из омута.

«Совсем как наш!» — подумал мельник и почувствовал себя так, как будто проглотил что-то очень холодное.

В это время он заметил, что жид толкает черта локтем.

— Что ты толкаешься? — спросил тот.

— Пст! Я что вам хочу сказать...

— Что?

— Скажите вы мне на милость, и что это у вас за мода — хватать непременно бедного жида... Почему вы не возьмете себе лучше хорошего гоя. Вот тут живет недалеко отличный мельник.

Черт глубоко вздохнул. Может, и ему стало-таки скучно около пустой мельницы над омутом, только он пустился в разговор с жидом. Приподняв с головы ермолку, из-под которой висели длинные пейсы,— он заскреб когтями в голове так сильно, как самый злющий кот скребет по доске, когда от него уйдет мышь,— и потом сказал:

— Эх, Янкель, не знаешь ты нашего дела! К ним я не могу и приступиться.

— Ну! И что тут долго приступаться, что за большово хитрость? Я сам знаю, как вы меня сразу хапи́нули, что я не успел даже и крикнуть.

Черт весело засмеялся, так что даже спугнул какую-то ночную птицу на болоте, и сказал:

— Что правда, то правда: вас хватать легко... А знаешь ты, почему?

— Ну-у?

— Потому, что вы и сами ха́паете здо́рово. Я тебе скажу, что такого грешного народа, как вы, жиды, и нет другого на свете.

— Ой-вай, удивительно! А како́во же это на нас греха?

— А вот послушай...

Тут черт повернулся к жиду и стал считать по пальцам.

— Дерете с людей проценты — раз!

— Раз,— повторил Янкель, тоже загибая палец.

— Людским по́том-кровью кормитесь — два!

— Два

— Спаиваете людей водкой — три.

— Три.

— Да еще горелку разбавляете водой — четыре!

— Ну, пускай себе четыре. А еще?

— Мало тебе, что ли? Ай, Янкель, Янкель!

— Ну, я не говорю, что этого мало, а только я говорю, что вы не знаете своего собственного дела. Вы думаете, мельник не берет проценты, вы думаете, мельник не кормится людским потом и кровью?..

— Ну, не бреши на мельника. Он человек крещеный! А крещеный человек должен жалеть не только своих, а всех людей, хотя бы и вас, жидов. Нет, Янкель, трудно к крещеному приступиться.

— Ой-вай, како́во это ошибка! — крикнул жид весело.— Ну, так я вам вот что буду говорить.

Он вскочил, и черт также приподнялся, и оба стояли друг против друга. Жид что-то прошептал, указав через спину на яворы, и, загнув палец, показал его черту:

— Раз!

— Брешешь, не может этого быть! — сказал черт, немного даже испугавшись, и сам посмотрел на яворы, где притаился Филипп.

— Пхе, я лучше знаю! А вы погодите.

Он опять пошептал и сказал:

— Два! А это вот,— и он еще раз зашептал черту на ухо,— будет три, как честный еврей!..

Черт покачал головой и повторил в раздумье:

— Не может быть.

— Давайте об заклад побьемся. Если моя правда, то вы через год меня отпустите целого и еще заплатите мне убытки...

— Ха! Я согласен. Вот это была бы штука, так штука! Тогда бы я не дал маху...

— Ну, я вам говорю, вы сделаете славный гешефт!..

В это время на селе крикнул тот же петух, и хотя крик был такой же сонный и на него опять никто нигде не откликнулся среди молчаливой ночи, но Хапун встрепенулся.

— Э! Ты мне тут все сказки рассказываешь, а я и уши развесил. Лучше синица в руки, чем журавль в небе. Собирайся!

Он взмахнул крыльями, взлетел сажени на две над плотиной и опять, как коршун, кинулся на бедного

Янкеля, запустивши в спину его лапсердака свои когти и прилаживаясь к полету...

Ох, и жалобно же кричал старый Янкель, протягивая руки туда, где за рекой стояла на селе его корчма, и называя по имени жену и деток:

— Ой, моя Сурке, Шлёмка, Ителе, Мовше! Ой! господин мельник, господин мельник, пожалуйста, заступитесь, скажите три слова! Я ж вижу вас, вот вы стоите тут под явором. Пожалейте бедного жида, ведь и жид тоже имеет живую душу.

Очень жалобно причитал бедный Янкель! У мельника будто кто схватил рукою сердце и сжал в горсти. А чертяка точно ждал чего,— все трепыхался крыльями, как молодой стрепет, не умеющий летать, и тихо-тихо размахивал Янкелем над плотиной...

«Вот подлый чертяка,— подумал про себя мельник, прячась получше за явором,— только мучает бедного жида! А там, гляди, и петухи еще запоют...»

И только он подумал это, как черт захохотал на всю реку и разом взвился кверху... Мельник задрал голову, но через минуту черт казался уже не больше вороны, потом воробья, потом мелькнул, как муха, как комарик... и исчез.

А на мельника тут-то и напал настоящий страх: затряслись коленки, застучали зубы, волосы поднялись дыбом, и уж сам он не помнит хорошенько, что с ним было дальше...

VI

— Стук-стук!..

— Стук-стук-стук!.. Стук-стук!..

Что-то стучало в дверь мельницы, так что гул ходил по всему зданию, отдаваясь во всех углах. Мельник подумал, уж не чертяка ли вернулся,— недаром шептался о чем-то с жидом,— и потому он зарылся с головой в подушку.

— Стук-стук!.. Стук-стук!.. Эй, хозяин, отчиняй!

— Не отчиню.

— А почему так не отчините?

Мельник приподнял голову.

— Э, кажись, голос подсыпки Гаврилы... Гаврило, ты?

— А то кто?

— Побожись!

— Ну?

— Побожись!

— Да ну же, ей-богу, я! Где ж это видано, чтоб я да не я был? Еще и божись. Вот чудасия...

Мельник все-таки поверил не сразу. Он взошел наверх и тихонько посмотрел из оконца, что было над дверьми. Действительно, внизу у стены спокойно стоял подсыпка и делал такое дело, что, пожалуй, никто и не слыхал, чтобы черти когда-нибудь такое делали. У мельника отлегло от сердца, он сошел вниз и отпер дверь.

Подсыпку даже отшатнуло, когда он увидел мельника в дверях.

— Э, хозяин, что такое с вами?

— А что?

— Да побойся бога, зачем это ты морду всю в муке вымазал? — белая, как стена!

— А ты, часом, не по-над речкою ли шел?

— А по-над речкою.

— А не глядел ли кверху?

— А может, глядел и кверху.

— А не видал ли, часом, того?

— Кого?

— Кого!.. Дурень! Того, что хапнул шинкаря Янкеля.

— А какой его бес хапнул?

— Какой!.. Известно какой — жидовский Хапун! Не знаешь разве, какой у них сегодня день!..

Подсыпка посмотрел на мельника мутным взглядом и спросил:

— А вы на селе, часом, не были?

— Был.

— А в шинок не заходили?

— Заходил.

— А горелки не выпили?

— Тьфу! Вот и говори с дурнем. Горелку я пил у попа, а все-таки своими глазами вот сейчас видел: чертяка на плотине отдыхал вместе с жидом.

— Где?

— Вот тут, на самой середине.

— Ну и что?

— Ну, и...— мельник свистнул и махнул рукой по воздуху.

Подсыпка посмотрел на плотину, потом, задравши голову, на небо и почесал в чуприне.

— Э, вот это так чудеса! Что ж теперь будет? Как же теперь без жида?

— А на что тебе непременно жид, а?

— Э, не говорите, хозяин: без жида как-то оно не того... без жида не можно и быть...

— Тю!.. Дурень, так дурень и есть!

— Что вы лаетесь? Я и сам не скажу, что умный, а все-таки знаю, что просо, а что гречка; работать иду на мельницу, а водку пить — в шинок. Вот вы и скажите мне, когда вы такой умный: кто ж у нас теперь будет шинковать?

— Кто?

— А таки кто?

— А может и я?

— Вы?

Подсыпка посмотрел на мельника, вылупивши глаза, потом покачал головою, щелкнул языком и сказал:

— Ну, разве что так!

Тут только мельник заметил, что подсыпку плохо держат ноги и что парубки опять подбили ему левый глаз. Харя была у этого подсыпки, сказать правду, такая паскудная, что всякому человеку, при взгляде на нее, хотелось непременно плюнуть. А поди ты: до девчат был самый проворный человек, и не раз-таки парни делали на него облаву и бивали до полусмерти... Что бивали, это, конечно, еще не большое диво а то чудно́, что было-таки за что бить!

«Во̂т ведь нет на свете такой паскудной хари,— подумал, глядя на него, мельник,— которую бы ни одна девка не полюбила. А то и две, и три, и десять... Тьфу ты пропасть!..»

— Вот что, Гаврилушко,— сказал все-таки мельник ласковым голосом,— поди ляг со мною. Когда человек видел такое, что я видел, так что-то бывает страшно.

— А мне что? То и лягу.

Через минуту какую-нибудь подсыпка начал уже посвистывать носом. А скажу вам, такого свистуна носом, как тот подсыпка, другого и не слыхал. Кто этого не лю-

бит, так уж с ним в одной хате не ложись,— всю ночь не уснешь...

— Гаврило,— сказал мельник,— эй, Гаврило!

— А что еще? Чего бы я это и сам не спал, и другому не давал?

— Били тебя опять?

— Ну, так что?

— Где?

— Все надо вам знать. На Кодне.

— Уж и на Кодне?.. Зачем тебя туда понесло?

— Зачем... Чего бы я спрашивал, гы-гы-гы!..

— Мало тебе ново-каменских девок!

— Тьфу! Мне на них и смотреть уже на ново-каменских обридло. Ни одной по мне нет.

— А Галя вдовина?

— Галя... А что ж такое Галя?

— А ты к ней ходил?

— Так неужели же нет?

Мельника даже подкинуло на постели.

— Брешешь, собачий сын, чтобы твоей матери лихорадка!

— Вот же и не брешу, я и никогда не брешу. Пускай за меня умные брешут.

Подсыпка зевнул и сказал засыпающим голосом:

— Помните, хозяин, как у меня правый глаз на всю неделю запух, что и не было видно...

— Ну?

— Она это, собачья дочка, так угостила... Тьфу на нее, вот что!.. А то еще: Галя!

«Разве что так»,— подумал мельник.— Гаврило, а Гаврило!.. Вот, собачий сын, опять засвистел... Гаврило!

— Что еще? Загорелось, что ли?

— Хочешь ты жениться?

— Сапогов еще не сшил. Вот сошью, тогда и подумаю.

— А я бы тебе справил чоботы на дегтю... И шапку, и пояс.

— Разве что так. А вот я что вам скажу, так это будет еще умнее.

— А что?

— А то, что уже на селе петухи кричат. Слышите, как заводят?

И правда: на селе, может быть в Галиной хате, кричал-надрывался горлан-петух: ку-ка-ре-ку-у...

— Кук-ка-ре-ку-у... ку-у... ку-у! — отвечали ему на разные голоса и ближние, и дальние, с другого конца села, так что от петушиных криков точно в котле кипело, да и в стенах каморки побелели уже все, даже самые маленькие щели.

Мельник сладко зевнул:

— Ну, теперь они далеко! Поминай Янкеля как звали... Вот штука, так штука! Если эту штуку кому-нибудь рассказать, то, пожалуй, брехуном назовут. Да мне об этом, пожалуй, и говорить не стоит... Еще скажут, что я... Э, да что тут толковать! Когда бы я сам жида убил или что-нибудь такое, а тут я ни при чем. Что мне было мешаться в это дело? Моя хата с краю, я ничего не знаю. Ешь пирог с грибами, а держи язык за зубами; дурень кричит, а разумный молчит... Вот и я себе молчал!..

Так говорил сам себе мельник Филипп, чтобы было легче на совести, и только когда уже вовсе стал засыпать, то из какого-то уголка в его сердце выползла, как жаба из норы, такая мысль:

«Ну, Филипп, настало твое время!»

Эта мысль прогнала у него из головы все другие и села хозяйкою.

С тем и заснул.

VII

Вот раненько утром, роса еще блестит на траве, а мельник уже оделся и идет по дороге к селу. Приходит на село, а там уж люди снуют, как в муравейнике муравьи: «Эй! не слыхали вы новость? Вместо шинкаря привезли из городу одни патынки».

Вот было в то утро в Новой-Каменке и разговоров, и пересудов, да немало-таки и греха!

Вдова Янкеля, получив вместо мужа пару патынок, совсем растерялась и не знала, что делать. Вдобавок еще Янкель, с большого ума, да не надеявшись, что его заберет Хапун, захватил с собою в город всю выручку и все долговые расписки с бумажником. Конечно, мог ли бедный жид думать, что из целого кагала выхватит как раз его?

— Вот так-то всегда человек: не чует, не гадает, что над ним невзгода, как тот Хапун, летает,— толковали про себя громадские люди, покачивая головами и расходясь от шинка, где молодая еврейка и ее бахори (дети) бились об землю и рвали на себе волосы. А между прочим, каждый думал про себя: «Вот, верно и моя запись улетела теперь к черту на кулички!»

Сказать правду, так не очень много нашлось в громаде таких людей, у которых заговорила маленько совесть: «А таки не грех бы отдать жидовке, если не с процентами, то хоть чистые деньги...» А если уж говорить всю правду целиком,— то никто не отдал ни ломаного шéляга...

Не отдал и мельник. Ну, да мельник себя в счет не ставил.

Вот вдова Янкеля и просила, и молила, и в ногах валялась, чтобы господа-громадяне согласились отдать хоть по полтине за рубль, хоть по двадцати грошей, чтобы им всем сиротам не подохнуть с голоду да как-нибудь до городу добраться. И не у одного-таки хозяина с добрым сердцем слезы текли по усам, а кое-кто толкнул-таки локтем соседа:

— Побоялись бы вы бога, сосед! Вы ж, кажется, что-то такое должны были жиду. Отдали бы вот... Ей-богу, надо бы вам хоть сколько-нибудь отдать.

Но сосед отвечал:

— А что мне отдавать, когда я ему своими руками все деньги принес до последнего грошика? Второй раз стану платить, что ли? Вот вы, сосед, другое дело...

— А почему это другое дело, когда как раз то же самое, как и у вас? Незадолго до отъезда пришел ко мне Янкель, да как стал просить: отдай да отдай,— я и отдал.

Мельник слушал все это, и у него болело сердце... Эх, народ какой! Нисколько не боятся бога! Ну, панове-громадо, видно при вас плохо не клади,— как раз утянете; да и кто вам палец в рот сунет, тот чистый дурак!.. Нет, уж от меня не дождетесь... Вы мне этак в кашу не наплюете. Лучше уж я сам вам наплюю...

Одна только старая Прйся принесла жидовке два десятка яиц да половину новины и отдала за сколько-то грошей, что осталась должна шинкарю.

— Бери, небо́го, не взыщи! Осталось там за мною еще сколько-то, так отдам, как бог даст. Последнее и то принесла.

— Вот подлая баба! — обозлился мельник.— Вчера мне не отдала, а для жидовки так вот и нашлось. Ну, и народ! Старым и то нельзя стало верить. Крещеному человеку не могла отдать... Погоди, старая, сочтусь я с тобой после...

Вот собрала Янкелиха своих бахорей, продала за бесценок «бебехи» и водку, какая осталась,— а и осталося немного (Янкель хотел из города бочку везти), да еще люди говорили, будто Харько нацедил себе из остатков ведерко-другое,— и побрела пешком из Новой-Каменки. Бахори за нею... Двух несла на руках, третий тащился, ухватясь за юбку, а двое старших бежали вприпрыжку...

И опять миряне скребли свои затылки. У кого была совесть, тот себе думал: «Хоть бы подводу дать за жидовские деньги...» Да, видите, побоялся каждый: пожалуй, люди догадаются, что, значит, он с жидом не рассчитался. А мельник опять думал: «Ну, народ! Вот так же и меня будут рады спровадить, если я когда-нибудь дам маху».

Так-то бедная вдова и поплелась себе в город, и уж бог ее знает, что там с нею подеялось. Может, присосалась где с детьми к какому-нибудь делу, а может, и пропали все до одного с голоду. Все бывает! А впрочем, жиды своего не покидают. Худо-худо, а все-таки дадут какнибудь прожить на свете.

Стала после этого громада толковать, кто ж теперь у них, в Новой-Каменке, будет шинкарем? Потому что, видите ли, хоть Янкеля не стало, а шинок все стоял себе на пригорочке, и на дверях остались намазанные белою краской кварта и жестяной крючок...

И даже Харько сидел себе на пригорочке и покуривал люльку, выжидая, кого-то бог пошлет ему в хозяева.

Правда, один раз, под вечер, когда громадские люди стояли у пустой корчмы и разговаривали о том, кто теперь будет у них шинковать и корчмарить,— подошел к ним батюшка и, низенько поклонясь всем (громада — великий человек, пред громадою не грех поклониться хоть и батюшке), начал говорить о том, что вот хоро-

шо бы составить приговор и шинок закрыть на веки вечные. Он бы, батюшка, и бумагу своею рукой написал и отослал бы ее к преосвященному. И было бы весьма радостно, и благолепно, и миру преблагополучно.

Старые люди, а за стариками и бабы стали было говорить, что батюшкина чистая правда, а мельнику то слово показалось совсем неправильно и даже обидно.

«Вот тебе и батько,— подумал он с сердцем,— вот тебе и приятель! Да нет, погоди еще, пан-отче, что будет...»

— Вот это-таки, батюшка, ваша правда,— льстиво заговорил он,— что от той бумаги будет благополучно... А только, не знаю я, кому: громаде или вам. Сами вы,— не взыщите на моем слове! — всегда водочку из города привозите, то вам и не надо шинка. А таки и то вам на руку, что владыка станет вашу бумагу читать да похваливать.

Громадяне усмехнулись себе в усы, а батюшка только плюнул от великой досады, нахлобучил соломенную шляпу и пошел прочь от шинка по улице, будто не за тем и приходил...

Ну, что уж тут рассказывать! Я думаю, вы и без того догадались, что мельник задумал сам корчмарить в той жидовской корчме. А задумавши, поговорил хорошенько с громадою, угостил-таки кого надо в земском суде, с исправником умненько потолковал, потом с казначеем, а наконец со становым приставом да с акцизным надзирателем.

Вернувшись после всего этого на село, пошел мельник к шинку, а там сидит Харько и покуривает на пригорочке люльку. Мельник только мотнул ему головой, как Харько,— хоть и гордый человек,— тотчас вскочил на ровные ноги и подбежал к нему.

— Ну, что скажешь? — спросил у него мельник.

— А что мне говорить? Подожду, не скажете ли вы мне чего-нибудь.

— То-то!

Не стал уже теперь мельника словами гвоздить, а сгреб в обе руки картуз и, выслушавши, что ему сказал Филипп, ответил умненько:

— Рад стараться для вашей хозяйской милости!

И стал мельник шинковать в Новой-Каменке лучше Янкеля, и стал сдавать людям на выпас свои карбован-

цы, а как придет срок — сгонять их опять в свою скрыню, вместе с приплодом. И никто уже не мешал ему в Новой-Каменке.

А что люди не раз от него плакали горькими слезами,— ну, и это тоже правда... Таки плакали не мало: может, не меньше, чем от Янкеля, а может, еще и побольше,— этого уж я вам не скажу наверное. Кто там мерил мерою людское горе, кто считал счетом людские слезы?..

Никто не мерил, никто и не считал, а старые люди так говорят: идет или ходит, на одно выходит, что клюкой, что палкой — все спине не сладко... Не знаю, как кто, а я думаю, что это правда...

VIII

Вот, признаться вам, и не хотелось бы мне про своего приятеля такое рассказывать, а делать нечего: начал, так надо довести до конца,— из песни, говорится, и слова одного не выкинешь...

Вот, видите, какое дело... Старому Янкелю только и нужна была людская копейка. Бывало, где хоть краем уха заслышит, что у человека болтается в кармане рубль или хоть два, так у него сейчас и засверлит в сердце, сейчас и придумывает такую причину, чтобы тот рубль, как карася из чужого пруда, выудить. Удалось — он и радуется себе со своею Суркой.

Ну, а уж мельнику этого мало. Янкель сам перед всяким человеком в три погибели гнулся, а мельник людей гнет, а сам голову дерет кверху, как индюк. Янкель, бывало, юркнет к становому с заднего хода и трусится у порога, а мельник валится на крыльцо, как в свою хату. Янкелю, если под пьяную руку кто и в ухо заедет, так он сильно не обижался: повизжит, да и перестанет, разве потом выторгует лишний пятак. А мельник и сам не одному христианину так чуприну скубнет, что, пожалуй, и в руках останется, а из глаз искры, как на кузнице из-под молота, посыплются... Да вот какое дело: мельнику и денежки отдай, и почет. Перед иконой люди низко кланялись, а перед моим приятелем еще ниже.

А ему все что-то мало. Ходит сердитый да невеселый; будто его щенок какой за сердце теребит. И все себе думает:

«А не так что-то на свете устроено — нет, не так! Что-то человеку и с деньгами не так весело, как бы хотелось».

Вот раз Харько его и спрашивает:

— А что вы это, хозяин, невеселый все ходите, будто кто вас в помои окунул? Чего еще ваша хозяйская душа хочет?

— Может, если б я женился, то стало бы мне повеселее.

— Так оженитесь, на здоровье вам.

— То-то вот и оно. А как тут оженишься, когда дело не выходит, с какой стороны за него ни ухватись? Я уж скажу тебе правду: как был я еще не мельник, а только подсыпка, то любился тут на селе с Галей вдовиной, может знаешь... И если б дядько не утоп, то был бы я уже женатый. А теперь сам ты рассуди: ведь я ей не ровня.

— Какая тут ровня! Вам теперь только и жениться, что на богача Макогона дочке, на Мотре.

— Вот! Я и сам вижу, и люди говорят все одним голосом, что по моим деньгам Макогоновы как раз придутся... Так опять... не по вкусу мне она! Сидит целый день, как копна сена, да семечки лущит. Как взгляну на нее, так будто кто меня за нос возьмет да и отворотит в сторону... То ли дело Галя!.. Вот и говорю: не так както на свете устроено. Одну полюбил бы,— хвать, а деньги-то у другой... Вот иссохну когда-нибудь, как былинка... Светом гнушаюсь.

Солдат вынул из рта свою носогрейку, сплюнул в сторону и говорит:

— Плохо! Другой человек ни за что и не придумал бы, как этому делу помочь, а я присоветую, так не пожалеете, что послушались. А пожалуй, еще и отдадите новые сапоги, что остались от Опанаса в залоге, а?..

— Ну, за такое дело и сапогов не жаль, только верно ли ты придумал?..

И действительно, придумал подлый солдат,— бес его не взял! — такое придумал, что если б все вышло по его слову, то теперь уж на мельнике черти на том свете воду давно возили бы...

— Вот,— говорит,— слушайте хорошенько. Стало быть, есть вас трое людей — один мужик да две девки.

И, стало быть, нельзя никак одному на двух жениться, потому что вы не турецкой веры.

«Вот, подлый, как все верно сказал! — подумал мельник.— Что-то скажет дальше?»

— Хорошо! Как вы богатый человек и Мотря богатая невеста, так тут уж и малому ребенку ясно: посылайте сватов к старому Макогону.

— Правда! Да только я это знал и без тебя... А как же с Галей?

— А вы дослушали до конца? Или, может, сами знаете, что я хотел сказать?..

— Ну-ну, уж и осердился!

— Вы всякого человека рассердите. Не такой я человек, чтобы начать речь да и не кончить. Будет и о Гале речь. Она вас любила?

— А таки так!

— А вы тогда кто были, как она вас любила?

— Подсыпка.

— Так это опять малый ребенок поймет: когда девка любила подсыпку, то и быть ей замужем за подсыпкой.

Мельник вылупил глаза, и в голове у него, точно на мельнице в помол, все пошло кругом.

— Да я же теперь не подсыпка!

— Вот беда какая. А разве у вас на мельнице нет подсыпки?..

— Это Гаврило?.. Э-э, вот ты что придумал. Пускай же, когда так, он тебе и сапоги дарит за такую придумку. А я скажу на это, что не дождет ни он, ни его дядья с тетками, чтоб я такое дело потерпел. Вот лучше пойду да ноги ему переломаю.

— А! Какой горячий человек, хоть яйца в нем пеки!. Да я ж совсем другое хотел вам сказать...

— А что ж ты еще после такой шутки можешь сказать, когда мне это не нравится?

— А вы послушайте.

Харько вынул люльку изо рта, посмотрел на мельника, прищуривши один глаз, и так прищелкнул языком, что у того сразу стало веселее на сердце...

— А вы, говорю, ее любили и бедную?..

— То-то что любил!..

— Ну, так и любите себе на здоровье, когда она будет за подсыпкой. Вот теперь и моей речи конец: вот вы все трое и будете жить на одной мельнице, а четвертый дурень не в счет... Ага! теперь поняли, чем я вас угощаю, медом или дегтем? Нет! Харька били не по голове, а куда следует, оттого и умный вышел: знает, кому достанется орех, кому скорлупа, а кому новые сапоги...

— А может, еще и не выйдет дело?

— Почему ж ему и не выйти?

— Мало ли почему. Вот старый Макогон не согласится.

— Вот! Когда б я с ним не говорил!..

— Ну?

— То-то. Ехал из городу с водкой, а он — навстречу. То да сё, и говорю: «Вот вашей дочери жених — наш мельник».

— А он что?

— «Не дождет, говорит, ваша бабушка! Что, говорит, он стоит?»

— А ты что?

— А я говорю: «Вы, видно, не знаете, что нашего жида Хапун унес?»

— «А когда так, говорит, — то дело другое: как жида на селе не стало, то и мельник — стоющий человек...»

— Ну, хорошо, Макогон согласится. Так еще Галя пойдет ли за подсыпку?..

— Э, как девку с матерью погонят из хаты, то рада будет жить и на мельнице.

— Так-то оно так...

IX

Мельник почесался... А делу этому, вот, что я вам рассказываю, идет уж не день, а без малого целый год. Не успел как-то мельник и оглянуться, — куда девались и филипповки, и великий пост, и весна, и лето. И стоит мельник опять у порога шинка, а подле, опершись спиной о косяк, Харько. Глядь, а на небе такой самый месяц, как год назад был, и так же речка искрится, и улица такая же белая, и такая же черная тень лежит с мельником рядом на серебряной земле. И что-то такое мельнику вспомнилось.

— Э, послушай, Харько!
— А что?
— Какой сегодня день?
— Понедельник.
— А тогда, помнишь, как раз суббота была.
— Мало ли их было суббот...
— Тогда, год назад, в судный день.
— А, вот вы что вспомнили! Да, тогда была суббота.

— А теперь когда у них судный день придется?

— Вот я и сам не скажу, когда он придется. Жида поблизости нет, так и не знаю.

— А небо, гляди, какое чистое, как раз такое, как и в тот день...

И мельник со страхом посмотрел на окно жидовской хаты, не увидит ли опять, как жиденята мотают головами и жужжат, и молятся о своем батьке.

Э, нет! То все уже прошло. От Янкеля не осталось, должно быть, и косточек, сироты пошли по дальнему свету, а в хате темно, как в могиле... И на душе у мельника так же темно, как в этой пустой жидовской хате. «Вот, не выручил я жида, осиротил жиденят,— подумал он про себя.— А теперь что-то такое затеваю со вдовиной дочкой...»

— Эй, хорошо ли оно у нас будет? — спросил он Харька.

— Чем плохо? Оно, правда, есть и такие люди, что меду не едят. Может, вы из таких...

— Не из таких я, а все-таки... Ну, прощай!

— Прощайте и вы.

Мельник пошел с пригорка, а Харько опять посвистал ему вслед. Посвистал хоть и не так обидно, как тот раз, а все-таки мельника задело за живое.

— А ты что свищешь, вражий сын? — сказал он, обернувшись.

— Вот уж и посвистать нельзя стало человеку! — обиделся Харько.— Я у капитана в денщиках жил, и то свистал, а у вас нельзя.

«Правда,— подумал мельник,— отчего бы ему и не свистать. А только зачем это все так делается, как в тот вечер?..»

Он пошел с пригорка, а Харько все-таки посвистал еще, хоть и тише... Пошел мельник мимо вишневых садов, глядь — опять будто две больших птицы порхнули в траве, и опять в тени белеет высокая смушковая шапка да девичья шитая сорочка, и кто-то чмокает так, что в кустах отдается... Тьфу ты пропасть! Не стал уж тут мельник и усовещивать проклятого парня,— боялся, что тот ему ответит как раз по-прошлогоднему... И подошел наш Филипп тихими шагами к вдовиному перелазу.

Вот и хатка горит под месяцем, и оконце жмурится, и высокий тополь купается себе в месячном свете... Мельник постоял у перелаза, почесался под шапкой и опять занес ногу через тын.

— Стук-стук!

«Ох, и будет опять буча, как тот раз, а то и похуже,— подумал про себя мельник.— Проклятый Харько своими проклятыми словами так мне все хорошо расписал... А теперь, как станешь вспоминать, оно и не того... и не выходит в тех словах настоящего толку. Ну, что будет, то и будет!» — и он брякнул опять.

Вот в оконце промелькнуло белое лицо и черные очи.

— Мамо моя, мамонько,— зашептала Галя.— А это же опять проклятущий мельник под оконцем стоит да по стеклу брякает.

«Эх, не выскочит на этот раз, не обоймет, не поцелует хоть ошибкой, как тогда!..» — подумал про себя мельник и таки угадал: вышла девка тихонько из хаты и стала себе поодаль, сложив руки под белою грудью.

— А чего ты опять стучишь?

Хотелось мельнику охватить девичий стан да показать ей сейчас, зачем стучал, и даже, правду сказать, уже пододвинулся он бочком к Гале, да вспомнил, что еще надо Харьковы слова высказать, и говорит:

— А что мне и не стучать, когда вы мне столько задолжали, что никогда и не выплатитесь? Того и хата ваша не стоит.

— А когда знаешь, что никогда не выплатим, то незачем и стучать по ночам, безбожный человек! Старую мать у меня в могилу гонишь.

— А какой ее бес, Галю, в могилу гонит? Если бы ты только захотела, я бы твоей матери старость успокоил!

— Брешешь все!

— Нет, не брешу! Ой, Галю, Галю, не могу я так жить, чтобы с тобой не любиться!..

— Бреши, как собака на ветер... А кто задумал к Макогону сватов засылать?

— Да уж думал или нет, а я тебе щирую правду говорю, хоть прикажи побожиться: сохну без тебя... А как теперь будет у нас, я тебе сейчас по порядку расскажу, а ты, если ты умная девка, послушаешься меня. Да только смотри, уговор: слушай ты меня ухом, да отвечай языком, а руками чтобы ни-ни! А то я рассержусь.

— Чудно что-то ты принимаешься,— сказала Галя, сложивши руки.— Ну, я послушаю, а только смотри, если ты опять дурницу понесешь, тогда и не проси ты своего бога...

— Э, не дурницу... Вот видишь ты... как это Харько начинал?..

— Харько? А что тут между нами Харьку еще начинать?

— Э, помолчи, а то я не скажу ничего хорошего... Отвечай: ты меня любила?

— Ну, стала бы я такую скверную харю целовать, когда б не любила?..

— А я кто тогда был: подсыпка или нет?

— А подсыпка. Дал бы бог, чтоб и никогда не был мельником.

— Тю! не говори лишних слов, а то я собьюсь... Выходит так, что ты любила подсыпку, так, значит, судьба тебе выйти замуж за подсыпку и жить на мельнице. А как я тебя прежде любил, так и после буду любить, хоть бы сватался к десяти Мотрям.

Галя даже глаза себе протерла,— не снится ли ей сон.

— А что это ты такое несешь, человече? Или я вовсе дура, или у тебя в голове одной клепки не хватает. Как же это я пойду за подсыпку, когда ты теперь мельник? И как ты на мне женишься, когда сватов пошлешь к Мотре, а?.. Что ты это несешь, человече, перекрестись ты левою рукой.

— Вот еще! — сказал мельник.— Разве же у меня на мельнице нет подсыпки? А Гаврило... чем тебе не подсыпка? Что маленько дурень, это правда, так нам это, Галечко, еще лучше, я тебе по правде скажу.

Тут только девка разобрала, куда мельник клонит хитрую речь. Всплеснула руками да как заголосит:

— Ой, мамо, мамонько, что он тут говорит! Да это ж он, видно, в турки хочет записаться да двух жен завести. Тащи ты, мамо, кочергу из хаты, а я покамест своими руками с ним расправлюсь...

Да на мельника! А мельник от нее. Отбежал до перелаза, стал на нем ногой и говорит:

— А, так-то ты, гадюка! Так выбирайтесь обе с матерью из хаты. Завтра отберу за долги. Геть!

А она ему:

— Выбирайся и ты, турка, сейчас из моего саду, пока он мой. А то как вцеплюсь вот сейчас ногтями, то и Мотря твоя не узнает, где у тебя что было!..

Вот и говори с нею! Плюнул мельник, скорехонько соскочил с тына и пошел из села сердитый. Вышел на гребень горы, откуда уже слышно было, как вода в лотоках шумит, так еще обернулся и погрозился кулаком...

А в это время как раз: динь, динь...

Опять зазвонили на селе, на звоннице, самую полночь...

X

Мельник подошел к своей мельнице, а мельница вся в росе, и месяц светит, и лес стоит и сверкает, и буга́й, проклятая птица, бухает в очеретах, не спит, будто поджидает кого, будто кого выкликает из омута...

Жутко стало мельнику Филиппу.

— Эй, Гаврило! — крикнул он на мельницу.

— У-у, у-у,— отозвался с болота бугай, а на мельнице никто ни чи-чирк.

«Э, проклятый парубок! опять помандровал к девкам...» — подумал мельник, и не хотелось что-то ему идти в пустую мельницу. Хоть и привык, а все-таки вспоминалось иной раз, что под мельничным полом, промежду сваями, не одни рыбы да ужи плавают в темной воде...

Он оглянулся к городу. Тихо, светло, туман чуть-чуть закурился над речкой, что уплывает себе за лес, и не видно ее в светлой мгле... А на небе ни облачка...

Назад посмотрел и опять удивился, откуда в его запруде столько глубины: и для месяца, и для звезд, и для всего синего неба...

Глядь, а в воде по-над звездами будто комарик летит... Пригляделся,— вырос комарик как муха, потом стал как воробей, как ворона, а вот уж как здоровый шуляк.

— Цур тобі, пек тобі[1],— сказал мельник и, подняв глаза, увидел, что это не в воде, а по воздуху летит что-то прямо к мельнице.

— А бей тебя сила господня! Это, видно, опять Хапун в город поспешает за добычей. Видишь ты, собачья вера, как заленился на этот раз: полночь пробило, а он еще только в дорогу собрался...

Он стоял так, с задранною головой, а по воздуху уже, как орел, летело, кружась, облако и опускалось книзу; а из того облака что-то жужжало так, как в хорошем пчелином рою, когда рой вылетит из пасеки поверх саду...

— А, опять у меня на плотине отдыхать задумал? Видишь ты, какую себе моду завел. Погоди, поставлю на тот год «фигуру» (крест), так, небойсь, не станешь по дороге, как в заезжий дом, на мою плотину заезжать... Э, а что ж это он так шумит, как змеек с трещоткой, что ребята запускают в городе? Надо, видно, опять за явором притаиться да посмотреть.

Не успел отбежать к яворам, поглядел кверху и чуть не крикнул от страха... Видит — гость уже близко над мельничною крышей, да еще в руках держит... Вот ни за что и не угадаете, что́ такое принес чертяка в когтях.

Жида Янкеля! Да, того самого Янкеля, которого год назад утащил, теперь приволок обратно. Держит Янкеля крепко за спину, а Янкель держит в руках большущий узел, завязанный в простыне, и оба ругаются в воздухе, да так шибко, будто десять жидов заспорили на базаре из-за одного мужика...

Камнем упал черт на плотину. Если бы не мягкий узел, то, пожалуй, Янкелю не собрать бы и костей. Потом оба сразу вскочили на ноги и давай опять галдеть.

— Ой, ой!.. И что это за свинство,— закричал Янкель,— не можете вы полегче на землю спуститься!.. Я думаю, у вас в руках живой человек.

---

[1] «Цур тобі, пек тобі» — заклинание.

— Человек да еще узел, чтоб вам обоим провалиться сквозь землю!..

— Пхе! Чем вам мешает мой узелок? Я его сам держу, вас не заставляю...

— Узелок! Целая гора всяких бе́бехов. Насилу дотащил, у-ух! На это и уговора не было...

— Ну, а где это видно, чтобы человек ехал в дорогу без вещей?.. Везете человека, везите и вещи, это уж и без всякого уговора можно понимать... Разве можно хозяину свое добро бросить?.. Вы, я давно вижу, хотите обмануть бедного Янкеля, так и придираетесь...

— А!.. Кто тебя, лисицу, обманет, тот и трех дней не проживет. Я уж не рад, что и связался...

— Вы думаете, я очень рад, что познакомился и-с-вами? Ой-вай, важный пуриц!.. А вы лучше скажите мне, какой у нас уговор был. Ну, вы, может, забыли, так я вам припомню: мы бились об заклад. Может, вы скажете: мы не бились об заклад? Вот это будет хорошее дело, если вы отречетесь!

— Кто тебе говорит, что не бились? Разве я тебе сказал, что не бились?

— Ну, как же вам и сказать, что не бились, когда мы бились вот здесь, на этом самом месте. Может, вы не помните, о чем, так я сейчас припомню. Вы говорите: жиды берут проценты, жиды спаивают народ, жиды жалеют своих, а чужих не жалеют... Ну, может, вы этого не говорили, а я, может, вам не ответил на это: вот тут стоит мельник за явором. Если б он жалел жида, то крикнул бы вам: «Господин черт, кидайте,— у него жена, дети». Но он не крикнет... Раз!

«Вот как угадал, подлый!» — подумал про себя мельник, а черт сказал:

— Ну, раз!

— А еще я говорю, помните мое слово: как меня здесь не станет, мельник откроет шинок и станет разбавлять водку, а проценты он и теперь дерет как следует... Два!

— Ну, два,— подтвердил черт, а мельник поскреб в голове: «Как это он все мог угадать, проклятый?»

— А еще я говорю: нам чужие желают, чтоб нас черти взяли, это правда... А как вы думаете, если б здесь сейчас были наши жидки да увидели, что вы со мной

хотите делать,— какой бы они тут гевалт подняли, а? А об мельнике через год, кого ни спросите, свои братья скажут: а пусть его черт унесет... Три!

— Ну, три!.. Я и не отрекаюсь.

— Вот это хороший интерес был бы, если б вы еще отрекались. Какой бы вы были после этого честный еврейский черт? А вы лучше скажите, какой уговор?

— Я все исполнил: оставил тебя на год живым — раз. Понес сюда — два...

— А три? Что же будет три?

— Чего еще? Выиграешь заклад,— отпущу тебя на все четыре стороны.

— А убытки?.. Разве вы не должны вернуть мне убытки?..

— Убытки? Какие ж у тебя могут быть убытки, когда мы тебе дали торговать у нас без всяких патентов целый год?.. Ну, что? Такой барыш на земле в три года не возьмешь... Смотри сам: я тебя захватил отсюда в одном лапсердаке, даже без патынков, а сюда какой ты узел приволок, а? Откуда же он взялся, если у тебя все были убытки?

— Ой-вай! Опять узлом попрекаете!.. Что я себе там торговал, это мое счастье... Разве вы считали мой барыш? А я вам скажу по правде, что я от вашей торговли взял чистый убыток, а тут, на земле, год потерял...

— Ах ты, ширлатан! — крикнул черт.

— Я ширлатан? Нет, это вы сами ширлатан, шейгиц, лайдак, паршивец!..

Тут они опять заспорили так шибко, что уже нельзя было разобрать ни слова. Оба махали руками, оба трясли ермолками и поднимались на цыпочки, как два петуха, готовые сцепиться. Наконец черт спохватился первый:

— А! Еще не известно, кто выиграл! Что мельник тебя не пожалел, это правда, а остальное еще посмотрим, еще надо у людей спросить, может он и не думал открыть шинок.

«Два открыл! — почесался опять мельник.— Э, надо было хоть годик обождать,— остался бы Янкель в дураках, а то тут что-то такое неладное выходит...»

И он оглянулся на свою мельницу: нельзя ли тихонько, по-за мельницей, махнуть на село? Но в это время в лесу, за плотиной, послышались чьи-то неровные

шаги и бормотанье. Янкель схватил на плечи свой узел и бегом побежал к тем же яворам. Мельник едва успел спрятаться за толстую ветлу, как оба — и черт, и Янкель — были уже тут, а в это время в конце плотины показался подсыпка Гаврило. Свитка на Гавриле драная, с одного плеча спущена, шапка набоку, а босые ноги все одна с другой спорят: одной хочется направо, а другая, назло, налево норовит. Одна опять в свою сторону потянет, а другая так бедного подсыпку к себе кинет, что вот-вот голова в одно место улетит, а спина с ногами в другое. Так вот и идет бедный парубок, выписывая по всей плотине узоры, от одного края до другого, а вперед что-то мало подвигается.

Видит чертяка, что подсыпка совсем пьян, вышел себе да и стал посредине плотины в своем собственном виде. Известно, с пьяными людьми какая церемония!

— Здравствуйте,— говорит,— добрый человек! А где это вы так намалевались?..

Тут только мельник в первый раз заметил, какой Гаврило стал за год оборванный и несчастный А все оттого, что́ у хозяина заработает, у хозяина и пропьет; денег от мельника давно уже не видал, а все забирал водкой. Подошел подсыпка вплоть к самому черту, уперся сразу обеими ногами в гать и сказал:

— Тпру-у-у. . Вот бесовые ноги, с норовом каким! Когда надо, не идут, а как увидели, что у человека перед самым носом торчит что-то, тут они и прут себе вперед. А ты это что́ такое, я что-то не разберу никак...

— Я себе, с позволения вашего, черт...

— Ну-у? Брешешь, я думаю. Э!.. А пожалуй, твоя правда. И рога, и хвост,— все как следует. А пейсы по бокам морды зачем?

— Да я себе, не в обиду вам сказать, жидовский черт.

— А! Вот видишь ты, какая оказия!.. Так это не ты ли в прошлом годе нашего Янкеля уволок?

— Ну, ну! Я самый.

— А теперь же кого? Меня, что ли? То я и закричу, ей-богу закричу... Ты еще не знаешь, какая у меня глотка.

— Э, не кричи напрасно, добрый человек. На что ты мне сдался?..

— Может, мельника? Позвать тебе, так я и позову. Э, нет, постой! А кто ж у нас шинковать станет?

— А у него разве есть шинок?

— У него?.. Нет, у него два; один на селе, а другой при дороге...

— Ха-ха-ха! Не оттого ли тебе мельника и жалко?

— Ой! Как ты смеешься здорово... Ха! Не такой я человек, чтобы его пожалеть!.. Нет, не так я сказал!.. Это он не такой человек, чтоб я его пожалел. Он думает, Гаврилко — дурень... Ну, это-таки правда: я себе не очень умный человек, не взыщите вы с меня. А все-таки когда ем, то в чужой рот каши не кладу, а только в свой. И как оженюсь, то опять для себя же. Правду я говорю или нет?

— Правда оно — правда, ну, а только я не знаю, к чему она клонит.

— Хе, может, тебе не надо знать, то ты и не знаешь, а как мне надо знать, то я и знаю, зачем он меня женить хочет. Ой, знаю я хорошо, даром что я не очень догадливый человек. Вот и тот раз, как вы Янкеля схапали, я об нем пожалел: «Кто ж теперь,— говорю хозяину,— у нас шинковать будет?» А он и говорит: «Тю, дурень! Разве не найдется кому? А хоть бы и я вот!» Так и теперь: возьмете вы себе мельника,— найдется у нас кому жидовать и без него... Ну, а я тебе, добрый человек... тьфу, тьфу, не взыщите, ваша милость! Вот же человеком назвал поганого черта... Теперь я тебе вот что скажу: что-то мне того, что-то спать хочется. Ты себе как хочешь... бери его себе сам, а я пойду лягу, вот что, потому что я маленько нездоров. Вот и будет хорошо... Ага!..

Тут подсыпка опять стал заплетать ногами и насилу отпер двери, как уже повалился и захрапел.

Черт весело засмеялся и, став на краю плотины, моргнул Янкелю под яворы:

— А кажется, твоя правда, Янкель. Что-то выходит похоже... Дай, однако, мне какую одежину на подержание... Я заплачу́...

Янкель стал смотреть на свет какие-то шаровары, чтобы ошибкой не дать черту новых, а в это время за рекой, по дороге из лесу показалась пара волов. Волы сонно качали головами, телега чуть-чуть поскрипывала

колесами, а на телеге лежал мужик Опанас Нескорый, без свитки, без шапки и сапогов, и во все горло орал песни.

Добрый был мужик Опанас, да только, бедняга, очень водку любил. Бывало, только снарядится куда выехать, а уж Харько у шинка сторожит и кличет:

— Не выпить ли тебе чарочку, Нескорый? Куда торопиться?

Он и выпьет.

Выедет после того за село, через плотину, а там уж, у другого шиночка, сам мельник кличет:

— А не выпьешь ли чарочку, Нескорый? Куда тебе поспешать?

Он и тут выпьет. Глядишь — и вернется домой, никуда не ездивши.

Да, добрый был мужик, но, видно, судьба ему судила пропадать промежду двумя шинками... А все-таки человек был веселый и все, бывало, песни поет. Весь, бывало, пропьется, и баба сердитая дома дожидается, а он как песню или прибаутку сложил, так думает, что горе избыл. Так и теперь: лежит себе в телеге и поет во все горло, что даже лягушки с берега кидаются в воду:

Волы мои крутороги
Идут по дороге...
А меня не носят ноги,
Ой, не носят ноги!
Пропил свитку и чоботья,
И шапку с затылка...
А у мельника в шиночке
Хороша горілка...

— Эй, а какая там бесова тварюка посередь гати стоит, что и волам не пройти? Вот, когда бы не лень было мне сойти с воза, я б тебе показал, как посередь дороги становиться... Цоб, цоб, цоб-бе!..

— Постой на одну минуту, добрый человек,— сказал черт сладким голосом.— Мне бы с тобой потолковать немного...

— Немного? Ну, толкуй, а то некогда. Пожалуй, в Каменке шинок заперли, так и не достучишься... А что ты скажешь, не знаю, как тебя назвать... Ну?

— О ком это ты такую хорошую песню пел?

— Спасибо, что похвалил. Пел я об мельнике, что вот тут на мельнице живет, а что хороша ли песня, или нет, то лучше мне знать, потому что я себе сам пою. Может, кто от той песни скачет, а кто и плачет, вот что... Цоб, цоб, цоб-бе! Да ты все еще стоишь?

— Стою.

— Чего ж ты стоишь?

— В песне твоей говорится, что горелка у мельника хороша?

— Вот ты какой... хитрый! Человек и песню еще до конца не допел, а он уж придрался к слову. Где у беса хороша!.. Ты, видно, не слыхал поговорки: вперед батька не лезь в пекло, а то опередишь батька и того... нехорошо будет. Когда так, то я лучше тебе до конца спою:

А у мельника в шиночке
Хороша горілка...
Ой, горілки две бутылки,
И... воды бутылка...

Ну, что, все стоишь? Чего ж тебе, когда так, еще надо? Вот я сейчас вылезу-таки с воза, посмотрю, долго ли ты настоишься вот тут, а?.. Что ты себе подумаешь, если я начну тебя угощать батогом?..

— Сейчас, сейчас уйду, добрый человек. Только скажи еще: а что ты себе подумал бы, когда бы здешнего мельника черт забрал, как и Янкеля?..

— А что мне думать? — ничего и не подумаю... Таки, сказать по правде, и схапает когда-нибудь, непременно-таки схапает... Э, да ты, вижу, все стоишь... Ну, вылезаю с воза. Гляди, уж и ногу одну поднял...

— Ну, ну! Поезжай себе, когда ты такой сердитый.

— Ушел ты?

— Ушел.

— Цоб, цоб, цоб-бе!

Опять волы закачали рогами, заскрипели ярма и занозы, воз покатился на другой конец гати, а Опанас запел свою песню:

Волы мои крутороги,
Прибавляйте бегу!
Пропил мельнику колеса,
Пропью и телегу.

Колеса стукнули, съезжая с гати, и песня Опанаса стала затихать на горе.

Не успела еще стихнуть, как послышалась другая, из-за реки. Так и звенели, так и заливались женские голоса, сначала далеко, а там уже и в лесу. Видно, где-нибудь дожинали девчата с молодицами, а может, и отаву на дальнем покосе сгребали, а теперь шли себе позднею дорогой и пели, чтобы не страшно было лесом идти.

Чертяка разом шмыгнул к Янкелю под вербы.

— А ну, давай же чего-нибудь поскорее!

Янкель ткнул ему какую-то рвань. Черт кинул ее на землю и ухватился за узел.

— А! что̀ ты мне даешь, как нищему, что стыдно будет показаться. Давай получше!

Черт выхватил, что ему было нужно, мигом свернулись у него крылья, мягкие, как у нетопыря, мигом вскочил в широкие, как море, синие штаны, надел все остальное, подтянулся поясом, а рога покрыл смушковой шапкой. Только хвост высунулся поверх голенища и бегал по песку, как змея...

Вот после этого чмокнул, топнул, подбоченился, посунулся навстречу молодицам,— ни взять, ни дать какой-нибудь добрый мещанин или подпанок из экономов,— и стал на середине плотины.

А песня все ближе да все звончее,— уже так и веет по-над землей, да под ясным месяцем, что, кажется, весь свет разбудит середь ночи. Да вдруг и оборвалась сразу...

Сыпнули молодицы из лесу, будто кто маков цвет из передника на землю просыпал,— увидели на плотине незнакомого щеголя и сбились в кучу у конца гати.

— А что оно такое вон там стоит? — спросила одна.

— Да это мельник,— говорит другая.

— Какой мельник,— и не похоже!

— Может, подсыпка.

— Где у подсыпки такая одежа?

— А отзовись ты, когда ты что̀ доброе,— крикнула вдова Бучилиха, что, видно, была побойчее других.

Черт издали поклонился и потом подошел поближе, выкидывая ногами и фигурой выкрутасы, как настоящий подпанок, что хочет казаться паном, и сказал:

— А не бойтесь, ласточки вы мои! Я себе человек молодой, а зла вам не сделаю. Идите себе спокойно...

Молодицы и девки взошли на гать, поталкивая одна другую, и скоро окружили черта... Э, не всегда-таки приятно, как окружат человека десяток-другой вот этаких вострух и начнут пронизывать быстрыми очами, да поталкивать одна другую локтем, да посмеиваться. Черта стало-таки немного коробить да крючить, как бересту на огне,— уж и не знает, как ступить, как повернуться. А они все пересмеивают.

«Вот так его, так его, мои ласточки,— подумал про себя мельник, глядя из-за корявой ветлы.— Вспомните, галочки мои, как Филиппко с вами, бывало, песни пел да хороводы водил. А теперь вот какая беда: выручайте ж меня, как муху из паутины». Еще, кажется, если бы его так пощипать хоть с минуту,— провалился бы чертяка сквозь землю...

Но старая Бучилиха остановила девчат:

— Цур вам, сороки! Совсем парубка засмеяли, что у него и нос опустился книзу, руки-ноги обвисли... А скажи ты нам, небора́че, кого ты тут над омутом дожидаешься?

— Мельника.

— Приятель ему, видно?

«Чтоб таким приятелям моим всем провалиться сквозь землю!» — хотел крикнуть Филипп, да голос не пошел из горла, а чертяка отвечает:

— Не то чтоб большой приятель, а так себе: сосчитаться за старое надо.

— А давно ты его не видал?

— Давненько.

— Ну, так теперь и не узнаешь. Добрый был когда-то парубок, а теперь уж так голову задрал, что и кочергой до носа не достанешь.

— Ну?

— То-то... Не правду я говорю, девоньки?

— А правда, правда, правда! — застрекотала вся стая.

— Тю! тише немножко,— закричал черт, затыкая уши,— от лучше скажите, что это с ним подеялось и с каких пор?

— А с тех пор, как богачом стал.

— Да деньги стал раздавать в лихву.

— Да шинок открыл.

— Да мужа моего Опанаса с проклятым Харьком так окрутил, что уж мужику и ходу никуда, кроме кабака, не стало.

— Да и наших мужей и батьков споил всех дочиста.

— Ой, ой, лихо нам с ним, с проклятым мельником! — заголосила какая-то и, вместо недавней песни, пошли над рекой вопли да бабьи причитанья.

Поскреб-таки Филипп свой затылок, слушая, как за него заступаются молодицы. А черт, видно, совсем оправился. Смотрит искоса да потирает руки.

— Э, это еще что! — звонко перекричала всех вдова Бучилиха.— А слыхали вы, что он над Галей над вдовиной задумал?

«Тьфу,— плюнул мельник.— Вот сороки проклятые! О чем их не спрашивают, и то им нужно рассказать... И как только узнали? То дело было сегодня на селе, а они уж на покосе все дочиста знают... Ну и бабы, зачем только их бог на свет божий выпускает?..»

— А что бы такое над вдовиной дочкой мой приятель затеял? — спросил черт, глядя по сторонам так, как будто это дело ему не очень даже и любопытно.

И пошли тут сороки выкладывать, и выложили одна перед другой все дочиста!

Черт помотал головой.

— Ай-ай-ай! вот это так уж нехорошо! Этого уж, я думаю, никто и от прежнего шинкаря Янкеля не видал.

— О, да где же такое жиду придумать?

— Вот еще!

— Вот, вижу я, мои кралечки, мои зозу́леньки, не очень-то вы моего приятеля любите...

— А пускай же его все черти полюбят, а от нас не дождется...

— Ой-ой-ой! Вот, видно, не много вы ему добра желаете...

— Пускай его потрясет трясця (лихорадка)!

— Пускай лезет в омут за дядьком!

— Э, пусть и его чертяка схапает, как того Янкеля!..

Все засмеялись.

— А правда твоя, Олено, потому, что он хуже жида.

— Жид по крайней мере не ласовал, оставлял хоть девчат в покое, знал свою Сурку.

Черт даже подпрыгнул на месте.

— Ну, спасибо вам, ласточки мои, за ваше приветливое слово... А не пора ли вам уже идти дальше?

А сам откинул голову, как петух, что хочет закричать на заре погромче, и захохотал, не выдержал. Да загрохотал опять так, что даже вся нечистая сила проснулась на дне речки и пошли над омутом круги. А девки от того смеха шарахнулись так, как стая воробьев, когда в них кинут камнем: будто ветром их сдуло сразу с плотины...

Пошли у мельника по шкуре мурашки, и взглянул он на дорогу к селу: «А как бы это,— думает себе,— приударить и мне хорошенько за девками. Когда-то бегал не хуже людей». Да вдруг и отлегло у него от сердца, потому что, видит, опять идет к мельничной гати человек, да еще не кто-нибудь, а самый его наймит — Харько.

«Вот, кусни-ка этого,— подумал он про себя,— авось зубы обломаешь. Это мой человек».

XI

Наймит шел босиком, в красной кумачной рубахе, с фуражкой, без козырька, на затылке, и нес на палке новенькие Опанасовы сапоги, от которых так и разило дегтем по всей плотине.— «Вот какой скорый! — подумал мельник,— уж и взял себе чоботы... Ну, да ничего это. На этого человека я крепко теперь надеюсь».

Увидев на середине плотины незнакомого человека, наймит подумал, что это какой-нибудь волочуга-грабитель хочет отнять у него сапоги. Поэтому он остановился в нескольких шагах от Хапуна и сказал:

— Вот что: лучше и не подходи,— не отдам!

— Что ты, спохватись, добрый человек! Разве я сам без сапог? Погляди: еще лучше твоих.

— Так что же ты тут вырос ночью, как корявая верба над омутом?

— А я, видишь ли, хочу тебе задать один вопрос.

— Чудно! Загадку, что ли? Кто же тебе сказал, что я всякую загадку лучше всех разгадаю?

— Слыхал-таки от людей.

Солдат поставил сапоги наземь и, вынув кисет, стал набивать себе трубочку. Потом выкресал из кремня огоньку и, раскуривая под носом густое курево, сказал:

— Ну, теперь вываливай: какие там у тебя загадки?

— Да не то чтобы загадки, а так... Кто здесь, по-твоему, самый лучший человек?

— Я!

— Э, почему так?.. Нет ли кого получше?

— Да ты спрашиваешь: как по-моему?.. Ну, так я сам себя ни за кого не отдам.

— Правда твоя. А мельник... какой человек?

— Мельник?

Солдат выпустил изо рта такой клуб дыма, как белый конский хвост на месячном свете, и искоса поглядел на черта.

— А вы не из акцизу?

— Нет.

— Может, не при полиции ли где служите... по какой тайности?

— Да нет же!.. Такой умник, а не умеет отличить простого человека от непростого.

— Кто это тебе сказал?.. Да я у тебя в костях и то все вижу... А что спросил, так это так себе, на всякий случай. Так ты говоришь: какой человек мельник?

— Эге!

— Так себе человек: не высокий, не низкий... из небольших середний.

— Э, не то ты говоришь!..

— Не то? А что бы такое еще тебе сказать?.. Может, хочешь знать, где у него бородавка?

— Ты, я вижу, любишь морочить, а мне некогда. Скажи попросту: хороший мельник человек или плохой?

Солдат опять пустил изо рта целый хвост дыма и сказал:

— А ты-таки скорый человек, любишь кушать, не разжевавши.

Черт вылупил глаза, а у мельника от радости запрыгало сердце.

«Вот язык, так язык,— подумал он.— Сколько раз я желал, чтобы он у него отсох, а он вот и пригодился,— смотрите, как чертяку отбреет!..»

— Любишь кушать не разжевавши, я тебе говорю! — строго повторил солдат.— Так тебе и скажи: хороший человек или нет? Для меня, вот, всякий человек хорош. Я, брат, из всякой печи хлеб едал. Где бы тебе подавиться, а я и не поперхнусь!.. Э, что ты себе думаешь: на дурака напал, что ли?

«Вот та́к, вот-та́ки так его,— сказал про себя мельник и даже подпрыгнул от радости.— Я не я буду, когда у него черт через полчаса не станет глупее овцы! Я на крылосе читаю, что никто слова не поймет... так оттого, что скоро. А он вот и тихо говорит, а поди — пойми, что̀ сказал...»

Действительно, бедный черт заскреб в голове так сильно, что мало не стянул шапки.

— Постой-ка, служба,— сказал он.— Что-то, видится, мы с вами едем-едем, да не доедем. Не в тот переулок завернули...

— Не знаю, как ты, а я из всякого переулка выеду.

— Да ведь я у вас спрашиваю: хороший мельник человек или нет, а вы куда меня завезли?

— А дай же я у тебя спрошу: вода хороша или нет?

— Вода?.. А чем же плоха?

— А когда есть квас, тогда от воды отвернешься,— нехороша?

— Пожалуй, нехороша.

— А когда стоит на столе пиво, так тебе и квасу не надо?

— Вот и это правда.

— А поднеси чарочку горелки, и на пиво не поглядишь?

— Так-то оно так...

— Вот то-то и оно-то!

Черта ударило в пот, и из-под свитки хвост у него так и забегал по земле,— даже пыль поднялась на плотине. А солдат уже вскинул палку с сапогами на плечи, чтоб идти далее, да в это время чертяка догадался, чем его взять. Отошел себе шага на три и говорит:

— Ну, идите, когда так, своею дорогой. А я тут обожду: не пойдет ли, случаем, солдат Харитон Трегубенко.

Солдат остановился.

— А тебе на что его?

— Да так!.. Говорили, солдат Трегубенко — умный человек: может ввести и вывести. Я и подумал, не вы ли это сами будете. А вижу, нет! С вами путаешься кругом, а на дорогу никак не выедешь...

Солдат поставил сапоги наземь.

— А ну, спроси у меня еще.

— Э, что тут и спрашивать!

— А ты попробуй.

— Ну, вот что. Скажи мне: кто был лучше — Янкель-шинкарь или мельник?

— Вот так бы и говорил сразу, а то не люблю таких людей, что подле самого мосту ищут броду. Иному человеку лучше десять верст исколесить проселками, чем одну версту прямою дорогой. Вот и я тебе сейчас все толком, по пунктам, как говорится, скажу: у Янкеля был шинок, а у мельника — два.

«Э, что-то уж и не так заговорил,— подумал с горестью мельник.— Пожалуй, об этом лучше бы и не заговаривать...»

А солдат говорит дальше:

— У Янкеля я ходил в лаптях, а тут у меня и сапоги выросли...

— А откуда они выросли?

— Хе, откуда!.. В нашем деле все так, как в колодце с двумя ведрами: одно полнеет, другое пустеет,— одно идет кверху, другое книзу. У меня были лапти,— стали сапоги. А погляди ты на Опанаса Нескорого: был в сапогах, теперь стал босой, потому что дурень. А к умному ведро приходит полное, уходит пустое... Понял?

Черт слушал внимательно и сказал:

— Постой! Кажется, подъезжаем помаленьку, как раз куда надо.

— То-то! Я про то и сразу тебе говорил! Назови ты мне Янкеля хоть квасом, так мельник будет пиво, а если б ты подал мне доброго вина, то я бы и от пива отступился...

У черта кончик хвоста так резво забегал по плотине, что даже Харько заметил. Он выпустил клуб дыму прямо черту в лицо и будто нечаянно прищемил хвост ногою. Черт подпрыгнул и завизжал, как здоровая собака: оба испугались, у обоих раскрылись глаза, и оба

стояли с полминуты, глядя друг на друга и не говоря ни одного слова.

Наконец Харько посвистал по-своему и сказал:

— Эге-ге-ге-е! Вот штука, так штука...

— А вы как думали? — ответил черт.

— Вот вы какая птица!

— А вот, как меня видите...

— Так это вы, значит, того... в прошлом годе?..

— Ага!

— А теперь... за ним?

— Ну, ну... Что скажете?

Харько затянулся, пыхнул дымом и ответил:

— Бери! Не заплáчу... Я человек бедный, мое дело — сторона. Сяду себе с люлькой у шинка, буду третьего дожидаться.

Черт опять загрохотал, а солдат закинул сапоги на спину и пошел скорым шагом. А как проходил мимо купы яворов, то мельник слышал, что он бормочет:

— Вот оно что: одного унес, за другим прилетел... Ну, моя хата с краю!.. Засватал черт жида, — мельнику досталось приданое; теперь сватает мельника, а приданое — мне. Солдат кому ни служит, ни о ком не тужит. Выручка на руках, — пожалуй, можно и самому за дело приняться. Не станет теперь Харька Трегубенка, а будет Харитон Иванович Трегубов. Только уж я не дурак: ночью на плотину меня никакими коврижками не заманишь...

И стал подыматься на гору.

Оглянулся мельник кругом: а кто ж ему теперь поможет? — нет никого. Дорога потемнела, на болоте заквакала сонная лягушка, в очеретах бухнул сердито бугáй... А месяц только краем ока выглядывает из-за леса: «А что теперь будет с мельником Филиппом?..»

Глянул, моргнул и ушел себе за леса...

А на плотине черт стоит, за бока держится, хохочет. Дрожит от того хохота старая мельница, так что из щелей мучная пыль пылит, в лесу всякая лесная нежить, а в воде водяная — проснулись, забегали, показывается кто тенью из лесу, кто неясною марой на воде; заходил и омут, закурился-задымился белым туманом, и пошли по нем круги. Глянул мельник — и обмер: из-под воды смотрит на него синее лицо с тусклыми, неподвиж-

ными глазами и только длинные усы шевелятся, как у водяного таракана. Точь-в-точь дядько Омелько выплывает из омута прямо к яворам...

Жид Янкель давно уже пробрался тихонько на плотину, подняв одежу, которую скинул с себя черт, и, шмыгнув под яворы, наскоро завязал узел. Не говорит уже ничего об убытках; да скажу вам, тут на всякого человека напала бы робость. Какие уже тут убытки!.. Вскинул узел на плечи и тихонько зашлепал себе по тропинке за мельницей в гору, за другими...

Пустился и мельник на свою мельницу,— хоть запереться да разбудить подсыпку. Только вышел из-под яворов, а черт — к нему. Филипп от него, да за дверь, да в каморку, да поскорее засвечать огни, чтобы не так было страшно, да упал на пол и давай голосить во весь голос,— подумайте вот! — совсем так, как жиды в своей школе...

А тот уж летает-вьется над крышей, да в оконце свою любопытную харю сует, да крылом бьет в стекло,— не знает, куда пробраться, чтобы захватить себе лакомый кусок...

Вдруг — шасть .. Хлопнулось что-то об пол, будто здоровенная кошка упала. Это проклятый в трубу влетел, ударился, подскочил... И слышит мельник — сидит уже на спине и запускает когти.

Ничего не поделаешь!..

Шасть опять. . потемнело в глазах, поволок мельника по темному да тесному месту; посыпалась глина, сажа поднялась тучей и вдруг... Вот уже труба внизу вместе с мельничною крышей, которая становится все меньше и меньше, будто и мельница, и плотина, и яворы, и омут падают куда-то в пропасть... А в тихой мельничной запруде, что лежит внизу гладкая, точно на тарелке, виднеется опрокинутое небо, и звезды мигают себе тихонечко, вот как всегда... И еще видит мельник: в той синей глубине, перекрывая звезды, летит будто шуляк, потом будто ворона, потом будто воробей, а вот уж как большая муха...

«А это ж он меня выволок так высоко,— подумал мельник.— Вот тебе, Филиппко, и доход, и богатство, и шинки, и роскошь. А нет ли там где крещеной души, чтобы крикнула: «Кинь, это мое!»?»

Нет никого! Прямо под ним спит себе мельница, и только из омута огромная усатая рожа утопшего дядьки Омелька глядит стеклянными глазами и тихо смеется, и моргает усом...

Дальше на гору подымается жид, сгорбившись под тяжелым белым узлом. В половине горы Харько стоит и, покрыв ладонью глаза, смотрит в небо. Э, не подумает он выручать хозяина, потому что вся выручка от шинка остается на его долю.

Вот рассеянная стайка девчат обогнала уже Опанаса Нескорого с его волами. Девчата летят, как сумасшедшие, а Нескорый хоть и глядит прямо в небо, лежа на возу, и хоть душа у него добрая, но глаза его темны от водки, а язык, как колода... Некому, некому крикнуть: «Кинь, это мое!»

А вот и село. Вот запертый шинок, спящие хаты, садочки; вот и высокие тополи, и маленькая вдовина избушка. Сидят на завалинке старая Прися с дочкой и плачут обнявшись... А что ж они плачут? Не оттого ли, что завтра их мельник прогонит из родной хаты?

Сжалось у мельника сердце. Э, пусть хоть эти не поминают меня лихом! Собрался с духом и крикнул:

— А не плачь, Галю, не плачь, небого! Уж прощаю вам все долги с процентами... Ой, лихо мне, хуже вашего: волочет меня нечистый, как паук маленькую мушку...

Видно, чутко девичье сердце... Где бы, кажется, услыхать на таком дальнем расстоянии, а Галя все-таки дрогнула и подняла кверху черные, заплаканные очи...

— Прощайте вы, карие оченята,— вздыхает мельник да вдруг видит: схватилась девушка руками за грудь, да как наберет воздуху, да как крикнет:

— Кинь, проклятая чертяка! Кинь, это мое!

Точно цепом, с большого размаху, резнуло черта по ушам: встрепенулся, распустились когти, и понесся Филипп книзу, как перышко, поворачиваясь с боку на бок.

Летит, а чертяка, как камень за ним. Только долетит и придержит мельника, а Галя опять:

— Кинь, проклятый,— мое!

Он и отпустит, а мельник опять полетит, да так до трех раз, а уже внизу и багно (болото), что между селом и мельницей, расстилается все шире да шире.

Тар-рах! Ударился мельник в мягкое багно со всего размаха, так что мочâга вся колыхнулась, будто на пружинах, да снова мельника сажени на две кверху и подкинула. Упал опять, схватился на ровные ноги, да бегом лётом, да через спящего подсыпку, да чуть не вышиб с петлями дверей — и ну под гору во все лопатки чесать босиком... Сам бежит и только вскрикивает,— все ему кажется, вот-вот чертяка на него налетит.

Добежал до крайней избы, да через тын лётом, да в двери, да стал середь вдовиной избы и тут только опомнился:

— А вот я и у вас, слава богу!

XII

Вот вы подумайте себе, добрые люди, какую штуку устроил: рано поутру, еще и солнце только что думает всходить и коров еще не выгоняли, а он без шапки, простоволосый, да без сапогов, босой, да весь расхристанный ввалился в избу ко вдове с молодою дочкой! Э, что там еще без шапки: слава богу, что хоть чего другого не потерял по дороге, тогда бы уж навеки бедных баб осрамил!.. Да еще и говорит: «А слава ж богу! Вот я и у вас».

Старуха только руками всплеснула. А Галя соскочила в одной сорочке с лавки да поскорее запаску на себя, да плахту, да к мельнику:

— Ты что это, злодей, делаешь? Опился, что ли,— своей хаты не нашел, в нашу вот такой ввалился, а?

А мельник стоит против нее, глядит приятно, хоть и выпучивши маленько глаза, и говорит: «Ну, бей себе, сколько хочешь».

Она его — раз!

— Бей еще!

Она его и два.

— Вот так. Может, еще дашь?

Она и три. Да тут видит, что ему ничем-ничего, стоит себе и глядит на нее приятным оком, всплеснула руками и заплакала.

— Ой, лихо мне, бедной сиротинке, кто за меня заступится!.. Ой, и что ж это за человек такой! Мало ему, что обманул меня, молодую, что в турецкую веру хотел

сманить, так еще и славу на меня, сироту, навел, на все село осрамил. А теперь вот поглядите на него, добрые люди: я его уж три раза ударила, а он хоть бы повернулся. Ой, и что ж мне еще с таким человеком делать, научите меня! Я ж и не знаю уже...

А мельник спрашивает:

— Ну, будешь еще бить или нет, говори прямо? Не будешь, так я уж и на лавку сяду,— устал.

У Гали опять было заходили руки, да старуха догадалась первая, что тут дело что-то не очень простое, и говорит дочери:

— Погоди ты, дочка! Что ты, ничего хорошенько не спросивши, так прямо ладонями и плещешь по чужой щеке. Не видишь разве, парубок что-то с глузду съехал (помешался). А скажи, небораче, откуда ты такой сюда ввалился, да еще говоришь: «Слава богу, вот я и у вас!» — когда тебе тут не надо и быть...

Мельник протер глаза и говорит:

— Вот, скажите вы мне, тетушка, по совести: что я сплю или я по свету хожу? А со вчерашнего вечера прошла одна ночь или целый год, да я ж теперь к вам со своей мельницы или с неба свалился?

— Тю! перекрестись ты, человече, левою рукой! И что ты это такое несешь языком, а? Видно, тебе приснилось.

— Не знаю, пани-матко, не знаю, сам уж ничего не знаю...

Сел было на лавку у окна, глядь — за окном, мимо хаты, по холодочку плетется шинкарь Янкель с огромным узлом на спине. Мельник вскочил на ровные ноги, показывает бабам в окно и говорит:

— Это кто идет, а?

— Да это же наш Янкель.

— А что он несет?

— Узел из городу.

— Так как же вы говорите, что мне приснилось? Да ведь вот и жид воротился. Я его сейчас видел у мельницы, с этим самым узлом.

— А почему же бы ему и не воротиться?

— Да ведь его в том году черт уволок — Хапун.

Ну, одним словом сказать, было тут много дива, как стал мельник рассказывать все, что с ним случилось.

А между тем против хаты, на улице, уже и народ начал набираться, да заглядывать в окна, да судачить:

— Вот,— говорят,— это штука, так уж штука: мельник простоволосый да расхристанный, без сапогов и без шапки через поле прямо к вдове придрал и сидит теперь в хате.

— Эй, скажи ты нам, добрый человек, а к кому ты это такой нарядный бегаешь: к старой Присе или, может, к молоденькой Гале?..

Ну, тут, я думаю, сами вы уж догадались, что такую славу на бедную девушку навести напрасно нельзя. Пришлось мельнику жениться. Да и сам Филипп признавался мне не один раз, что Галю вдовину всегда любил, а после той ночи, как побывал в когтях у нечистой силы, да Галя его вызволила,— такая она ему стала приятная, что уж его бы никто и палкой от нее не мог отогнать.

Живут теперь на мельнице и уж детвору навели. А о шинке мельник больше не думал и процентов не брал. И когда, бывало, при нем станет кто толковать, чтобы спровадить жида Янкеля к чертовой матери из села, он только рукой махнет.

— А шинок,— спрашивает у такого человека,— как вы думаете, останется?

— А шинок останется,— куда ж его девать.

— А кто ж в нем сидеть будет?.. Может, часом, вы не сядете ли?

— А что ж, пожалуй, и я бы сел...

Так он, бывало, только свистнет.

XIII

Да, так вот какая история случилась с мельником,— такая история, что и до сих пор никак не разберешь: было это все или этого вовсе-таки не было. Если сказать — брехня, так не такой мельник человек, чтобы брехать. Да и подсыпка Гаврило тоже еще живет на мельнице, и хоть сам признается, что здорово был пьян в эту ночь, а все-таки помнит хорошо, как мельник ему сам двери отворил, и еще Гаврило заметил, что у хозяина лицо белее муки. И Янкель пришел на заре, и Опанас

приехал домой босой и пьяный... Значит, и присниться все это мельнику — не приснилось.

Ну, а опять же и то взять: как же оно могло быть, когда для всего этого нужно целый год, а мельник на другое утро уже к Гале прибежал босиком...

Э, лучше уж, я думаю, и не разбирать этого дела. Было оно там или не было, а только вот что я вам от себя уже скажу: может, есть у вас где-нибудь знакомый мельник или хоть не мельник, да такой человек, у которого два шинка... Да еще, может, жидов ругает, а сам обдирает людей, как липку,— так прочитайте вы тому своему знакомому вот этот рассказ. Уж я вам поручусь, дело пробованное, бросить он, может, своего дела не бросит,— ну, а вам чарку водки поднесет и хоть на этот раз водой ее не разбавит.

Ну, а есть и такие люди (это тоже дело виданное), что как выслушают эту историю, так и начнут лаяться на тебя, как собаки. Так я таким скажу вот что: лайтесь себе, сколько охота, а только я вам посоветую по правде,— берегитесь, как бы не случилось чего с вами, как с мельником.

Потому что, видите ли, ново-каменские люди не раз после того видели того самого чертяку: с тех пор как попробовал мельника, уже не хочет вернуться к себе без хорошей добычи... Летает, как отставшая птица, и все высматривает...

Так вот, добрые люди, берегитесь вы немного, как бы не случилось с вами чего недоброго...

А пока что прощайте! Если рассказалось что не так, как бы вам хотелось,— не взыщите с меня, простого человека.

1890

Парадокс

Очерк

I

Для чего, собственно, создан человек, об этом мы с братом получили некоторое понятие довольно рано. Мне, если не ошибаюсь, было лет десять, брату около восьми. Сведение это было преподано нам в виде краткого афоризма, или, по обстоятельствам, его сопровождавшим, скорее парадокса. Итак, кроме назначения жизни, мы одновременно обогатили свой лексикон этими двумя греческими словами.

Было это приблизительно около полудня знойного и тихого июньского дня. В глубоком молчании сидели мы с братом на заборе, под тенью густого серебристого тополя, и держали в руках удочки, крючки которых были опущены в огромную бадью с загнившей водой. О назначении жизни в то время мы не имели еще даже отдаленного понятия, и, вероятно, по этой причине, вот уже около недели любимым нашим занятием было — сидеть на заборе, над бадьей, с опущенными в нее крючками из простых медных булавок и ждать, что вот-вот, по особой к нам милости судьбы, в этой бадье и на эти удочки клюнет у нас «настоящая», живая рыба.

Правда, уголок двора, где помещалась эта волшебная бадья, и сам по себе, даже и без живой рыбы, представлял много привлекательного и заманчивого. Среди садов, огородов, сараев, двориков, домов и флигелей, составлявших совокупность близко известного нам ме-

ста, этот уголок вырезался как-то так удобно, что никому и ни на что не был нужен; поэтому мы чувствовали себя полными его обладателями, и никто не нарушал здесь нашего одиночества.

Середину этого пространства, ограниченного с двух сторон палисадником и деревьями сада, а с двух других пустыми стенами сараев, оставлявшими узкий проход, занимала большая мусорная куча. Стоптанный лапоть, кем-то перекинутый через крышу сарая, изломанное топорище, побелевший кожаный башмак с отогнувшимся кверху каблуком и безличная масса каких-то истлевших предметов, потерявших уже всякую индивидуальность,— нашли в тихом углу вечный покой после более или менее бурной жизни за его пределами... На вершине мусорной кучи валялся старый-престарый кузов какого-то фантастического экипажа, каких давно уже не бывало в действительности, то есть в каретниках, на дворах и на улицах. Это был какой-то призрачный обломок минувших времен, попавший сюда, быть может, еще до постройки окружающих зданий и теперь лежавший на боку, с приподнятой кверху осью, точно рука без кисти, которую калека показывает на паперти, чтобы разжалобить добрых людей. На единственной половинке единственной дверки сохранились еще остатки красок какого-то герба, и единственная рука, закованная в стальные нарамники и державшая меч, высовывалась непонятным образом из тусклого пятна, в котором чуть рисовалось подобие короны. Остальное все распалось, растрескалось, облупилось и облезло в такой степени, что уже не ставило воображению никаких прочных преград; вероятно, поэтому старый скелет легко принимал в наших глазах все формы, всю роскошь и все великолепие настоящей золотой кареты.

Когда нам приедались впечатления реальной жизни на больших дворах и в переулке, то мы с братом удалялись в этот уединенный уголок, садились в кузов,— и тогда начинались здесь чудеснейшие приключения, какие только могут постигнуть людей, безрассудно пускающихся в неведомый путь, далекий и опасный, в такой чудесной и такой фантастической карете. Мой брат, по большей части, предпочитал более деятельную роль кучера. Он брал в руки кнут из ременного обрезка, най-

денного в мусорной куче, затем серьезно и молча вынимал из кузова два деревянных пистолета, перекидывал через плечо деревянное ружье и втыкал за пояс огромную саблю, изготовленную моими руками из кровельного тесу. Вид его, вооруженного таким образом с головы до ног, настраивал тотчас же и меня на соответствующий лад, и затем, усевшись каждый на свое место, мы отдавались течению нашей судьбы, не обмениваясь ни словом. Это не мешало нам с той же минуты испытывать общие опасности, приключения и победы. Очень может быть, конечно, что события не всегда совпадали с точки зрения кузова и козел, и я предавался упоению победы в то самое время, как кучер чувствовал себя на краю гибели... Но это ничему, в сущности, не мешало. Разве изредка я принимался неистово палить из окон, когда кучер внезапно натягивал вожжи, привязанные к обломку дышла,— и тогда брат говорил с досадой:

— Что ты это ей-богу!.. Ведь это гостиница...

Тогда я приостанавливал пальбу, выходил из кузова и извинялся перед гостеприимным трактирщиком в причиненном беспокойстве, между тем как кучер распрягал лошадей, поил их у бадьи, и мы предавались мирному, хотя и короткому отдыху в одинокой гостинице. Однако случаи подобных разногласий бывали тем реже, что я скоро отдавался полету чистой фантазии, не требовавшей от меня внешних проявлений. Должно быть, в щелях старого кузова засели с незапамятных времен,— выражаясь по-нынешнему,— какие-то флюиды старинных происшествий, которые и захватывали нас сразу в такой степени, что мы могли молча, почти не двигаясь и сохраняя созерцательный вид, просидеть на своих местах от утреннего чая до самого обеда. И в этот промежуток от завтрака и до обеда вмещались для нас целые недели путешествий, с остановками в одиноких гостиницах, с ночлегами в поле, с длинными просеками в черном лесу, с дальними огоньками, с угасающим закатом, с ночными грозами в горах, с утренней зарей в открытой степи, с нападениями свирепых бандитов и, наконец, с туманными женскими фигурами, еще ни разу не открывавшими лица из-под густого покрывала, которых мы, с неопределенным замиранием души, спасали из рук мучителей на радость или на горе в будущем...

И все это вмещалось в тихом уголке, между садом и сараями, где, кроме бадьи, кузова и мусорной кучи, не было ничего... Впрочем, были еще лучи солнца, пригревавшие зелень сада и расцвечивавшие палисадник яркими, золотистыми пятнами; были еще две доски около бадьи и широкая лужа под ними. Затем, чуткая тишина, невнятный шепот листьев, сонное чирикание какой-то птицы в кустах и... странные фантазии, которые, вероятно, росли здесь сами по себе, как грибы в тенистом месте,— потому что нигде больше мы не находили их с такой легкостью, в такой полноте и изобилии... Когда, через узкий переулок и через крыши сараев, долетал до нас досадный призыв к обеду или к вечернему чаю,— мы оставляли здесь, вместе с пистолетами и саблями, наше фантастическое настроение, точно скинутое с плеч верхнее платье, в которое наряжались опять тотчас по возвращении.

Однако с тех пор как брату пришла оригинальная мысль вырезать кривые и узловатые ветки тополя, навязать на них белые нитки, навесить медные крючки и попробовать запустить удочки в таинственную глубину огромной бадьи, стоявшей в углу дворика, для нас на целую неделю померкли все прелести золотой кареты. Во-первых, мы садились оба, в самых удивительных позах, на верхней перекладине палисадника, углом охватывавшего бадью и у которого мы предварительно обломали верхушки балясин. Во-вторых, над нами качался серебристо-зеленый шатер тополя, переполнявший окружающий воздух зеленоватыми тенями и бродячими солнечными пятнами. В-третьих, от бадьи отделялся какой-то особенный запах, свойственный загнившей воде, в которой уже завелась своя особенная жизнь, в виде множества каких-то странных существ, вроде головастиков, только гораздо меньше... Как ни покажется это странно, но запах этот казался нам, в сущности, приятным и прибавлял, с своей стороны, нечто к прелестям этого угла над бадьей...

В то время как мы сидели по целым часам на заборе, вглядываясь в зеленоватую воду, из глубины бадьи то и дело подымались стайками эти странные существа, напоминавшие собой гибкие медные булавки, головки которых так тихо шевелили поверхность воды, между тем

как хвостики извивались под ними, точно крошечные змейки. Это был целый особый мирок, под этою зеленою тенью, и, если сказать правду, в нас не было полной уверенности в том, что в один прекрасный миг поплавок нашей удочки не вздрогнет, не пойдет ко дну и что после этого который-нибудь из нас не вытащит на крючке серебристую, трепещущую живую рыбку. Разумеется, рассуждая трезво, мы не могли бы не придти к заключению, что событие это выходит за пределы возможного. Но мы вовсе не рассуждали трезво в те минуты, а просто сидели на заборе, над бадьей, под колыхавшимся и шептавшим зеленым шатром, в соседстве с чудесной каретой, среди зеленоватых теней, в атмосфере полусна и полусказки...

Вдобавок мы не имели тогда ни малейшего понятия о назначении жизни...

II

Однажды, когда мы сидели таким образом, погруженные в созерцание неподвижных поплавков, с глазами, прикованными к зеленой глубине бадьи,— из действительного мира, то есть со стороны нашего дома, проник в наш фантастический уголок неприятный и резкий голос лакея Павла. Он, очевидно, приближался к нам и кричал:

— Панычи, панычи, э-эй! Идить бо до покою!

«Идти до покою» — значило идти в комнаты, что нас на этот раз несколько озадачило. Во-первых, почему это просто «до покою», а не к обеду, который в этот день действительно должен был происходить ранее обыкновенного, так как отец не уезжал на службу. Во-вторых, почему зовет именно Павел, которого посылал только отец в экстренных случаях,— тогда как обыкновенно от имени матери звала нас служанка Килимка. В-третьих, все это было нам очень неприятно, как будто именно этот несвоевременный призыв должен вспугнуть волшебную рыбу, которая как раз в эту минуту, казалось, уже плывет в невидимой глубине к нашим удочкам. Наконец, Павел и вообще был человек слишком трезвый, отчасти даже насмешливый, и его излишне серьезные замечания разрушили не одну нашу иллюзию.

Через полминуты этот Павел стоял, несколько даже удивленный, на нашем дворике и смотрел на нас, сильно

сконфуженных, своими серьезно выпученными и слегка глуповатыми глазами. Мы оставались в прежних позах, но это только потому, что нам было слишком совестно, да и некогда уже скрывать от него свой образ действий. В сущности же, с первой минуты появления этой фигуры в нашем мире, мы оба почувствовали с особенной ясностью, что наше занятие кажется Павлу очень глупым, что рыбу в бадьях никто не ловит, что в руках у нас даже и не удочки, а простые ветки тополя, с медными булавками, и что перед нами только старая бадья с загнившей водой.

— Э? — протянул Павел, приходя в себя от первоначального удивления.— А що се вы робите?

— Так...— ответил брат угрюмо.

Павел взял из моих рук удочку, осмотрел ее и сказал:

— Разве ж это удилище? Удилища надо делать из орешника.

Потом пощупал нитку и сообщил, что нужен тут конский волос, да его еще нужно заплести умеючи; потом обратил внимание на булавочные крючки и объяснил, что над таким крючком, без зазубрины, даже и в пруду рыба только смеется. Стащит червяка и уйдет. Наконец, подойдя к бадье, он тряхнул ее слегка своей сильной рукой. Неизмеримая глубина нашего зеленого омута колыхнулась, помутнела, фантастические существа жалобно заметались и исчезли, как бы сознавая, что их мир колеблется в самых устоях. Обнажилась часть дна,— простые доски, облипшие какой-то зеленой мутью,— а снизу поднялись пузыри и сильный запах, который на этот раз и нам показался уже не особенно приятным.

— Воняет,— сказал Павел презрительно.— От, идить до покою, пан кличе.

— Зачем?

— Идить, то и побачите.

Я и до сих пор очень ясно помню эту минуту столкновения наших иллюзий с трезвою действительностью в лице Павла. Мы чувствовали себя совершенными дураками, нам было совестно оставаться на верхушке забора, в позах рыбаков, но совестно также и слезать под серьезным взглядом Павла. Однако делать было нечего. Мы спустились с забора, бросив удочки как попа-

ло, и тихо побрели к дому. Павел еще раз посмотрел удочки, пощупал пальцами размокшие нитки, повел носом около бадьи, в которой вода все еще продолжала бродить и пускать пузыри, и, в довершение всего, толкнул ногой старый кузов. Кузов как-то жалко и беспомощно крякнул, шевельнулся, и еще одна доска вывалилась из него в мусорную кучу...

Таковы были обстоятельства, предшествовавшие той минуте, когда нашему юному вниманию предложен был афоризм о назначении жизни и о том, для чего, в сущности, создан человек...

III

У крыльца нашей квартиры, на мощеном дворе, толпилась куча народа. На нашем дворе было целых три дома, один большой и два флигеля. В каждом жила особая семья, с соответствующим количеством дворни и прислуги, не считая еще одиноких жильцов, вроде старого холостяка пана Уляницкого, нанимавшего две комнаты в подвальном этаже большого дома. Теперь почти все это население высыпало на двор и стояло на солнопеке, у нашего крыльца. Мы испуганно переглянулись с братом, разыскивая в своем прошлом какой-нибудь проступок, который подлежал бы такому громкому и публичному разбирательству. Однако отец, сидевший на верхних ступеньках, среди привилегированной публики, по-видимому, находился в самом благодушном настроении. Рядом с отцом вилась струйка синего дыма, что означало, что тут же находится полковник Дударев, военный доктор. Немолодой, расположенный к полноте, очень молчаливый, он пользовался во дворе репутацией человека необыкновенно ученого, а его молчаливость и бескорыстие снискали ему общее уважение, к которому примешивалась доля страха, как к явлению, для среднего обывателя не вполне понятному... Иногда, среди других фантазий, мы любили воображать себя доктором Дударевым, и если я замечал, что брат сидит на крыльце или на скамейке, с вишневой палочкой в зубах, медленно раздувает щеки и тихо выпускает воображаемый дым,— я знал, что его не следует тревожить. Кроме вишневой палочки, требовалось еще особенным образом намор-

щить лоб, отчего глаза сами собой немного тускнели, становились задумчивы и как будто печальны. А затем уже можно было сидеть на солнце, затягиваться воображаемым дымом из вишневой ветки и думать что-то такое особенное, что, вероятно, думал про себя добрый и умный доктор, молча подававший помощь больным и молча сидевший с трубкой в свободное время. Какие это собственно были мысли, сказать трудно; прежде всего они были важны и печальны, а затем, вероятно, все-таки довольно приятны, судя по тому, что им можно было предаваться подолгу...

Кроме отца и доктора, среди других лиц, мне бросилось в глаза красивое и выразительное лицо моей матери. Она стояла в белом переднике, с навернутыми рукавами, очевидно, только что оторванная от вечных забот по хозяйству. Нас у нее было шестеро, и на ее лице ясно виднелось сомнение: стоило ли выходить сюда в самый разгар хлопотливого дня. Однако скептическая улыбка, видимо, сплывала с ее красивого лица, и в синих глазах уже мелькало какое-то испуганное сожаление, обращенное к предмету, стоявшему среди толпы, у крыльца...

Это была небольшая, почти игрушечная телега, в которой как-то странно,— странно почти до болезненного ощущения от этого зрелища,— помещался человек. Голова его была большая, лицо бледно, с подвижными, острыми чертами и большими, проницательными бегающими глазами. Туловище было совсем маленькое, плечи узкие, груди и живота не было видно из-под широкой, с сильной проседью бороды, а руки я напрасно разыскивал испуганными глазами, которые, вероятно, были открыты так же широко, как и у моего брата. Ноги странного существа, длинные и тонкие, как будто не умещались в тележке и стояли на земле, точно длинные лапки паука. Казалось, они принадлежали одинаково этому человеку, как и тележке, и все вместе каким-то беспокойным, раздражающим пятном рисовалось под ярким солнцем, точно в самом деле какое-то паукообразное чудовище, готовое внезапно кинуться на окружившую его толпу.

— Идите, идите, молодые люди, скорее... Вы имеете случай увидеть интересную игру природы,— фальшиво-

ласкающим голосом сказал нам пан Уляницкий, проталкиваясь за нами через толпу.

Пан Уляницкий был старый холостяк, появившийся на нашем дворе бог весть откуда. Каждое утро, в известный час и даже в известную минуту, его окно открывалось, и из него появлялась сначала красная ермолка с кисточкой, потом вся фигура в халате... Кинув беспокойный взгляд на соседние окна (нет ли где барышень),— он быстро выходил из окна, прикрывая что-то полой халата, и исчезал за углом. В это время мы стремглав кидались к окну, чтобы заглянуть в его таинственную квартирку. Но это почти никогда не удавалось, так как Уляницкий быстро, как-то крадучись, появлялся из-за угла, мы кидались врассыпную, а он швырял в нас камнем, палкой, что попадало под руку. В полдень он появлялся одетым с иголочки и очень любезно, как ни в чем не бывало, заговаривал с нами, стараясь навести разговор на живших во дворе невест. В это время в голосе его звучала фальшивая ласковость, которая всегда как-то резала нам уши

— Уважаемые господа, обыватели и добрые люди! — заговорил вдруг каким-то носовым голосом высокий субъект с длинными усами и беспокойными, впалыми глазами, стоявший рядом с тележкой.— Так как, по-видимому, с прибытием этих двух молодых людей, дай им бог здоровья на радость почтенным родителям... все теперь в сборе, то я могу объяснить уважаемой публике, что перед нею находится феномен, или, другими словами, чудо натуры, шляхтич из Заславского повета Ян Криштоф Залуский. Как видите, у него совершенно нет рук и не было от рождения.

Он скинул с феномена курточку, в которую легко было одеть ребенка, потом расстегнул ворот рубахи. Я зажмурился,— так резко и болезненно ударило мне в глаза обнаженное уродство этих узких плеч, совершенно лишенных даже признаков рук.

— Видели? — повернулся долгоусый к толпе, отступая от тележки, с курткой в руках.— Без обману...— добавил он,— без всякого ошуканьства...— И его беспокойные глаза обежали публику с таким видом, как будто он не особенно привык к доверию со стороны своих ближних.

— И, однако, уважаемые господа, сказанный феномен, родственник мой, Ян Залуский — человек очень просвещенный. Голова у него лучше, чем у многих людей с руками. Кроме того, он может исполнять все, что обыкновенные люди делают с помощью рук. Ян, прошу тебя покорно: поклонись уважаемым господам.

Ноги феномена пришли в движение, причем толпа шарахнулась от неожиданности. Не прошло и нескольких секунд, как с правой ноги, при помощи левой, был снят сапог. Затем нога поднялась, захватила с головы феномена большой порыжелый картуз, и он с насмешливой галантностью приподнял картуз над головой. Два черных внимательных глаза остро и насмешливо впились в уважаемую публику.

— Господи боже!.. Иисус-Мария... Да будет похвалено имя господне,— пронеслось на разных языках в толпе, охваченной брезгливым испугом, и только один лакей Павел загоготал в заднем ряду так нелепо и громко, что кто-то из дворни счел нужным толкнуть его локтем в бок. После этого все стихло. Черные глаза опять внимательно и медленно прошли по нашим лицам, и феномен произнес среди тишины ясным, хотя слегка дребезжавшим голосом:

— Обойди!

Долгоусый субъект как-то замялся, точно считал приказ преждевременным Он кинул на феномена нерешительный взгляд, но тот, уже раздраженно, повторил:

— Ты глуп... обойди!

Полковник Дударев пустил клуб дыма и сказал:

— Однако, почтенный феномен, вы, кажется, начинаете с того, чем надо кончать.

Феномен быстро взглянул на него, как будто с удивлением, и затем еще настойчивее повторил долгоусому:

— Обойди, обойди!

Мне казалось, что феномен посылает долгоусого на какие-то враждебные действия. Но тот только снял с себя шляпу и подошел к лестнице, низко кланяясь и глядя как-то вопросительно, как бы сомневаясь. На лестнице более всего подавали женщины; на лице матери я увидел при этом такое выражение, как будто она все еще испытывает нервную дрожь; доктор тоже бросил монету. Уляницкий смерил долгоусого негодующим взглядом и затем

стал беспечно смотреть по сторонам. Среди дворни и прислуги не подал почти никто. Феномен внимательно следил за сбором, потом тщательно пересчитал ногами монеты и поднял одну из них кверху, иронически поклонившись Дудареву.

— Пан доктор... Очень хорошо... благодарю вас.

Дударев равнодушно выпустил очень длинную струйку дыма, которая распустилась султаном на некотором расстоянии, но мне почему-то показалось, что ему досадно или он чего-то слегка застыдился.

— А! то есть удивительное дело,— сказал своим фальшивым голосом пан Уляницкий,— удивительно, как он узнал, что вы — доктор (Дударев был в штатском пиджаке и белом жилете с медными пуговицами).

— О! Он знает прошедшее, настоящее и будущее, а человека видит насквозь,— сказал с убеждением долгоусый, почерпнувший, по-видимому, значительную долю этой уверенности в удачном первом сборе.

— Да, я знаю прошедшее, настоящее и будущее,— сказал феномен, поглядев на Уляницкого, и затем сказал долгоусому: — Подойди к этому пану... Он хочет положить монету бедному феномену, который знает прошедшее каждого человека лучше, чем пять пальцев своей правой руки...

И все мы с удивлением увидели, как пан Уляницкий с замешательством стал шарить у себя в боковом кармане. Он вынул медную монету, подержал ее в тонких, слегка дрожавших пальцах с огромными ногтями и... все-таки опустил ее в шляпу.

— Теперь продолжай,— сказал феномен своему провожатому. Долгоусый занял свое место и продолжал:

— Я вожу моего бедного родственника в тележке потому, что ходить ему очень трудно. Бедный Ян, дай я тебя подыму...

Он помог феномену подняться. Калека стоял с трудом,— огромная голова подавляла это тело карлика. На лице виднелось страдание, тонкие ноги дрожали. Он быстро опустился опять в свою тележку.

— Однако он может передвигаться и сам.

Колеса тележки вдруг пришли в движение, дворня с криком расступилась; странное существо, перебирая по земле ногами и еще более походя на паука, сделало

большой круг и опять остановилось против крыльца. Феномен побледнел от усилия, и я видел теперь только два огромных глаза, глядевших на меня с тележки...

— Ногами он чешет у себя за спиной и даже совершает свой туалет.

Он подал феномену гребенку. Тот взял ее ногой, проворно расчесал широкую бороду и, опять поискавши глазами в толпе, послал ногой воздушный поцелуй экономке домовладелицы, сидевшей у окна большого дома с несколькими «комнатными барышнями». Из окна послышался визг, Павел фыркнул и опять получил тумака.

— Наконец, господа, ногою он крестится.

Он сам скинул с феномена фуражку. Толпа затихла. Калека поднял глаза к небу, на мгновение лицо его застыло в странном выражении. Напряженная тишина еще усилилась, пока феномен с видимым трудом поднимал ногу ко лбу, потом к плечам и груди. В задних рядах послышался почти истерический женский плач. Между тем феномен кончил, глаза его еще злее прежнего обежали по лицам публики, и в тишине резко прозвучал усталый голос:

— Обойди!

На этот раз долгоусый обратился прямо к рядам простой публики. Вздыхая, порой крестясь, кой-где со слезами, простые люди подавали свои крохи, кучера заворачивали полы кафтанов, кухарки наскоро сбегали по кухням и, проталкиваясь к тележке, совали туда свои подаяния. На лестнице преобладало тяжелое, не совсем одобрительное молчание. Впоследствии я замечал много раз, что простые сердца менее чутки к кощунству, хотя бы только слегка прикрытому обрядом.

— Пан доктор?..— вопросительно протянул феномен, но, видя, что Дударев только насупился, он направил долгоусого к Уляницкому и напряженно, с какой-то злостью следил за тем, как Уляницкий, видимо, против воли,— положил еще монету.

— Извините,— повернулся вдруг феномен к моей матери...— Человек кормится, как может.

В его голосе была какая-то особенная, жалкая нота. Доктор вдруг выпустил бесконечную струйку синего дыма и, вынув серебряную монету, кинул ее на мостовую. Феномен поднял ее, поднес ко рту и сказал:

— Пан доктор, я отдам это первому бедняку, которого встречу... Поверьте слову Яна Залуского. Ну, что же ты стал, продолжай,— накинулся он вдруг на своего долгоусого провожатого.

Впечатление этой сцены еще некоторое время держалось в толпе, пока феномен принимал ногами пищу, снимал с себя куртку и вдевал нитку в иглу.

— Наконец, уважаемые господа,— провозгласил долгоусый торжественно,— ногами он подписывает свое имя и фамилию.

— И пишу поучительные афоризмы,— живо подхватил феномен.— Пишу поучительные афоризмы всем вообще или каждому желающему порознь, ногами, за особую плату, для душевной пользы и утешения. Если угодно, уважаемые господа. Ну, Матвей, доставай канцелярию.

Долгоусый достал из сумки небольшую папку, феномен взял ногой перо и легко написал на бумаге свою фамилию: «Ян Криштоф Залуский, шляхтич-феномен из Заславского повета».

— А теперь,— сказал он, насмешливо поворачивая голову,— кому угодно получить афоризм?.. Поучительный афоризм, уважаемые господа, от человека, знающего настоящее, прошедшее и будущее...

Острый взгляд феномена пробежал по всем лицам, останавливаясь то на одном, то на другом, точно гвоздь, который он собирался забить глубоко в того, на ком остановится его выбор. Я никогда не забуду этой немой сцены. Урод сидел в своей тележке, держа гусиное перо в приподнятой правой ноге, как человек, ожидающий вдохновения. Было что-то цинически карикатурное во всей его фигуре и позе, в саркастическом взгляде, как будто искавшем в толпе свою жертву. Среди простой публики взгляд этот вызывал тупое смятение, женщины прятались друг за друга, то смеясь, то как будто плача. Пан Уляницкий, когда очередь дошла до него, растерянно улыбнулся и выразил готовность достать из кармана еще монету. Долгоусый проворно подставил шляпу... Феномен обменялся взглядом с моим отцом, скользнул мимо Дударева, почтительно поклонился матери, и внезапно я почувствовал этот взгляд на себе...

— Подойди сюда, малец,— сказал он,— и ты тоже,— позвал он также брата.

Все взгляды обратились на нас, с любопытством или сожалением. Мы рады были бы провалиться сквозь землю, но уйти было некуда; феномен пронизывал нас черными глазами, а отец смеялся.

— Ну, что ж, ступайте,— сказал он таким тоном, каким порой приказывал идти в темную комнату, чтобы отучить от суеверного страха.

И мы оба вышли с тем же чувством содрогания, с каким, исполняя приказ, входили в темную комнату... Маленькие и смущенные, мы остановились против тележки, под взглядом странного существа, смеявшимся нам навстречу. Мне казалось, что он сделает над нами что-то такое, от чего нам будет после стыдно всю жизнь, стыдно в гораздо большей степени, чем в ту минуту, когда мы слезали с забора под насмешливым взглядом Павла... Может быть, он расскажет... но что же? Что-нибудь такое, что я сделаю в будущем, и все будут смотреть на меня с таким же содроганием, как несколько минут назад при виде его уродливой наготы... Глаза мои застилались слезами, и, точно сквозь туман, мне казалось, что лицо странного человека в тележке меняется, что он смотрит на меня умным, задумчивым и смягченным взглядом, который становится все мягче и все страннее. Потом он быстро заскрипел пером, и его нога протянулась ко мне с белым листком, на котором чернела ровная, красивая строчка. Я взял листок и беспомощно оглянулся кругом.

— Прочитай,— сказал, улыбаясь, отец.

Я взглянул на отца, потом на мать, на лице которой виднелось несколько тревожное участие, и механически произнес следующую фразу:

— «Человек создан для счастья, как птица для полета»...

Я не сразу понял значение афоризма и только по благодарному взгляду, который мать кинула на феномена, понял, что все кончилось для нас благополучно. И тотчас же опять раздался еще более прежнего резкий голос феномена:

— Обойди!

Долгоусый грациозно кланялся и подставлял шляпу. На этот раз, я уверен, больше всех дала моя мать Уляницкий эмансипировался и только величественно повел

рукой, показывая, что он и без того был слишком великодушен. Последним кинул монету в шляпу мой отец.

— Хорошо сказано,— засмеялся он при этом,—только, кажется, это скорее парадокс, чем поучительный афоризм, который вы нам обещали.

— Счастливая мысль,— насмешливо подхватил феномен.— Это афоризм, но и парадокс вместе. Афоризм сам по себе, парадокс в устах феномена... Ха-ха! Это правда... Феномен тоже человек, и он менее всего создан для полета...

Он остановился, в глазах его мелькнуло что-то странное,— они как будто затуманились...

— И для счастья тоже...— прибавил он тише, как будто про себя. Но тотчас же взгляд его сверкнул опять холодным открытым цинизмом.— Га! — сказал он громко, обращаясь к долгоусому.— Делать нечего, Матвей, обойди почтенную публику еще раз.

Долгоусый, успевший надеть свою шляпу и считавший, по-видимому, представление законченным, опять замялся. По-видимому, несмотря на сильно помятую фигуру и физиономию, не внушавшую ни симпатии, ни уважения, в этом человеке сохранялась доля застенчивости. Он нерешительно смотрел на феномена.

— Ты глуп! — сказал тот жестко.— Мы получили с уважаемых господ за афоризм, а тут оказался еще парадокс... Надо получить и за парадокс... За парадокс, почтенные господа!.. За парадокс бедному шляхтичу-феномену, который кормит ногами многочисленное семейство...

Шляпа обошла еще раз по крыльцу и по двору, который к тому времени наполнился публикой чуть не со всего переулка.

IV

После обеда я стоял на крыльце, когда ко мне подошел брат.

— Знаешь что,— сказал он,— этот... феномен... еще здесь.

— Где?

— В людской. Мама позвала их обоих обедать... И долгоусый тоже. Он его кормит с ложки...

В эту самую минуту из-за угла нашего дома показалась худощавая и длинная фигура долгоусого. Он шел,

наклонясь, с руками назади, и тащил за собою тележку, в которой сидел феномен, подобравши ноги. Проезжая мимо флигелька, где жил военный доктор, он серьезно поклонился по направлению к окну, из которого попыхивал по временам синий дымок докторской трубки, и сказал долгоусому: «Ну, ну, скорее!» Около низких окон Уляницкого, занавешенных и уставленных геранью, он вдруг зашевелился и крикнул:

— До свиданья, благодетель... Я знаю прошедшее, настоящее и будущее, как пять пальцев моей правой руки... которой у меня, впрочем, нет... ха-ха! Которой у меня нет, милостивый мой благодетель... Но это не мешает мне знать прошедшее, настоящее и будущее!

Затем тележка выкатилась за ворота...

Как будто сговорившись, мы с братом бегом обогнули флигель и вышли на небольшой задний дворик за домами. Переулок, обогнув большой дом, подходил к этому месту, и мы могли здесь еще раз увидеть феномена. Действительно, через полминуты в переулке показалась долговязая фигура, тащившая тележку. Феномен сидел, опустившись. Лицо у него казалось усталым, но было теперь проще, будничнее и приятнее.

С другой стороны, навстречу, в переулок вошел старый нищий с девочкой лет восьми. Долгоусый кинул на нищего взгляд, в котором на мгновение отразилось беспокойство, но тотчас же он принял беззаботный вид, стал беспечно глядеть по верхам и даже как-то некстати и фальшиво затянул вполголоса песню. Феномен наблюдал все эти наивные эволюции товарища, и глаза его искрились саркастической усмешкой.

— Матвей! — окликнул он, но так тихо, что долгоусый только прибавил шагу.

— Матвей!

Долгоусый остановился, посмотрел на феномена и как-то просительно произнес:

— А! Ей-богу, глупство!..

— Доставай,— кратко сказал феномен.

— Ну!

— Доставай.

— Ну-у? — совсем жалобно протянул долгоусый, однако полез в карман.

— Не там,— сказал холодно феномен.— Сороковец доктора у тебя в правом кармане... Дедушка, постой на минуту.

Нищий остановился, снял шляпу и уставился в него своими выцветшими глазами. Долгоусый, с видом человека, смертельно оскорбленного, достал серебряную монету и кинул в шляпу старика.

— Дьявол вас тут носит, дармоедов,— пробормотал он, принимаясь опять за дышло. Нищий кланялся, держа шляпу в обеих руках. Феномен захохотал, откинув голову назад... Тележка двинулась по переулку, приближаясь к нам.

— А ты сегодня в добром гумо̀ре,— угрюмо и язвительно сказал долгоусый.

— А что? — с любопытством сказал феномен.

— Так... пишешь приятные афоризмы и раздаешь голодранцам по сороковцу... Какой, подумают люди, счастливец!

Феномен захохотал своим резким смехом, от которого у меня что-то прошло по спине, и потом сказал:

— Ха! Надо себе позволить иногда... притом же ничего не потеряли... Ты видишь, и приятные афоризмы иногда делают сбор. У тебя две руки, но твоя голова ничего не стоит, бедный Матвей!.. Человек создан для счастья, только счастье не всегда создано для него. Понял? У людей бывают и головы, и руки. Только мне забыли приклеить руки, а тебе по ошибке поставили на плечи пустую тыкву... Ха! Это неприятно для нас, однако не изменяет общего правила...

Под конец этой речи неприятные ноты в голосе феномена исчезли, и в лице появилось то самое выражение, с каким он писал для меня афоризм. Но в эту минуту тележка поравнялась с тем местом, где мы стояли с братом, держась руками за балясины палисадника и уткнув лица в просветы. Заметив нас, феномен опять захохотал неприятным смехом.

— А! лоботрясы! Пришли еще раз взглянуть на феномена бесплатно? Вот я вас тут! У меня есть такие же племянники, я кормлю и секу их ногами... Не хотите ли попробовать?.. Это очень интересно. Ха-ха-ха! Ну, бог с вами, не трону... Человек создан для счастья. Афоризм и парадокс вместе, за двойную плату... Кланяйтесь док-

тору от феномена и скажите, что человеку надо кормиться не тем, так другим, а это трудно, когда природа забыла приклеить руки к плечам... А у меня есть племянники, настоящие, с руками... Ну, прощайте и помните: человек создан для счастья...

Тележка покатилась, но уже в конце переулка феномен еще раз повернулся к нам, кивнул головой кверху, на птицу, кружившуюся высоко в небе, и крикнул еще раз:

— Создан для счастья. Да, создан для счастья, как птица для полета.

Затем он исчез за углом, и мы с братом долго еще стояли, с лицами между балясин, и смотрели то на пустой переулок, то на небо, где, широко раскинув крылья, в высокой синеве, в небесном просторе, вся залитая солнцем, продолжала кружиться и парить большая птица...

А потом мы пошли опять в свой угол, добыли удочки и принялись было в молчании поджидать серебристую рыбу в загнившей бадье...

Но теперь это почему-то не доставляло нам прежнего удовольствия. От бадьи несло вонью, ее глубина потеряла свою заманчивую таинственность, куча мусора, както скучно освещенная солнцем, как бы распалась на свои составные части, а кузов казался дрянной старой рухлядью...

Ночью оба мы спали плохо, вскрикивали и плакали без причины. Впрочем, причина была: в дремоте обоим нам являлось лицо феномена и его глаза, то холодные и циничные, то подернутые внутренней болью...

Мать вставала и крестила нас, стараясь этим защитить своих детей от первого противоречия жизни, острой занозой вонзившегося в детские сердца и умы...

1894

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Впервые — в журнале «Русская мысль», 1885, № 10.

К работе над рассказом Короленко приступил еще в якутской ссылке — на обложке тетради, где находятся черновые рукописи произведения, надпись рукой писателя: «В. Короленко, отрывки, наблюдения, заметки. 1884 г. Амгинская Слобода». Заканчивал Короленко работу уже в Петербурге в феврале 1885 г., в доме предварительного заключения, где он вынужден был просидеть несколько дней.

В основу рассказа легли воспоминания детства писателя.

Городок «Княжье Вено» с его заросшими прудами, речкой, таинственным полуразрушенным замком, окруженным шумящими тополями, очень напоминает уездный город Ровно, где прошли детские годы Короленко. В одной из автобиографий Короленко прямо указал, что Ровно, «этот небольшой городок... с его тихой жизнью и дремлющими развалинами старинного княжеского «пала́ца» на острове,— совершенно точно описан в рассказе «В дурном обществе» (в котором, однако, далеко не все черты имеют автобиографический характер. Так, отец мой умер (в 1868 г.), а мать жива до сих пор)» («Дон», 1960, № 8, стр. 174).

В образе судьи Короленко воспроизвел некоторые черты своего отца, тоже судьи,— честность, неподкупность, демократизм и т. д. Именно об этих, наиболее ценимых им качествах отца Короленко не раз писал: «Это был человек строгой и редкой по тому времени честности. Получив самое скудное воспитание и проходя службу с низших ступеней среди дореформенных канцелярских порядков и общего взяточничества,— он никогда не позволял себе принимать даже того, что по тому времени называлось «благодарностию», то есть приношений уже после состоявшегося решения дела. А так как в те годы это было недоступно пониманию

среднего обывателя, отец же был чрезвычайно вспыльчив, то я помню много случаев, когда он прогонял из своей квартиры «благодарных людей» палкой...» (письмо к А. М. Скабичевскому от 22 ноября 1892 г.). «...Отец, вообще очень серьезно смотревший на свои служебные обязанности, пользовался, однако, любовью и уважением населения, без различия национальностей и сословий,— всюду, где ему приходилось служить» («Дон», 1960, № 8, стр. 173).

Известна сокращенная переделка рассказа для детей под названием «Дети подземелья», впервые появившаяся в 1886 году в февральской книжке детского журнала «Родник». Переделка эта была осуществлена без участия автора и вызвала неодобрение с его стороны.

Стр. 7. *Шталмейстер* — начальник конюшни (н е м.).

Стр. 8. *Униатская часовня* У н и я — союз православной и католической церкви под главенством папы, существовавший в Польше и зависимых от нее государствах с 1569 года.

...собирались... горожане в чистых, хотя и не роскошных кунтушах...— К у н т у ш — старинный польский и украинский кафтан.

Стр. 9. *...из мелких графских «официалистов»...* — О ф и ц и а л и с т — служитель.

...Старики в потертых сюртуках и «чамарках»...— Ч а м а р к а — верхняя мужская одежда типа кафтана.

Стр. 11. *Проблематические натуры* — так назывался очень популярный в России в конце XIX века роман немецкого писателя Ф. Шпильгагена. Его герои — «лишние люди».

Стр. 12. *«Факторы»* — комиссионеры, мелкие посредники.

Стр. 15. *...после жестоких схваток с бутарями...*— Б у т а р ь — низший полицейский чин, «будочник».

Стр. 21. *...участвовал... в подвигах знаменитого Кармелюка.*— К а р м е л ю к (1787 — 1835) — вождь крестьянских восстаний на Украине.

Стр. 22. *Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций... не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона, целых глав из Ксенофонта... громил Катилину или описывал подвиги Цезаря или коварство Митридата.*— Имеются в виду: знаменитые речи выдающегося римского оратора и писателя Ц и ц е р о н а Марка Тулия (106 — 43 до н. э.) против его современника, политического деятеля К а т и л и н ы (108—62 до н. э.), описания военных походов одного из крупнейших римских полководцев, Юлия Ц е з а р я (100 — 44 до н. э.), а также политических и военных хитростей понтийского царя М и т р и д а т а VI Е в п а т о р а (132 — 63 до н. э.), знаменитого своими так наз. «Митридатовыми войнами» против Рима; сочинения древнегреческого философа и историка К с е н о ф о н т а (ок. 430—355/4 до н. э.).

«*Patres conscripti*» — из речи Цицерона против Катилины.

Стр. 23. *...донимал аудиторию продолжительною скандовкой Виргилия или Гомера.*— Скандовка — особое чтение стихов с выделением ударного слога в каждой стопе стиха.

Колдовские «закруты» — завязанные в узел пучки стеблей стоящего на корню хлеба, которые, по суеверной примете, приносят горе тому, кто их сорвет.

Стр. 24. *...поучениями из Тита Ливия.*— Тит Ливий (59 до н. э.— 17 н. э).— древнеримский историк, автор классического литературного памятника — «Истории Рима».

Стр. 25 *...кидалась в «лотоки»..* — Лото́ка — открытый желоб для стока воды.

Стр. 38 *Каплица* — католическая часовенка.

Стр. 56. *...начиная от царя Соломона..*— Царь Соломон (ок. 960—933 до н. э.) — иудейский царь, прославившийся своей мудростью.

ЛЕС ШУМИТ

Впервые — в журнале «Русская мысль», 1886, № 1. Написан в январе 1886 года.

«Ты уже, вероятно, получил оттиск рассказа «Лес шумит» (в «Русской мысли»),— писал Короленко брату Юлиану Галактионовичу 1 февраля 1886 года.— Это собственно художественная безделка, которую, впрочем, здешняя московская публика встретила очень радушно».

Ф. Д. Батюшков отмечал, что читатели почувствовали в особой поэтической атмосфере рассказа, в его мягком лиризме и задушевности нечто роднящее его с произведениями Тургенева; рассказ понравился и был воспринят «как нечто знакомое, уже изведанное, неизменно милое, легко усвояемое, как вариация именно на любимую тему» (Ф. Д. Батюшков. «В. Г. Короленко как человек и писатель», «Задруга», М., 1922, стр. 46).

Автор ведет повествование на фоне завораживающей мелодии лесного шума. «Мне доводилось слышать от Вл. Гал.,— писал Ф. Д. Батюшков,— что шум леса запечатлелся в его памяти с раннего детства настолько глубоко и устойчиво, что именно по этим воспоминаниям он избрал его канвой своего рассказа «Лес шумит» (там же, стр. 21).

Стр. 69. *Омела* — вечнозеленый кустарник с белыми ягодами, растущий паразитом на деревьях.

Стр. 72. *Канчуки* — плети.

Доезжачий — старший псарь на охоте.

Стр. 75. *Рушни́ца* — ружье.

Стр. 78. *...и не «леткой» на птицу...*— Летка — ружейная картечь.

Стр. 80. *Панские «крепаки»* — крепостные крестьяне.

Стр. 82. *...разумную ра́ду не слушает...*— Р а д а — совет.

СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1886, №№ 32, 34, 44, 46, 73, 76, 82, 92, 100, 101; начата публикация 2 февраля, закончена 13 апреля.

Несмотря на успех повести уже при первой ее публикации, Короленко остался ею не удовлетворен: редакция «Русских ведомостей», куда писатель послал для просмотра начало «Слепого музыканта» до того, как произведение было им написано все целиком, без ведома автора начала публикацию повести, что вынудило его в крайней спешке продолжать работу.

Позднее, жалуясь на обстоятельства, в которых пришлось работать над «Слепым музыкантом», Короленко писал Ф. Д. Батюшкову 2 мая 1898 года: «...Я совсем не могу так работать, и на второй части повести, по моему мнению, это отразилось особ. сильно. Многое, что нужно было сказать образами,— было сказано формулами».

Вторично печатая повесть в журнале «Русская мысль» (1886, № 7), Короленко правит ее. Изменения он вносит и в первое отдельное издание «Слепого музыканта» (1887). Самая же существенная переработка текста, удовлетворившая Короленко как художника, была проведена им при подготовке в 1898 году 6-го издания повести (см. предисловие к этому изданию, наст. том, стр. 88).

О замысле «Слепого музыканта» Короленко писал в автобиографии: «В этом этюде я задался целью проследить душевную драму слепого... Материалом послужили воспоминания о слепорожденной девушке, которую я знал в детстве, наблюдения над мальчиком (моим учеником), который постепенно терял зрение, и, наконец,— над одним взрослым слепым человеком, развитым и образованным и вдобавок музыкантом по профессии» (В. Г. К о р о л е н к о, Письма 1888—1921, стр. 340. Автобиография, написанная для Словаря писателей и не пропущенная цензурой).

Более подробно о замысле повести и материале, положенном в ее основу, Короленко сообщил в письме к Л. Гольшману от 9 ноября 1894 года.

Поставив себе в качестве «научно-художественной» задачи исследование психологии слепорожденного, Короленко приходит к выводу о возможности и даже неизбежности его стремления к свету. Это стремление к «неизбежному и непостижимому» писатель рассматривает как инстинктивный, органический протест естественной природы человека против частного нарушения ее общих законов.

Однако эта мысль Короленко вызвала возражения.

С критикой концепции «Слепого музыканта» выступил прив.-доц. Московского университета А. М. Щербина, ослепший в двухлетнем возрасте. Он доказывал, что выдвинутая Короленко теория органического влечения слепорожденных к свету является плодом ошибочного представления зрячих о психологии слепых (см. А. М. Щербина. «Слепой музыкант» Короленко как попытка зрячих проникнуть в психологию слепых (в свете моих собственных наблюдений)», М., 1916).

«С Щербина я уже познакомился,— писал Короленко А. Б. Дерману 13 октября 1916 года.— Он человек интересный и, конечно, сказал много интересного и для меня. Но все же я не убедился его доводами по основному вопросу. Он уверяет, что слепорожденный, не знавший света, не может чувствовать и лишения света. Я продолжаю думать, что давление внутренней способности зрения, к которой приспособлена вся психология человека,— должна порождать и порождает смутное, неоформленное стремление к свету и неудовлетворенность. Конечно, не у всех это выливается в формулу: «хочу видеть»; для Щербины это стремление выразилось в ряде отдельных достижений, дававших удовлетворение...»

Но как бы ни относиться к теории Короленко, не она только определяет истинное значение «Слепого музыканта». «...Моя главная художественная задача была не специально психология слепого, а психология общечеловеческой тоски по недоступному и тоски по полноте существования» (письмо к А. Г. Горнфельду от 10 января 1917 г.). Общественный смысл повести (и на это обратила внимание уже современная автору критика) прежде всего в душевном прозрении героя, в преодолении им чувства внутреннего эгоизма, в осознании, что подлинный смысл жизни, истинная «полнота существования» — в единении с народом, в служении ему.

Стр. 92. *...погубил свою беспокойную схизматическую душу...*— Схизматический — отступнический, еретический.

...заступничеству св. Петра за своего наместника...— Наместником св. Петра на земле католическая церковь называет римского папу, против которого боролся великий итальянский революционер Гарибальди.

Стр. 93. *Фурштат* — военный обоз (нем.).

Стр. 106. *Стрехи* — крыши.

Стр. 121. *...мечтал о новой Сечи...*— Сечь Запорожская — организация украинского казачества, формировавшаяся в основном из крестьян и городской бедноты. Являлась центром национально-освободительного и антифеодального движения на Украине в 16—17-м веках.

Стр. 126. *в качестве почетной «покоювки»...*— Покоювка — горничная (польск.).

Стр. 136. *...вопреки ясно выраженной воле «отца папежа».*— Отец папеж — римский папа.

Вольтерианцы — последователи философии Вольтера; здесь — вольнодумцы.

Стр. 137. *Требники* — богослужебные книги.

Стр. 140. *Экзерциции* — упражнения.

Стр. 170. *...утопая в садах и левадах...* —Левада — участок земли около дома, заросший травой и деревьями.

Стр. 171. *...у завладевших ею королевских жолнеров...*— Жолнер — солдат-пехотинец в польской армии.

...с гордостью ментора...— Ментор — наставник, тель.

Стр. 172. *...звон эоловой арфы.*— Эолова арфа — музыкальный инструмент, струны которого звучат от движения воздуха; название произошло от имени древнегреческого бога ветров Эола.

Стр. 173. *Ватажко* — предводитель.

Стр. 174. *Бунчук* — древко с привязанным конским хвостом, символ власти (у казачьих атаманов, польских гетманов).

Стр. 175. *...вместо рушницы* — см. прим. к стр. 75.

Стр. 199. *...выкрикивание евреев-факторов...*— см. прим. к стр. 12.

Стр. 200. *...обоз чумаков...*— Чумаками называли в старину на Украине крестьян, возивших на волах в Крым и на Дон хлеб, а оттуда соль и рыбу для продажи.

Стр. 207. *...банда слепых* — здесь ватага, артель.

Стр. 212. *Зоил* — несправедливый, недоброжелательный критик (по имени древнегреческого критика Зоила, жившего в IV в. до н. э.).

НОЧЬЮ

Впервые — в журнале «Северный вестник», 1888, № 12. Написан в 1888 году.

Горький в статье «Время Короленко» назвал этот рассказ «прекрасным».

Произведение навеяно непосредственными впечатлениями детства писателя. В образе «Голована», мечтателя и фантазера, наделенного поэтическим воображением и тонкой впечатлительностью, он изобразил самого себя в детские годы. Рационалист и скептик «Мордик» — его младший брат Илларион. «Дядя Генрих» — дядя Короленко по матери, Генрих Скуревич.

С натуры сделан и портрет няньки — старухи, присматривавшей за детьми в семье Короленко. «Это было маленькое существо,— пишет о ней Короленко в «Истории моего современника»,— с морщинистым лицом и большой кичкой на голове, отчего голова казалась огромной...».

Стр. 229. *Шабаш* — субботний отдых, предписываемый еврейской религией.

Отмерив муку гарнцами... — Гарнец — мера сыпучих тел, равная 3,28 литра.

Стр. 230. *Мельник этот вышел вечером на свою греблю...* — Гребля — плотина.

...вода шумит в лотóках... — см. прим. к стр. 25.

...бугай бухает в очеретáх. — Бугай — болотная птица из семьи цапель; очерет — травянистое болотное растение из рода камышовых.

Стр. 233. *Она поправила на голове кичку...* — Кичка — старинный русский головной убор замужней женщины.

...накинула на плечи свитку. — Свитка — верхняя длинная одежда у украинцев.

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1891, №№ 43, 47, 58, 61, 69, 77 под названием «Иом-Кипур» (Волынская сказка)». Написан в 1890 году.

Первоначальное название рассказа в рукописи — «Жид, черт и мельник» с подзаголовком «Может быль, а может и небывальщина».

В основу рассказа легла легенда, которую, вероятно, слышал Короленко еще в детстве,— о еврее Юдке, похищенном Хапуном. Эту же легенду передает Короленко и в автобиографическом очерке «Ночью».

Ф. Д. Батюшков отмечал связь «Судного дня» с гоголевскими традициями. Действительно, окрашенный настроением природы и быта Украины, подлинным народным малороссийским юмором и поэзией, этот рассказ Короленко во многом родствен гоголевским «Вечерам на хуторе близ Диканьки».

Характерно, что первоначальные черновики рассказа изобилуют украинизмами. «...Странное дело,— замечал Короленко в письме к А. Я. Конисскому в 1892 году, — когда я писал «Лес шумит» и «Иом-Кипур» ...черновые оказались до такой степени испещренными малорусскими оборотами и словами, что мне приходилось сильно выправлять их при переписке».

Известно, что Короленко собирался перевести рассказ на украинский язык, однако намерение его осталось неосуществленным.

Стр. 247. *...говорили добрые люди с великим решпектом...* — Решпект — уважение.

Стр. 248. *Шабаш* — см. прим. к стр. 229.

Стр. 249. *...в «Часослове» еще мог ...тягаться, а уж в «Апостоле» никаким способом.* — «Часослов» и «Апостол» — церковные богослужебные книги.

Стр. 256. *Филипповки* — пост в рождественские праздники в декабре, после которого игрались свадьбы.

Стр. 257. *Ласая* — здесь: охочая до чего-либо.

Стр. 261. *...вода звенит в лотбках.*— см. прим. к стр. 25.

Стр. 268. *«Почему вы не возьмете себе лучше хорошего гоя...»* —Г о й — нееврей.

Стр. 285. *...бугай.., бухает в очеретах...*— см. прим. к стр. 230.

Стр. 287. *Пуриц* — барин.

Стр. 294. *Небора́че* — бедняга.

Стр. 303. *Мочага* — трясина.

...да поскорее запаску на себя, да плахту...— З а п а с к а и п л а х т а — части украинского женского костюма.

ПАРАДОКС

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1894, № 5. Написан 11 апреля 1894 года.

Как свидетельствует сам Короленко, рассказ явился для него «неожиданным результатом всего, что пришлось пережить в последнее время» (письмо к П. С. Ивановской от 28 сентября 1894 г.).

14 сентября 1893 года, возвращаясь из Америки, Короленко получил горестную весть о смерти своей полуторагодовалой дочери. Печальное событие повергло Короленко в состояние тяжелой душевной депрессии. Уже полтора года спустя, передумывая все то, что случилось, он пишет о своих тогдашних ощущениях: «Когда я, придавленный внезапно обрушившимся на меня горем от смерти моей Лели, ехал в поезде по Швейцарии и Австрии,— вся природа казалась мне иною, чем до того времени... Где ты, моя Леля? — спрашивал я, глядя в темноту ночи,— и мне бывало страшно, или тоска грызла сердце, или тихая грусть спускалась на душу... Меня пугали снежные вершины Альп: как им холодно, как им высоко и жутко...» (В. Г К о р о л е н к о, Дневник, т. III, ГИЗ Украины, 1927, запись от 16 апреля 1895 г., стр. 182).

Вернувшись на родину, Короленко еще долгое время не мог целиком отдаться творчеству. Обещанные журналу «Русское богатство» путевые очерки и рассказ «Без языка» писались с трудом. «Путешествие мое подвигается тихо. Никогда еще не было мне так трудно справляться с готовым почти материалом. Все записано, частью в записной книге, частию в письмах, но из всякой строчки до такой степени торчит одна горькая мысль («лучше бы не ездить»),— что руки опускаются и парение мысли по чужим краям отравлено» (письмо к Н. К. Михайловскому от 22 апреля 1894 г.).

Короленко пробует приняться за другую работу. «Такой пробой пера (чтобы напустить на себя беспечность относит. Америки...) был «Парадокс» (письмо к Н. К. Михайловскому от 16 февраля 1895 г.).

Тогдашнее душевное состояние Короленко придало рассказу трагический оттенок, который на первый взгляд противоречил его общей оптимистической идее, выраженной знаменитым афоризмом: «Человек создан для счастья, как птица для полета».

Вот что писал Короленко по этому поводу П С. Ивановской: «...Вы меня немного пожурили за знак вопроса в «Парадоксе»... Я вообще человек не унылый и не пессимист. Но смерть моей Лели так меня пришибла, что я никогда в самые тяжелые минуты моей жизни не чувствовал себя в такой степени изломанным, разбитым и ничтожным. Жизнь вообще, в самых мелких и самых крупных своих явлениях, кажется мне проявлением общего великого закона, главные основные черты которого — добро и счастие. А если нет счастия? Ну, что ж, исключение не опровергает правила. Нет своего — есть чужое, а все-таки общий закон жизни есть стремление к счастию и все более широкое его осуществление. Только это я и пытался сказать своим парадоксом, но собственная моя душа в это время была еще так же изломана, как мой несчастный философ. И поэтому эта, сама по себе простая и не пессимистическая мысль, оказалась как-то непроизвольно с такими пессимистическими придатками что в общем выводе рождает недоумение и вопрос.. Впоследствии я скажу все это яснее, и впечатление, думаю, выйдет более цельным» (письмо от 28 сентября 1894 г.).

Однако в последующих изданиях Короленко оставил рассказ почти без изменений, отбросив только его прежнее окончание: «И много раз еще мы сидели над этой бадьей и путешествовали в старом кузове, и много раз впоследствии случалось нам предаваться таким же неумным занятиям в течение жизни и чувствовать себя такими же дураками. как в ту минуту, когда Петр застал нас с удочками на заборе. И не раз мне казалось, что за плечами у меня вырастают крылья, а потом я чувствовал себя беспомощным, разбитым и бессильным, как червяк, раздавленный в дорожной пыли... Бывали безумные удачи и постыдные поражения, сердце не раз трепетало от восторга и сжималось смертельной тоской, мир раскрывался навстречу моим надеждам и замыкался четырьмя стенами душной тюрьмы... Но никогда с тех пор я не забывал странного афоризма, написанного ногами парадоксального счастливца, которого голос и до сих пор упрямо звучит в памяти, с такою же ясностию, как и в первую минуту.

— Человек создан для счастья, как птица для полета!..»

Стр 323. *добром гумо́ре*..— в хорошем настроении (п о л ь с к.).

С. Селиванова

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

В. Г. КОРОЛЕНКО,

Собрание сочинений в шести томах.

Том II.

Редактор тома
С. Д. Селиванова.

Оформление художника
Р. Г. Алеева.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 1/VI 1970 г.
Подписано к печати 9/III 1971 г.
Бумага типогр. № 1. Форм бум. 84×108$^{1}/_{32}$.
Объем 18,06 усл. печ. л 18,54 уч.-изд. л.
Тираж 375 000 экз. Изд № 489. Зак. № 3040.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И Ленина. Москва, А-47, ГСП, улица «Правды», 24.

Индекс 70679


90 коп.